

Мария
Метлицкая



И все мы будем
счастливы

Annotation

Кира приехала в родной город, где прошли самые счастливые и самые несчастные ее годы. Счастливые – потому что здесь она встретила своего Мишку. Несчастные – потому что из этого города им пришлось бежать: от неустроенности, нищеты, унижительной невозможности жить так, как хочется.

Москва стала совсем другой, да и Кирина жизнь изменилась. Главное – она потеряла Мишку. И теперь ей казалось, что жизнь остановилась, что счастья не будет никогда. Нет человека, ради которого стоит просыпаться по утрам.

Но жизнь не прощает уныния. Она как будто говорит: оглянись. Наверняка есть тот, кто в тебе нуждается. И в этом городе, полном воспоминаний, Кира снова нашла свое счастье. Потому что к хорошим людям оно всегда приходит. Иначе и быть не может.

-
- [Мария Метлицкая](#)
 -
 - [И все мы будем счастливы](#)
 - [Жить](#)
-

Мария Метлицкая

И все мы будем счастливы

© Метлицкая М., 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

И все мы будем счастливы

Зал прибытия пахнул на Киру тревогой и беспокойством – она вздрогнула и растерянно огляделась. Нет, все вроде как обычно и как везде: чисто – и это надо признать. Она отлично помнила, как выглядел аэропорт, когда они улетаели. Сейчас все вполне цивилизно – бесплатные тележки для багажа, магазинчики известных марок с горящими надписями «Дьюти фри». Там, как и везде, царило оживление – прилетевшие спешно покупали подарки и сувениры.

Прибывший из дальних и не очень стран народ был спокоен, уверен в себе и очень прилично одет – куда лучше, чем в странах Европы. Тогда почему? Почему опять эта мерзкая внутренняя дрожь, испуг, холодок, легкий озноб и даже страх? Почему беспокойство, смятение? «Господи, да бред! – успокаивала она себя. – Просто бред воспаленного мозга. Здесь наверняка все спокойно. Вон сколько милиции!» И тут же вспомнила, что теперь и *они* стали полицией.

Вещи на ленту, кстати, тоже доставили быстро. «Как в цивилизованных странах», – усмехнулась она.

Тогда, сто лет назад, она улетаала отсюда с надеждой. Нет, даже не так – почти с уверенностью. С уверенностью, что их жизнь переменится, повернется на сто восемьдесят градусов. Иначе – зачем? Зачем все эти усилия, нечеловеческие страдания, измученная и больная совесть? Зачем? Она улетаала, чтобы у ее мужа, ее Мишки, все наконец сложилось. Не думала о себе – что там она? У нее все, в конце концов, не слишком сладко, но почти как у всех. Она как-нибудь, с божьей помощью проживет, приладится, свыкнется. Перетерпит. Как это умеет женщина. А вот он – нет. Не перетерпит. Потому, что не осталось сил терпеть. Да и улетаали не в Антарктиду же они и не на Северный полюс, не в пустыню Сахару и не на Эверест. В Европу, в благословенную старую как мир матушку Европу. Любезный Старый Свет, между прочим!

Она помнила этот день, день отъезда. Точнее – вспомнила потом, через несколько лет, сильно напрягши память. Потому что тогда, в тот день, она почти ничего не запомнила – сквозь пелену слез, сквозь свой страх, сквозь нескончаемую свою тоску... Да и слава богу, что не запомнила! Слава богу, что услужливая и щадящая память «обнародовала» это потом, спустя много лет, когда уже чуть отпустило. Кира долго и тщательно восстанавливала все по минутам: три чемодана, набитых вещами. Три новеньких чемодана,

остро пахнувших искусственной кожей. Как долго потом этот запах не выветривался. Коробки с книгами – их выклянчивали с черного входа гастронома, в продаже их не было. Ничего тогда не было, ничего. Все доставали с боем, с трудом невероятным. Как Мишка боялся, что эти коробки, перетянутые мохнатой ворсистой веревкой, с уже разъехавшимися углами и просвечивающими сквозь них корешками, развалятся. Еще Мишкин портфель с документами – старый, облезлый, когда-то рыжий, а теперь бурый, любимый Мишкин портфель. Как она умоляла его с ним расстаться! Говорила, что брать его в новую жизнь неприлично. Но нет, не уговорила. В портфель были уложены стопочкой аттестаты, дипломы, трудовые книжки. Мишка, при всей своей растерянности и безалаберности, к документам относился уважительно. Тоненькая пачечка фотографий – самых дорогих, тщательно отобранных: родители, Мишкина дочка, они с Мишкой. Последних совсем немного – как-то нечасто случалось им фотографироваться. Потом, спустя годы, когда Мишки не стало, совместные фото она убрала. Далеко. Захочешь – и не достать. Впрочем, ей не хотелось. Точнее – она боялась. Боялась увидеть себя счастливой.

* * *

Так вот, день отъезда и Мишкин уродец портфель, и в нем обменянные накануне деньги – валюта. Ничтожно, до смешного мало. А им казалось – богатство! Какими же дураками они были тогда! Впрочем, ими и остались. Что поделать – наивная советская интеллигенция, вызывающая у кого-то пренебрежение, у кого-то – жалость, а у кого-то и смех. Неумехи, топчущиеся по жизни, словно малые дети. Нищие, стеснительные, донельзя скромные, не умеющие жить – доставать, копить, завязывать нужные знакомства. Ничего не умеющие – только сладостно почитать книжки, перелицовывать костюмы и юбки, вязать дурацкие толстые свитера, балдеть от отварной картошки с тощей и сухой иваси, танцевать под заезженную пластинку. Торопиться на свою идиотскую службу, приносящую унижительную копеечную зарплату – жалованье, если изволите! Караулить лишний билетик – конечно, на галерке, а где же еще?

И при этом – ни на что не жаловаться, ни-ни! И еще одна глупость – умение быть самыми счастливыми, самыми довольными, самыми непритязательными. Чудеса!

Нет, конечно, довольны они были далеко не всем. Власть презирали, посмеивались над ней. Ворчали на крошечных, прокуренных кухнях,

передавали друг другу перепечатанный Самиздат, копили на привезенные *оттуда* пластинки: блюз или джаз – то, что отсутствовало тогда на прилавках.

Но пуританства, конечно, уж не было – женщины мечтали об импортной туши для глаз, о хороших духах, о нервующихся колготках, об импортных кофточках или юбках. Мечтали. Но как-то довольно легко с отсутствием всего этого великолепия справлялись – шили, вязали, красили, перекраивали. И упрямо считали себя счастливыми. Молодость.

Они не были борцами с режимом. И возмутителями спокойствия тоже. А вот легкими диссидентами – да. «Кухонными», как говорил Кирилл муж.

Тогда уже муж! А до этого он был любовник. «У меня есть любовник», – с замиранием сердца, с каким-то священным ужасом повторяла она про себя. И холодела. Любовник! Нет, это слишком – любимый! Так приличнее, что ли? Спокойнее на душе. Хотя о каком покое тогда шла речь? Не было никакого покоя. И счастья, увы, тоже не было. Сплошные печаль и тоска, тысячу раз перемноженные на муки совести. Она так, между прочим, была дамой замужней. Встречались они раз в неделю – ужасно редко, кошмарно редко особенно в первое время.

Он был не просто ее мужчиной, не просто родным, близким и абсолютно понятным, ее человеком. Он для нее был всем – воздухом, водой, хлебом. Жизнью.

Раннее и скоропалительное замужество оказалось дурацким мероприятием, обреченным на предсказуемый провал. Нет, не было в той истории сволочей, негодяев, подонков. Были просто чужие. Те, без кого можно вполне обойтись. Ее муж, ее несчастный и ни в чем не повинный муж, был человеком хорошим. Приличным, порядочным, честным. О таких говорят – повезло. Повезло, что они попались на вашем пути. Кира понимала, но поделать ничего не могла, как ни старалась. А ведь вначале старалась, и очень! Но нет, не получалось. Не получалось любить. Муж оставался соседом, приятным и ненавязчивым, полудругом или близким родственником – точно что-то из этой категории. Они вместе ужинали, смотрели телевизор, читали перед сном. А потом Кира надолго уходила в ванную – пряталась и переживала, когда муж уснет. Иногда получалось. А иногда...

Нет, женщина может все пережить. И это – в том числе. Закроешь глаза, стиснешь зубы, отвернешься. Но господи, господи! В эти минуты она себя ненавидела. И его, кстати, тоже. Но в чем он виноват? Он – точно нет. А вот Мишка... Он был виноват – ведь он должен решиться, правда? Решиться и взять ее за руку. И увести. Если любит.

Но о самом главном они с Мишкой не говорили еще года два с того времени, как случился их бурный роман. Наверное, ему было страшно. Их страхи были похожи.

Вот, например, ей было страшно не изменить свою жизнь, а обидеть своих – ни в чем не повинного обманутого мужа и замечательную свекровь. А больше страхов не было. Хотя нет, понимала: родители тоже осудят и ее не поймут.

Мишка говорил, что не уходит из семьи по той же причине – из жалости и чувства вины. Ситуации, конечно, несравнимые – у него был ребенок, четырехлетняя дочка Катюша.

Кира уже тогда была с ней знакома. Пару раз в воскресенье поутру они ходили в «Баррикады» на мультики. Кира заранее ехала на Пресню и покупала три билета – разумеется, рядом. У входа Катюшу отвлекали мороженым, и Кира потихоньку отдавала Мишке билеты. Садились рядом, и он брал ее за руку. Сорок минут под бодрую или грустную прекрасную музыку из «Ну, погоди!» они просто держались за руки. И после этого можно было снова прожить пару дней.

Как-то поставили «спектакль» – как бы случайно встретились у чугунных ворот зоопарка.

– Кира Константиновна, моя дорогая! Катька, познакомься – Кира Константиновна, мы вместе работаем!

Девочка равнодушно бросила на незнакомую тетеньку короткий взгляд и дернула за руку отца:

– Пап, ну хватит! Пойдем!

– Да, да, – кивал ответственный папаша. – А вы, Кира? Может, с нами? И коллега милостиво, хоть и со вздохом, соглашалась.

Шли рядом, а когда девочка отвлекалась, тут же жадно и коротко сплетали руки в замок – господи, как электрический разряд, как вспышка молнии были эти тактильные ощущения. Голь на выдумки хитра – выкручивались как могли.

Мишка женился рано – через два года после школы, едва отслужив армию.

С Ниной, первой женой, познакомились случайно, в метро. Он рассказывал, что та понравилась ему своей чистотой и наивностью – в столицу приехала недавно, тяжело зарабатывала на хлеб на парфюмерной фабрике «Новая заря», и от нее сладко пахло духами. Сначала ему нравилась эта «душистость». А потом – раздражала.

К тому же верная Нина два года его ждала. Да не просто ждала и писала – моталась к нему в часть. Черт-те куда, между прочим, – шестьсот

верст от Москвы.

После Мишкиного возвращения они спешно поженились – Нина забеременела. Он признавался – уже тогда не любил. Смотрел на нее как на чужую. А смыться было неловко – она ведь ждала. Жалко ее было до слез, до дурноты. Вот и женился, как порядочный человек. Правда, несчастливы были оба – обнаружилось это почти сразу. И оба молчали, не признавались в этом даже самим себе. Но уже была Катька – куда деваться? Мишка томился, но и жалел жену. Он говорил, что наивно думал тогда: «Ну так, значит, так. Стерпится – слюбится. Живут же люди и без огромной любви, в конце концов». Нина хороший человек и мать его дочери. И их он не может предать. Как женщина она давно его не интересовала. Да и говорить им было не о чем. Так, из бытового, из общесемейного – пеленки, распашонки, молочная кухня, врачи, дочкин первый зубик, первый шаг. А может, достаточно?

Были, конечно, легкие и необременительные, короткие связи. Но чтобы уйти? Нет, такие мысли в голову не приходили. Но появилась Кира. И их накрыло. Он говорил потом, что сначала ничего не понял – ну, какая-то женщина, вполне симпатичная, кто же спорит? Короткая встреча, случайная компания, куча народу. Да, милая женщина. Только несчастная – это не то чтобы бросалось в глаза, но он углядел.

Она обалдела:

– Да неужели?

Он подтвердил:

– Да, я сразу понял.

Это Киру потрясло. Ей казалось, что в тот вечер она замечательно выглядела. Новая, только из парикмахерской, прическа – модная короткая стрижка, недавно появившаяся в Москве, – называлась она по фамилии парикмахера «сассон» или «сэссон», все путали. Новое платье – роскошное, модное, английское тончайшее джерси, за черт-те какие деньги. А вот как оказалось...

Муж, кстати, от похода в гости тогда отказался – кажется, у него болело горло, но точно Кира не помнила.

Компания была шумная, праздновали Первомай, хотя это, конечно, был повод – праздников трудящихся Кирины знакомые не отмечали. Компания была полудиссидентская, кто-то уже собирался уезжать, и это усиленно обсуждалось. Врачи, итээровцы, молодые специалисты – средний класс, интеллигенция. Было очень накурено, и даже у покуривающей Киры разболелась голова. Какой-то незнакомый ей парень взял гитару и запел Окуджаву: «Наверно, эта дама – из моего ребра. И без меня она уже не

сможет». Все замерли. Ах, как пел этот щуплый, совсем неинтересный, даже смешной, молодой мужчина! Все подвинули табуретки и стулья и сгрудились вокруг него, притихли, загрустили, вспомнив о своем.

Вот тогда они и оказались совсем рядом, в полуметре, нет, даже меньше, друг от друга на диване, почти впритык. Впрочем, все там сидели, как кильки в банках. Места не хватало, и кто-то уселся на палас и подоконник. И в эти минуты все чувствовали единение и душевную близость. А щуплый парень все пел, волнуя и распаляя души и тревожа сердца.

На улицу вывалились большущей компанией. И Кира увидела, как внимательно, изучающе на нее смотрит симпатичный бородатый мужчина – тот самый сосед по дивану. Она смутилась и фыркнула, чуть выпятив нижнюю губу. Он подошел к ней:

– Вам в какую сторону?

Кира растерялась и не ответила сразу.

– О! Кажется, вы забыли свой адрес. А я собирался напроситься к вам в провожающие.

– Ничего я не забыла! – буркнула Кира. – И провожатые, уж извините, мне не нужны! Во-первых, сама доберусь. А во-вторых, у метро меня встретит муж!

Сказано это было с вызовом, конечно, от смущения – ох, давно с ней никто не знакомился и давненько ее не кадрили, если честно.

Потом Мишка пенял ей, что она могла пропустить свое счастье и свою судьбу из глупости и заносчивости. А тогда он и не подумал отставать.

– И все-таки я вас провожу! Хотя бы до мужа!

И ей, если честно, это было приятно. Кстати, никакой муж встречать ее не собирался.

Потом Мишка рассказывал – сказочник, господи! – что вот тогда, увидев ее глаза, когда она слушала щуплого гитариста, он и влюбился в нее сразу и насмерть.

– А ты? – спрашивал он. – Ты когда поняла?

– Ты о чем? – недоуменно спрашивала она. – А, об этом! А я до сих пор не поняла! – смеялась она.

В тот вечер Мишка проводил ее почти до самого дома. И о чем только они не успели переговорить за этот час! И оба поняли все и сразу. Бывает и так.

Ну и понеслось. Почти два года – точнее, год и десять месяцев счастья и горя, радости и печали. Бесконечной тоски и любви.

Спустя полтора года ей стало все предельно ясно – от мужа она

уходит, несмотря ни на что. Позор и осуждение переживает. Да и наплевать ей на осуждение. В конце концов, поговорят и забудут. Но все равно было страшно. Правда, в то время она была почти бесстрашной! Такой бесстрашной, что самой становилось страшно – вот такой несмешной выходил каламбур.

А Мишка все тянул, и однажды Кира не выдержала. Он со всем согласился. Да и доводы тут были ни к чему, все было предельно ясно – да, жить друг без друга они не могут, да, так продолжаться все это тоже больше не может. Да, надо что-то решать. Будет больно? Конечно! Не только им. Но что делать? Врать дальше? Еще больше загонять себя в угол? В конце концов, сейчас несчастные все – он, она, ее муж и его жена. Дочка, слава богу, пока ничего не понимает. А потом несчастных станет чуть меньше, потому, что прибавятся двое счастливых.

Ну и вообще. Унизительно. Страшно унизительно обзванивать знакомых в надежде найти ключи – хоть на час, господи. «Вы в кино? Два часа? Да хватит, конечно, хватит!»

Она слышала его разговор, и у нее падало сердце: два часа – хватит? Да ей жизни не хватит, господи, чтобы его любить. Насладиться им. Наговориться с ним. Наобнимать его. Нацеловать.

Но – куда уходить, куда им деваться? Миша, разумеется, оставит свою квартиру семье – дочери и жене. У Киры площади нет – к московской квартире она отношения не имеет, это дом свекрови и мужа, а в Жуковском, в ее квартире, точнее в квартире родителей, живут ее мать и отец. Туда, к ним, невозможно. Снять комнату или квартиру? Разве что очень сильно повезет – например, кто-то из знакомых уедет в длительную командировку. Можно снять комнату – но это опять везение. Общежитие им не положено – он москвич, у нее московская прописка.

Что делать, что? Но и так больше нельзя, невыносимо. Ей – определено. А ему... хочется верить, что тоже. Но... разве она знала об этом наверняка?

Конечно, Кира пыталась любимого оправдать – в конце концов, его ситуация куда сложнее – там ребенок. Там верная и преданная ему женщина, которая два года его ждала.

Оправдывала, но на сердце была тоска – вечная, высасывающая душу тоска. И еще – страх. А если он не решится? Ну, если, например, заболит жена – он часто говорил, что Нина слаба здоровьем. Или дочь – вдруг девочка устроит скандал, заболит, узнав о разводе родителей? Такое бывает. Через это он точно не переступит.

Уходить Кире было некуда, но она все твердо решила – да будь что

будет! В конце концов, почему она, ее судьба, ее собственная жизнь должны зависеть от его решения? От болезней его жены, от сложного характера его дочери? И она решила: оставаться с мужем – нет, никогда. Это было невыносимо – все эти полтора года бесконечного вранья, опущенных глаз и его прерывистого ночного дыхания, когда ей хотелось спрыгнуть с балкона. Разбежаться и – головой вниз. Чтобы больше никогда, никогда этого не было.

Украдкой, потихоньку, она собирала свои вещи. С разговором медлила по одной причине – ждала звонка от коллеги, обещавшей помочь с комнатой. А та тянула. Неделю, вторую. Кира терпеливо ждала. Мишке, кстати, она ничего не сказала – во-первых, боялась сглазить и без того призрачную надежду с комнатой, а во-вторых... Во-вторых, ей хотелось предстать перед ним эдакой героиней, мученицей во имя любви – отважной, решительной, смелой. За любовь – на костер! Ну и разумеется, предполагались его бурная реакция, удивление, даже восхищение и восторг. Так же, как предполагалось еще и чувство вины: она, женщина, смогла, решилась, а он, мужик, – нет. Расчет был тонкий, но все же дело было не в этом, а в том, что оставаться с мужем она больше не могла.

По ночам обдумывала свой разговор с ним, чтобы помягче, чтобы поменьше ранить, чтобы без бурных выяснений, скандалов и прочего. Краем уха услышала, что свекровь собралась в Клин к сестре, но точную дату не знала – в эти выходные, в следующие?

Нет, конечно, можно спросить. Но Кира чувствовала, что свекровь о чем-то догадывается. Смотрит на нее странно, вздыхает и старается поскорее уйти в свою комнату. Совместные вечерние чаепития закончились, чему Кира была очень рада. Одним словом, приятной обстановку в квартире назвать было сложно.

Чемоданчик свой, почти собранный, Кира засунула под кровать. Вышла на кухню с легкой улыбкой:

– Вера Самсоновна, а вы в Клин собрались? К тете Наталье?

Свекровь посмотрела на нее и указала на табуретку.

– Сядь, Кира, – сухо сказала она и повторила: – Сядь. Тебе не кажется, что нам надо поговорить?

Кира сделала бровки домиком, выразив свое недоумение, и со вздохом присела на краешек табуретки. Глаза подняла на свекровь с большим, надо сказать, усилием.

– Кира, – начала та, – ну что ты решила?

Кира вздрогнула, покраснела и выдавила из себя:

– В каком смысле, Вера Самсоновна?

Свекровь хлопнула ладонью по столу.

– Дурочку передо мной не валяй – не заслужила! Это он, мой сын, – дурачок. Ничего не замечает. Мужики вообще замечают последними! А меня не обманешь. Или ты отказываешь мне в разуме?

Кира молчала, опустив голову.

– Я все поняла давно, еще полгода назад. По твоим сумасшедшим глазам, по дурацкой улыбочке – все мы становимся дурочками, когда... – Свекровь горестно махнула рукой. – Я бы тебя поняла, если бы не была его матерью. Поняла бы и поддержала – все в жизни бывает, что уж тут. Порадовалась, скорее всего – вон как тебя понесло! Любовь, не иначе – глаз горит, щеки алеют. Волосы вьются. Но, Кира, я его мать! И стоять буду за него – это ты, надеюсь, понимаешь!

Кира кивнула. Помолчали. Кира по-прежнему не поднимала глаз.

– Ладно, – прихлопнула ладонью по столу Вера Самсоновна. – Я все поняла. Значит, ты уже решила. Уговаривать тебя не буду, останавливать тоже. Твое решение и твоя жизнь. Сына поддержу – ему будет трудно. Да ничего, отболит, в молодости все быстро проходит. Слава богу, с детьми вы не успели. Вот это бы было для меня – уж точно катастрофой. Все, Кира. Иди. Иди, пакуй вещи. Ты, кажется, почти собралась? И да! – выкрикнула она ей вслед. – А зачем ты вообще за него шла? Ты же его не любила!

О господи! Значит, Вера все понимала? И видела ее чемодан? Ну конечно! Она не была любопытной и бестактной тоже. К ним в комнатушний раз никогда не заходила, а тут, наверное, заглянула по делу. Да какая разница?

Кира обернулась и чуть слышно пробормотала:

– Простите меня.

– Бог простит, – сухо откликнулась почти бывшая свекровь.

По всему выходило, что уходить надо было сегодня. Да, да, быстро покончить со сборами и уйти. А объяснение с мужем? В конце концов, он ничем ее не обидел – за что же с ним так?

Кира села на край бывшей супружеской кровати и замерла. Что делать? Ждать Володю? Глянула на часы – до его прихода с работы оставалось четыре часа. Невыносимо сидеть в этой комнате и ждать. Уйти из дома? Да, выход. Пойти в кино или пройтись по магазинам. Голгофа отодвигалась. После разговора с Верой ей стало легче. Она быстро оделась и с облегчением выскочила из квартиры.

Вернулась к семи – Володя ужинал на кухне. Свекровь смотрела у себя телевизор.

Разделась, зашла в кухню.

– Володя!

Он поднял на нее глаза.

Молчал. По его глазам поняла – Вера уже ему рассказала. Ну что ж, стало быть, объяснение отменяется. Уже хорошо.

– Володя, – повторила Кира, – я...

Он кивнул и отложил вилку. В тарелке остывала картошка. Кира сглотнула слюну – вспомнила, что с утра ничего не ела, ни крошки.

Он внимательно и выжидающе, даже с интересом, разглядывал свою жену.

– Я тебя внимательно слушаю, – наконец сказал он.

И эта спокойная, холодная фраза окончательно выбила Киру из колеи. Она разрыдалась – громко, бурно, с истерическими нотками, так не свойственными ей.

Володя все так же сидел напротив, уронив в руки голову, молчал. Потом не выдержал:

– Все, Кира, хватит. Решила – значит, так тому и быть. Останавливать и держать тебя не буду. Знаю, что ты человек разумный и с кондачка решений не принимаешь. Когда ты уходишь? Сегодня?

Растерянная, Кира неуверенно забормотала какую-то глупость:

– Да, если надо, конечно, сегодня!

Он усмехнулся:

– Надо? Кому, извини? Мне – точно не надо. – И быстро вышел из кухни.

Просидев минут десять в полнейшем бессилии, она поднялась и пошла в комнату. Муж лежал на диване и читал книгу.

Кира вытащила из-под кровати чемодан, достала из шкафа сумку с мелочами и посмотрела на мужа.

– Ну я пошла? – неуверенно сказала она.

Он отложил книгу и кивнул:

– Да, разумеется. Удачи тебе!

– И тебе, – прошептала Кира. – И еще раз прости, что так получилось.

Не глядя на Володю, она быстро вышла из комнаты. У входной двери услышала что-то подобное рыку. Или стону. Или... Это было нечеловеческим звуком. Сердце оборвалось. В комнату к свекрови зайти не решилась.

Выйдя на лестничную площадку, услышала крик Веры Самсоновны:

– Сыночек!

Слышать остальное было невозможно – она схватила сумку и чемодан и, не дожидаясь лифта, бросилась вниз по лестнице. Чувствовала себя при

этом преступницей. Нет, даже не так – убийцей.

От дома бежала, как от чумного барака. А когда устала и остановилась, поняла, что не знает, куда идти. Позвонить Мишке? Нет, невозможно – трубку может снять жена, что тогда? Да и к чему дергать его поздним вечером, что изменится? Села на скамейку и снова разревелась. Ну и поехала в отчий дом, в Жуковский. А куда деваться?

В электричке тряслась как осиновый лист – теперь предстояло еще и объяснение с родителями. А это куда хуже, чем объяснение с мужем и свекровью – точнее, бывшим мужем и бывшей свекровью.

Отец, военный человек, привыкший к режиму, уже спал – ложился он рано. А мама уже на пороге, внимательно глядя на дочь, сразу все поняла, но задала вопрос, еще предполагавший надежду:

– Поссорились с Вовой?

Кира зашла в квартиру, сняла плащ и туфли.

– Мам! Можно чаю и бутерброд? Очень хочется есть. И еще – если можно – давай не сегодня? – почти взмолилась она. – Пожалуйста!

Мать погрела ужин – макароны, тушеное мясо. Поставила на стол квашеную капусту:

– Ешь, витамины.

Кира ела молча и жадно и на мать не смотрела. Удивилась своему аппетиту – ну надо же, а?

– Чаю, мам! Если не трудно.

Молча выпили чаю.

– Кира! – наконец сказала мать. – Вот как мне сегодня спать ночью? С какими мыслями, дочь? Что думать, когда я вообще ничего не знаю? А мне, между прочим, завтра работать! Не молчи! Я же чувствую – что-то серьезное! Не просто поцапались, да?

– Не просто, – кивнула измученная Кира. – Если бы просто поцапались, мам... Ты же знаешь, мы почти не ругались. И уж не скандалили точно, Вовка человек спокойный и неконфликтный. Только я его не люблю! Разлюбила. Хотя нет, не любила никогда. И это сейчас, точнее, почти два года назад, я поняла. Так поняла, мама, что жить вместе уже невозможно. Невыносимо, мамочка! Все невыносимо – слушать его голос, есть за одним столом. Спать с ним, мам! Извини.

– Что же делать, Кира? Такой был удачный брак! И папа...

– Что – папа? – взорвалась Кира. – Это моя жизнь, правда? Или мне слушаться папу? Я, кажется, большая девочка и сама вправе...

– Оставь, Кира! – перебила мать. – Ты ж его знаешь. Без бури не обойдется. Ну что поделать – переживем.

Мать было жалко. Она искренне любила зятя, ценила его и считала, что дочери крупно повезло: приличная семья, хорошая свекровь, квартира в Москве. Нормальная жизнь. Они были спокойны за Киру. И конечно, очень ждали внуков – пора, дочери уже к тридцати – что они медлят?

Кира никогда не жаловалась родителям на мужа. И вдруг... Может, они чего-то не знают? Надо дожить до утра. Хотя Кира молчунья, скрытница – в отца. Да и разговоры по душам у них как-то не приняты. Но главное, самое страшное для Кириной матери было то, как отреагирует отец. Вот это было самое страшное. Он был гневлив, суров, резок во мнениях. Конечно же, будет скандал. И как они уживутся – отец и дочь? Если бы Кира не вышла замуж и не ушла из дома, эти два строптивца просто сожрали бы друг друга!

Но отец, как ни странно, воспринял новость довольно спокойно:

– Ушла? Ну что же поделать – ее жизнь. Дура, конечно, что тут сказать. И что теперь? Кто-то есть? Да, скорее всего. Вы, бабы, просто так не уходите. – Сказано это было с презрением.

И мать, и дочь ждали скандала, а получили подобие понимания. Кира с нежностью смотрела на отца, но подойти и обнять духу не хватило – отец презирал «телячьи» нежности.

Правда, через пару дней, будучи не в духе, бросил резко:

– Только не думай, что я тебя поддерживаю! Ничего хорошего в этом нет – ушла, пришла. Сходила замуж, развелась. И выглядишь героиней – вот я какая! А что у тебя дальше? Как-то я не вижу, что ты очень счастлива!

Вот это была чистая правда – спокойнее Кира не стала, да и счастливее тоже. Даже после того, как вышла из загса с заветной и долгожданной зеленой корочкой в руках – свидетельством о разводе. С Володей, кстати, встретились спокойно, как старые и добрые приятели:

– Привет.

– Привет.

– Как дела?

– А у тебя? Как Вера Самсоновна, не хворает?

– Твоими молитвами, – усмехнулся Володя.

И Кира тут же осеклась, замолчала.

Выглядел бывший муж, кстати, неплохо, и через год Кира узнала, что он женился на своей коллеге, Оле Зайцевой. Кира была знакома с ней шапочно, но никак не могла вспомнить ее лицо – как ни старалась.

От родителей она вскоре ушла – все-таки образовалась та комнатка на Плющихе, коллега не обманула. Кира с трепетом зашла с хозяйкой в квартиру – маленькую, двухкомнатную, но при этом коммунальную – во

второй комнате жила соседка, одинокая старушка Елена Матвеевна, в прошлом детский врач.

Из окна открывался шикарный вид. Был июнь, бурно цвели тополя, пух залетал в распахнутые окна, стелился по старому рассохшемуся паркету и, как нашкодившая собака, забивался под кресло, диван и устраивался в углах.

Старый диван занимал почти половину комнаты – Кира его не собирала, потому что всегда, каждую минуту, ждала Мишку. Обстановка была незатейливой: журнальный столик, покрытый льняной пестрой скатеркой, торшер, книжный шкаф – на одной полке притулились коричневые керамические болгарские чашки – обливные, блестящие, словно покрытые шоколадной глазурью. И книги, много книг – Золя, Мериме, Мопассан. Видимо, хозяева любили французских классиков.

На маленькой кухоньке уместились два столика, двухкомфорочная плита и холодильник – один на двоих. Холодильник принадлежал Кириным хозяевам, но они разрешали им пользоваться Елене Матвеевне.

Старушка – нет, не так: пожилая дама – была тихой, почти незаметной и невероятно деликатной – если слышала, что Кира на кухне, из комнаты не выходила.

Кира даже шутила:

– Елена Матвеевна! У меня ощущение, что я живу в отдельной квартире! И еще я волнуюсь – вы хотя бы давайте понять, что у вас все в порядке!

Чудесная была эта старушка! Сейчас таких нет – все ушли. По выходным – если не было Мишки – Кира покупала торт и приглашала соседку на чаепитие.

Болтали о всякой ерунде: книги, телепередачи, магазины и цены. И ничего о личной жизни – ни слова! Ни словом Елена Матвеевна не обмолвилась, почему одна и что было в ее долгой и наверняка непростой жизни. Чудеса – обычно старики словоохотливы и обожают бросаться в воспоминания.

А позже узнала от своей хозяйки: Елена Матвеевна похоронила всю семью – мужа и двоих детей. Сын, полковник, погиб в Афганистане, а дочку сбила машина.

«Вот и человеческая судьба, – думала Кира. – Вот за что, кто ответит на этот вечный вопрос? Ведь сомнений никаких: Елена Матвеевна – человек замечательный. Скромный, интеллигентный, порядочный. За что же тогда, господи? А я вожусь со своим романом, со своими горестями, как с писаной торбой. И считаю, что ничего драматичнее, чем моя судьба, нет».

Старушку Кира жалела и старалась, как могла, облегчить ее невеселую старость: покупала продукты, ходила в прачечную, в аптеку.

Они стали почти родными людьми – вот как бывает. В хорошую погоду Елена Матвеевна выходила на лавочку – подышать воздухом. Кира поглядывала в окно – сидит, подставив лицо солнцу. Грется. Ну слава богу!

* * *

Мишка приходил почти каждый вечер, точнее, забегал на десять минут, на полчаса, на час – как получалось.

Смущенно, отводя глаза, бросал:

– Мне просто необходимо посмотреть на тебя, нюхнуть твои волосы – и все, можно прожить еще одну ночь и дожить до утра. Это такая таблетка, спасительный укол, чтобы не помереть.

Нет, приятно, конечно. Но копились, конечно, копились и обида, и раздражение. И даже злость. Она-то смогла! Решилась. Значит, она смелее его? Выходит, он трус?

Мишка ушел из семьи спустя год, когда она почти уже не надеялась, была готова к тому, что он не уйдет, и даже с этим смирилась. Главное – она была свободна! Не надо было врать, прятать глаза, отворачиваться по ночам, сползая на самый край кровати, рискуя упасть. И она была почти счастлива.

Но когда он возник на пороге квартиры – с жалким старым матерчатым чемоданчиком – господи, да где он его взял! – и со своим любимым портфелем, она растерялась и все не могла поверить: «Неужели все, навсегда?» И не ошиблась: так все и оказалось – навсегда, на всю оставшуюся жизнь. Пока смерть не разлучит. А та... Разлучила. Правда, выделила им почти двадцать лет счастья. Абсолютного счастья – без всяких «но» и многоточий. И это несмотря на все тяготы, лишения, неприкаянность.

Но разлучила – как бывает всегда. Как же рано, как невыносимо рано ушел ее Мишка! Как она кляла тогда судьбу, проклинала бога! А зря – двадцать лет счастья, знаете ли. Не все могут похвастаться. Им и так был сделан подарок – невозможно щедрый, немислимый – их встреча и вся совместная жизнь, такая долгая и такая короткая.

Впрочем, они всегда были жадными – им всегда было мало, всегда не

хватало времени, чтобы надышаться друг другом, наговориться, послушаться. Просто быть рядом.

Тогда, на Плющихе, у них появился собственный угол. Нет, не так – у них появился роскошный дворец, туго набитый сокровищами. Сундуки с золотом и драгоценными камнями они открывали каждый день и ослеплялись их светом. Нет, правда – каждый день, каждый час и каждая минута были наполнены счастьем – таким ярким, ошарашивающим, о котором они и не догадывались.

И еще было страшно – а вдруг? Так же не бывает, не может быть, чтобы все совпадало, все, от мелочей до самого важного.

Никому – ни матери, ни отцу, ни жалкой кучке тут же забытых без сожаления подруг она ничего не рассказывала – боялась сглазить.

А однажды мать со вздохом сказала, пристально поглядев на нее, как всегда, заскочившую накоротко, на час (Мам! Я спешу! Мишка с работы вернется!):

– Ох, пропадешь ты, Кирка! Пропадешь ни за грош! Тебя же бьет как в лихорадке, ну посмотри на себя! Так не живут, Кира! Так может быть месяц, полгода. Ну в крайнем случае – год. А потом просто не выживают после такого.

Кира удивилась. Глупость какая! Что получается? Быть счастливой нельзя? Запрещено законом природы? А для чего тогда рожден человек? Для слез и страданий? Спасибо, она сполна нарыдалась. Нет, глупости! И она опровергнет всю эту чушь! А для чего тогда люди встречаются, ищут друг друга всю жизнь и наконец находят? Она долго рассматривала себя в зеркало, пытаясь понять, что там увидела мать. Да, кажется, ничего особенного. Ну да, глаз блестит. Посвежела, зарумянилась кожа. Волосы, пышные и пушистые от природы, распушились еще больше. Еще похудела, и походка стала другой, какой-то свободной. Но замечала – мужики оборачиваются вслед. Что так испугало мать? Нет, непонятно. Все это глупости, материнские страхи.

Отец, кстати, Мишку принял спокойно – душу не открывал, проникновенных бесед не вел. Так, сели за стол, открыли бутылку коньяка, да и ту не допили – отец из-за возраста, Мишка вообще пил неохотно и мало, как говорил, для аппетита. Да и к еде он был довольно равнодушен, что очень облегчало Кирину жизнь. А мать, кажется, тогда обиделась – как это так? Новый зять не оценил фирменный холодец, и вправду всегда удававшийся ей: светло-желтый, прозрачный, средней крепости. И пирожкам ее не подивился – тоже коронное блюдо. Не восхитился наполеоном. Так, пожевал и кивнул:

– Вкусно, спасибо.

Вяленько как-то, без особого энтузиазма. Тут же, конечно, вспомнился первый зятек, Володечка. Вот кто любил ее холодец и пирожки! Вот кто ел с удовольствием и не скупился на похвалу!

Вспомнила и взгрустнула: «Ох, что-то не так в этом Мише. Странный он – сложный какой-то. Не очень понятный. И что у него в голове? И что еще придет на ум? Чует материнское сердце – выкинет еще что-то, обязательно выкинет! И втянет туда нашу дуру – вот уж не сомневайтесь! Правда, ее и втягивать не надо – гуськом потянется, паровозом пойдет. Без уговоров. Потому что рехнулась, свихнулась от этой любви – это же очевидно! А страсти, как известно, до добра не доводят». Хотя что Кирина мать знала о страстях? В восемнадцать выскочила замуж за молодого лейтенантика и прожила с ним всю жизнь. И совсем неплохо, кстати, прожила – всем бы так. Многие ей завидовали: сестры, подруги, не у всех ведь сложилось. Да, разумеется, просто не было. Это когда появилась квартира в Жуковском! После сорока. А до того были и дальние гарнизоны в тайге, и военный городок в Азербайджане, под Кировабадом. Вот там страдались! Жара, пыль, в магазинах ни мяса, ни молока – все на базаре. А откуда у них деньги на базар? Только для ребенка – винограда веточку, кураги горсточку, мяса кусочек. Сначала их поселили возле аэродрома в так называемой гостинице. Мест, как всегда, не было – дали комнатку, где хранились поломанные кровати и списанные матрасы. Там и устроились. Ничего, как-нибудь. Комнату в городке – в ДОСе, доме офицерского состава – дали почти через год. Уж получше гостиницы, но вода по часам – утром и вечером. Набирали полные ведра – как ребенка помыть? Правда, за комнату надлежало платить – девяносто рубликов в месяц. А зарплата у мужа была сто шестьдесят! Вот и попробуй прожить на семьдесят! Да еще и с ребенком! Но выживали. Вспоминала с горестью, как Костя, муж, приносил из офицерской столовки котлету – серую котлету на куске подмокшего хлеба. И с какой жадностью она ее съедала! И не было ничего вкуснее... Учительствовать там было негде – местных учителей было некуда девать. Устроилась хронометристом, и это была удача. Считала налеты, урсы и шторы. Но мечтали скорее уехать – к местному климату так и не привыкли. Да и Кира все время маялась животом. Все дети маялись – дурная вода, зеленые фрукты. Помнила, как уже тогда, в те, казалось, спокойные годы, на окраине города дрались армяне с азербайджанцами – насмерть дрались. Потом была Кема в Вологодской области, следующей – Чугуевка в Приморье – здесь уже было полегче.

Комнату дали сразу, в комнате печка – тепло. Но холода они не боялись

– после Кировабада боялись жары. Маленький домик на две семьи, общая кухня. Женщины держали кур и вечно скандалили на эту тему – моя, не моя. А потом пометили разноцветной краской – зеленой, синей, красной. И скандалы закончились. Помнила, как однажды, муж был в командировке, ночью услышала тяжелый стук в дверь. Не встала и не открыла – испугалась до холодного пота. Так и продрожала всю ночь до рассвета. А потом оказалось – медведь. Огромный медведь-шатун. Спасли ставни на окнах.

Глупые мужики притащили из тайги медвежонка – маленького, пушистого симпатягу. Жены ругались, а те говорили, что детям на развлечение. Соорудили клетку, и медведик зажил. Детишкам, конечно, забава. А потом медведик подрос и стал порывивать на старых друзей. А в Новый год пьяная компания пришла навестить медведика. Ну и оторвал он кусок нового пальто у майоровой жены. Та села в снег и давай рыдать! Пальто было жалко, конечно. А вредную бабу – не очень. Потом мишку отдали в зоопарк, и дети ревели, провожая его на пристани – в новую жизнь медведика увозили на пароходике.

Ладно, не про это, не о бытовых трудностях. Она задумалась, какие у них с мужем были отношения. Да нет, все было нормально. Без особых эксцессов. Жили как все. Ссорились, конечно. А как же? Мирились – тоже как все. Обсуждали домашние проблемы – что купить, как скопить, куда поехать в отпуск. Все как у нормальных людей. А что о жизни не говорили, о чувствах своих, не обсуждали *ничего такого*... Так это же правильно. Так их воспитывали. Так было у их родителей. Так было у всех.

Ну уж, во всяком случае, глаза у них не сверкали, и температура от этой вашей любви и страстей не кипела, не поднималась. Да и слава богу! И еще слава богу, что все *остальное* уже в прошлом. Нет, не то чтобы это ей было совсем не нужно... А вот закончилось с возрастом – и хорошо, как гора с плеч. Кончились строгие обязательства, негласный договор, обязывающий идти мужу навстречу, часто против желания.

Кирина мать искренне не понимала – во имя чего копыя ломать? Да что такого необычного в этом обыденном деле? Получалось, что-то прошло мимо нее? Да и бог с ним – многое прошло мимо. Вся жизнь. Пролетела, прошелестела, проскочила, как вор в подворотне – едва зацепив плечом. Вроде все было нормально – хороший и негулящий муж, нормальная дочь. Работа, квартира. Участок в четыре сотки – не участок, огород. Но и это счастье и радость. Только хорошо это или не очень – то, что *это* ни разу ее не коснулось? Пронесло или обделили?

В конце концов она решила, что нечего вспоминать – все как у всех.

Нормально они прожили. Потому что не знали, как можно прожить иначе.

А Кира? Вот дурочка! Аж дрожит. Прямо трясет ее от этого Мишки. И чем он ее взял? Непонятно. Мужик как мужик, даже вполне средненький – среднего роста, обычной комплекции. Никаких там атлетических плеч и мускулистого торса. И лицо обыкновенное – нет, неплохое лицо. Глаза хорошие – ясные, разумные. Спокойные. Нос, рот – да все самое обычное. Кстати, Володя, бывший ее, был куда интереснее! И повыше, и поплечистее. Да и вообще симпатичный был парень, приятный. Как они радовались с отцом! А вот понесло ж эту дуру!

* * *

Кире и Мишке даже на день расставаться было ужасно. Утром прощались, как навсегда, не могли расцепиться. Он уходил на полчаса раньше, а Кира стояла у окна – сначала махала ему, а потом, когда он скрывался за поворотом, все продолжала стоять – как в ступоре. Как будто ждала, что он вернется. Нет, точно – дура.

Потом она стряхивала с себя морок и быстро, кое-как, красила глаза, одевалась и выскакивала на улицу и, как обычно, опаздывала. Минут на пятнадцать уж точно. На работе смотрела на часы – когда же закончится эта мука? Мука, естественно, заканчивалась, и она первая, стремглав, выбегала из комнаты. Мужики посмеивались, а женщины судачили, что, дескать, ничего, пройдет. Молодожены – им положено, знаете ли. Но все же немного завидовали.

Самыми сладкими днями были выходные. В субботу подолгу спали, тесно, до перехвата дыхания, прижавшись друг к другу. Даже поворачивались с боку на бок одновременно, боясь на минуту потерять телесный контакт.

Первой вставала Кира – шла готовить обильный завтрак: кастрюлю вареной картошки с селедкой. Завтрак выходного дня – так это у них называлось. Конечно, кофе – большой кофейник кофе, который с удовольствием выпивался до дна.

Ну а потом снова в кровать – вот оно, счастье! И никуда не надо спешить, никуда! Валялись целый день: спали, болтали, читали, дремали.

А вечером выходили. Билеты в театр? Красота. В кино? Здорово. А можно просто погулять по улицам – поехать в центр и гулять там до бесконечности! Как они любили этот город! Больше всего Замоскворечье, с его узкими и уютными улочками, маленькими купеческими особнячками, с

духом настоящей Москвы. А после прогулки покупали бутылку сухого вина, маленький тортик и спешили домой – продолжить свой праздник.

А вот в воскресенье было уже не так весело – Миша встречался с дочкой. Кире, кстати, поехать с ними никогда не предлагал. Она не обижалась – в конце концов, это их дело и их отношения. Имеют право побыть вдвоем. Да и у нее находились дела: глажка, стирка, готовка, магазины, рынок или поездка в Жуковский. Очень редко, примерно раз в три месяца, она встречалась с Маринкой, школьной подругой. Та была женой военного и жила в Балашихе. Простоватая, немного наивная, но добрая и хлебосольная Маринка всегда мечтала выйти за офицера.

– Они мне понятны, – говорила она. – Они же все похожи, Кирка! Привычки, запросы – близнецы-братья. Профессия накладывает отпечаток.

– Не знаю, – смеялась Кира, – опыта нет!

Хотя Кира, как и Маринка, была дочерью военного, городок в Балашихе вызывал у нее смертную тоску. Она и представить себе не могла, как можно жить в замкнутом пространстве среди одних и тех же знакомых лиц – ужас какой! И эти вечные и бесконечные сплетни, разговоры о звездочках и погонах. Зависть и склоки.

Маринкины подружки шастали, как мыши: уйдет одна, тут же придет другая. Двери в квартиру не закрывались – не принято.

Против Лешки, Маринкиного мужа, Кира ничего не имела – нормальный был парень. Да и детей Маринкиных, Димку и Светика, погодок, она обожала.

Маринка мечтала вырваться из общаги и стать генеральской женой: «Ну когда-нибудь, а, Кирка? Дождусь?» Счастье представляла себе так – черная каракулевая шуба до пят, высокая норковая шапка сложного фасона, норки, конечно, побольше, австрийские замшевые сапоги и куча золота в ушах и на пальцах. А в квартире, понятное дело, ковры, чешский хрусталь в полированной горке, а еще финская кухня и голубой унитаз – непременно голубой. Да, самое главное – белая спальня «Людовик»!

– Видела ее? – полушепотом, с придыханием спрашивала Маринка.

– Не-а, – беспечно отвечала Кира. – Ты ж меня знаешь.

– Ну ты даешь! – Маринка явно жалела подругу.

Но вышло все не так – не сбылись Маринкины мечты. Ни одна не сбылась.

Лешку послали в Афган. А через полгода пришел груз двести. Маринка в тридцать пять лет стала вдовой, через семь лет спилась. Не получилось из нее генеральской жены – ни черной «Волги» с водителем, ни норковой шапки, ни богемского хрусталя с наклеенными цветочками.

Дружба их с Кирой постепенно затухла еще до всех этих страшных событий, что поделаешь, слишком разными были их жизни.

В основном ходили в гости к Мишкиным друзьям, чаще всего к Зяблику.

* * *

Воскресенье тянулось долго и тягостно. Кира смотрела на часы и ждала вечера. Наконец, услышав щелканье замка, она вздрагивала и кидалась в коридор, и они застывали в объятиях.

Про встречу с дочерью и вообще про бывшую семью Мишка не рассказывал. Да и Кира, если честно, не спрашивала. Во-первых, ее это не очень касалось, а во-вторых, она четко провела демаркационную линию – *та* жизнь осталась в прошлом. А сейчас – жизнь другая, только их. И никаких посторонних – Кира и Мишка. Все.

Его, кажется, это устраивало. Да и ни разу он не предложил ей пригласить к ним дочь. Зачем травмировать ребенка?

С Еленой Матвеевной, дорогой и любимой соседкой, они по-прежнему дружили. Как-то старушка попала в больницу, и Кира провела там безвылазно почти две недели – пришлось взять липовый больничный. А спустя пять дней после выписки старушка скончалась.

Кира позвонила квартирной хозяйке, и та приняла грустную новость как руководство к действию – надлежало срочно перевести соседскую комнату на себя, чтобы туда не въехали новые соседи. Ей это удалось, хотя и не без труда. И, став обладательницей отдельной двухкомнатной, она, естественно, тут же решила сделать ремонт и сдавать ее уже по совершенно другой цене.

Кира с Мишкой понимали, что им не потянуть. Четырехлетний рай закончился. Тогда вообще все сразу рухнуло. Серьезно заболела Нина, бывшая Мишкина жена. Операцию сделали вовремя, но все понимали – болезнь может вернуться. Дочку отправили к бабушке в деревню. Миша разрывался между работой и поездками к Нине в Институт Герцена, а Кира по вечерам готовила для бывшей соперницы диетическую еду. Хотя какая она соперница? Смешно.

Спустя пару месяцев, когда чуть выдохнули с Ниной, заболел Кирилл отец – прободение язвы. Кира тут же переехала в Жуковский, помогать матери. Оттуда моталась в Москву на работу.

Ну и самое главное – у Мишки в лаборатории начались большие

проблемы. Собрались уезжать сразу двое – завлаб Семен Гольдфарб, большой Мишкин друг, и Андрюшка Лазарев, с которым он прятельствовал.

Лена Гальцева, не последний человек в лаборатории, вышла замуж и уходила в декрет. Илья Андреевич, самый древний, по его же словам, сотрудник, решительно собрался на пенсию – нянчить внуков. Мишка оставался один. А это означало, что работа его закончилась – тянуть проект было некому, лабораторию хотели закрыть.

Отъезжающих клеймили по полной программе – общее собрание, лес рук, злые выкрики: «Государство на вас потратило деньги, а вы» – и все прочее, что прилагалось к этому омерзительному процессу.

Мишка попробовал перейти в другую, смежную, лабораторию. Но под разными предложениями ему отказывали – смотрели как на зачумленного: «А, Немировский! Это оттуда, из пятой?»

Уходить из института было страшно – жить на Кирины копейки? Нет, невозможно. Полгода еще поболтался по родному институту и ушел – дошел до точки, слишком все было обидно и унижительно.

А Семен и Андрюшка писали восторженные письма – Семен из Германии, а Андрюшка из Америки. Устроились ребята быстро, почти сразу. Темой их интересовались и там, и там. Особенно заливался эмоциональный и восторженный Семен: «Ах, оборудование! Ах, возможности! Ах, отношение!» Но в основном он восторгался страной – порядок, чистота, продукты в магазинах.

Мишка зачитывал Кире письма Семена и скептически усмехался. Неужели и вправду рай? Что-то не верилось. А вот когда написал Андрюшка – скупое, но четко и только по делу, он задумался.

Да, тогда все совпало – Нина, Мишкина работа, Кириин отец и потеря комнаты. Куда податься, куда? Еле сводили концы с концами, экономили на всем. Приютил их тогда Мишкин приятель Зяблов, к которому они и раньше частенько навещались в гости. Но они понимали – злоупотреблять зябловским гостеприимством невозможно, неправильно.

Кира к Зяблову относилась скептически, точнее – она его не любила. Почему? Да все понятно – где они и где Зяблик, человек из другого мира, с другой планеты. С другими желаниями, потребностями, возможностями. Представитель золотой молодежи. Веселый бездельник, кутила, эдакий лихой купчина. Она презирала его за излишнюю легковесность, свободу во всем, и в первую очередь в отношении к жизни. Денег ему хватало с избытком, жил он в огромной квартире в самом центре Москвы, в придачу имелась и большущая дача в престижной Апрелевке. Станный и чужой

был ей этот Зяблов, который по воле судьбы оказался старинным и лучшим другом ее Мишки. Чудеса!

Кира с удивлением наблюдала за хозяином квартиры. И вот что интересно: даже когда у него периодически случались затяжные и страстные романы, случайные девы и подружки при этом не заканчивались. Странно, не так ли? И это любовь?

Кира с Мишкой хихикали – зябловские романы были не только страстными, но и непременно трагическими и драматическими. Все не просто, а с вывертами. «Ни одного легкого случая, – шутил Мишка. – Зяблик не ищет легких путей. Видимо, по-другому не возбуждается».

Так и было – и Кира погружалась в перипетии очередного зябликовского романа, словно в интересную книгу или в кино. Вот уж страсти-мордасти! Куда там им с Мишкой!

У Зяблика было прозвище – Коллекционер. Кира смеялась:

– О да! Причем – во всех смыслах! И мебель, и картины, и, конечно же, женщины.

Ну вот, например, Алена. Как она была хороша! Даже Мишка, совсем уж не бабник и не ловелас, увидев ее, замер как вкопанный. Это был тогда еще незнакомый Стране Советов тип женщины – высоченная, на полголовы выше высоких мужчин, ноги, естественно, метра полтора. Роскошная медная грива волос, бледное лицо с узкими скулами. Это сейчас такой тип женщин не только моден, но и распространен. А тогда Алена выглядела инопланетянкой, случайно залетевшей на грешную планету.

Алена почти все время молчала – образ или дура? Вопрос. Закинув свою невероятную ногу, она томно закуривала длинную, с мундштуком, сигарету, изящно держа в тонких, длинных пальцах бокал с коньяком. На нее приходили смотреть, как на диковину.

В зябловской квартире она задержалась месяца на четыре.

На вопрос Кире: «А где же наша пришелица из других миров?» Зяблик вяло ответил: «Да замуж вышла и в Штаты махнула. Замуж очень рвалась, понимаешь?»

Была еще грузинская красавица Тамара – дочь какого-то высокопоставленного человека. Приезжала Царица Тамара на «Чайке». Вернее, ее привозили, и водитель открывал перед ней дверцу.

Тамара была красива жгучей, яркой и немного душной грузинской красотой – настоящая персик.

Она любила рестораны с очень громкой музыкой, обожала танцевать. Нраву была странного, истерического – то громко смеялась, то бурно рыдала. Наверняка у красавицы имелись проблемы с психикой. Зяблик был

ею увлечен, но тоже недолго, через пару месяцев стал Тамарой тяготиться. И повезло ведь – приехал отец из Тбилиси и увез экспансивную дочь.

Была еще Лили, болгарка – улыбчивая, милая, стриженная под мальчика, с мальчиковой фигуркой и очень красивыми ногами. Лили пыталась со всеми дружить, надеясь таким образом привязать к себе Зяблика. Бедная девочка – ничего у нее не получилось, Зяблик быстро остыл.

Словом, хоровод этих зябловских баб, этих невозможных красоток, не кончался никогда. Он любил произвести впечатление – явиться, например, с новой сногшибательной подружкой в Дом кино или в Дом журналиста. Ну а там, в ресторане, гульнуть по полной – с коньяками и винами, с черной икрой и балыками. С размахом и помпой – загулявший купчина. Противно.

Кира удивлялась и тормозила мужа, пытаясь разобраться: Мишка и Зяблик – как могут они быть близкими, самыми близкими друзьями? Ее бесребренник, скромняга и трудяга Немировский и этот Зяблов – невероятный модник, отчаянный бонвиван, московский мажор, по сути, бездельник, нарцисс и хвастун. Как? А вот так! Мишка говорил, что все мы из детства. Зяблик – друг со школьной скамьи, с первого класса. Ну и дальше, всю жизнь. «Разные? Ну да. А что тут такого? Мы понимаем друг друга с полуслова. Мы как близнецы. А то, что разные интересы... Иногда людей объединяют не интересы, а взаимная симпатия и доверие».

Кира с Мишкой даже в тот непростой период почти не ссорились, хотя их бесприютная кочевая жизнь здоровых нервов и настроения не прибавляла – Кира стала часто срываться. Ну скажите на милость, какая женщина, пусть даже исполненная самой жаркой благодарности за приют, даже самая непритязательная и спокойная, выдержит бесконечную круговерть посторонних баб, толпы друзей, бурные сборища и постоянные гулянки и пьянки? Мишка тоже не высыпался, хотя и участие в зябловских загулах почти не принимал: так, посидит с часок – и к себе в «норку», как они называли выделенный щедрым хозяином уголок.

Кира уставала и от бесконечного мытья посуды, уборки кухни и столовой – ну не ждать же домработницу, ей-богу! Принималась опустошать переполненные окурками пепельницы и очищать грязные тарелки – с утра будет невыносимая вонь.

Дальше так было невозможно, надо было что-то предпринимать. Она перестала спать по ночам – мысли терзали, как голодные волки. Деньги, деньги, будь они неладны! Как всегда, все упирается в них! Дурацкая, мерзкая и унижительная субстанция эти деньги. Но без них никуда... Чужой

угол, где они приживалы. Но самое главное – муж без работы. Кира понимала – он пропадает и скоро совсем пропадет.

Наконец не выдержала и твердо сказала:

– Миш, надо устраиваться на работу. Хоть куда – все равно. Иначе ты чокнешься.

Он не обиделся, но страшно смутился и сжался в комок:

– Куда, Кира? Ты же видишь – все мои поиски тщетны, бесплодны.

– Да хотя бы в школу учителем физики – какая разница?

В школу. С его талантом. Со степенью. После его лаборатории. Еще одно унижение.

Ей было невыносимо жалко Мишку, а что делать? Чувствовала: еще немного – и он свихнется.

В школу взяли – правда, черт-те куда, в Ясенево. Директриса оказалась нормальным человеком, не побоялась взять не учителя, а ученого – тогда это не приветствовалось. Но с учителями была беда – район новый, школы полупустые, мало учеников, не хватает учителей. Ездить из центра до этих хмурых и продуваемых выселок было непросто – автобусы от метро ходили редко.

Она видела, что эта работа не только не ободрила Мишку, но усугубила его транс и тоску – он совсем замкнулся, почти не разговаривал – ни с ней, ни с Зябловым. И на кухню по вечерам не выходил – валялся на диване в «норке» и что-то читал.

– Увольняйся, – твердила Кира. – Проживем как-нибудь!

Мишка хмыкал и отворачивался к стенке. Молчал. Однажды горестно бросил:

– На что уходит моя жизнь, Кира! На что?

Она увидела его глаза и испугалась. Нет, надо срочно что-то менять!

Однажды, когда у Зяблика шла очередная гульба – стены дрожали, – Кира не выдержала:

– Миша! Я больше тут не могу! Все, сил больше нет. Давай съедем, а? Мне все равно куда. Только чтобы была тишина, понимаешь? Я устала от всего этого. Устала от своих мигреней и бессонных ночей.

Мишка повернулся и посмотрел на нее:

– Есть предложения? Я готов выслушать.

Вот этот тон, эти слова ее окончательно взбесили.

– А ты квартиру разменяй! Свою квартиру! Две комнаты, центр. Спокойно меняется на однокомнатную и комнату в коммуналке – я узнавала.

– Узнавала? – Мишка перебил ее и привстал на локте. – Ну надо же,

какая прыть, Кира! И какая осведомленность! Признаться, не ожидал! И что, есть варианты?

Она испугалась его сарказма и совсем сникла. Что-то залепетала, мол, никаких вариантов. Подробно не узнавала. Так, подумала просто...

Он резко встал с дивана.

– Так вот, Кира. – Он замолчал, а она съежилась, сжалась в комок, ей захотелось исчезнуть, испариться. – Я попрошу тебя никогда – слышишь? – не заводить разговор на эту тему! Я оставил квартиру дочери. И жене. У нее, как тебе известно, в Москве площади нет. Я – прости – поломал, испортил им жизнь. Уж Нине – точно. К тому же Катя растет. А у Нины есть шансы как-то устроить личную жизнь, чему я был бы отчаянно рад. – Его лицо искривила болезненная гримаса, и он вышел из комнаты. На пороге обернулся: – Не думал, что ты когда-нибудь заговоришь об этом.

Кире стало страшно. Ужасно. Все это было ужасно. Стыд, кошмарный стыд. Зачем? Зачем она затеяла этот ужасный разговор? Ведь понимала же, понимала – по-другому и быть не может! Это Мишка! Разве он может иначе? Эта его вечная вина перед бывшей женой и безграничная тоска по дочери. «Господи! Какая же я дура, – твердила перепуганная Кира. – А вдруг он уйдет от меня? Сама все перечеркнула, все испоганила! Идиотка и сволочь!» Ревела от стыда, от страха а потом стала себя успокаивать: «Да что тут такого, в конце концов? Подумайте, какое благородство! А за чей, простите, счет? Вот именно, за мой! Ах, чувство вины! Подумаешь! А у меня нет чувства вины? Перед Володей, перед Верой Самсоновной? Не я ли нанесла им, замечательным людям, предательский, подлый удар в спину? И за что? За любовь и ласку? Вот именно.

Можно подумать, только ему стыдно и страшно! Только ему горько и плохо.

А мои родители? Им было просто? Они не переживали, не волновались? А как они любили Володю! А как дружили со сватьей!

Да что я такого сказала, что потребовала? Бриллианты и норковые шубы? Машину или виллу на море? Просто я тоже хочу нормальной жизни – это что, преступление? Своего угла хочу. Своих кастрюль и сковородок. Своего, а не зябловского, постельного белья. И ребенка. Мне, в конце концов, уже тридцать пять – не пора ли? И, между прочим, именно он должен решать такие проблемы, а не жить примаком у старого друга в «норке», не прятаться от проблем и от жизни вообще. И сколько это будет еще продолжаться? Ответа нет. Потому, что самое простое – обвинить другого. И оправдать себя, назначить себя благородным, меня записать в сволочи. Только бы подумал – за чей счет это его благородство? Вот

именно, за мой».

Это был их первый серьезный раздор. Кира даже подумывала уйти из зябловской квартиры. Но куда?

Три дня он молчал и на нее не смотрел. Презирал? Ее это еще больше задело. «Ну и подумаешь! Все, съезжаю к своим. А ты оставайся со своим святым ликом и со своим презрением. Мне уже почти все равно, потому что обидел, сильно обидел».

Ссора была в среду, а в субботу она поехала в Жуковский. Написала записку: «Останусь ночевать». В ночь с субботы на воскресенье уже поняла – жизнь без Мишки ей попросту не нужна. Еле дождалась вечера воскресенья – скорее к нему! И наплевать на его презрение, на его тон, на его мнение о ней! Наплевать. Ей надо одно – поскорее увидеть его, обнять, прижаться. Уткнуться в его шею. Услышать его запах. Провести ладонью по шершавой небритой щеке. Дотронуться до его губ, глаз, бровей. И прошептать ему, наплевав на гордость и вообще на все: «Мишка, я без тебя не могу! Прости меня. Прости, прости. Я – полная дура. Только прости ради бога – я умираю!» – но это уже про себя.

И наплевать, если после этого унижительного собачьего скулежа он запрезирает ее еще больше – да пусть, ради бога! Ей нужно одно – чтобы не выгнал, чтобы простил. Чтобы они были вместе, как раньше.

Кира торопливо простилась с родителями, схватила полную, неподъемную сумку, набитую матерью: курица, пирожки, половина медового торта. Спорить, как обычно, не стала. Надела пальто, сапоги, кое-как повязала платок и почти скатилась по лестнице. Скорее в Москву! Как он там, господи? Неужели за это, за эту чушь, за эту бабью глупость, можно вот так взять и разлюбить? О господи, нет! Внизу, у двери парадной, вздрогнула и отшатнулась – темная мужская фигура маячила у двери. А через минуту дошло: Мишка! Господи, Мишка! Он приехал за ней! Значит, он не бросил ее? По-прежнему любит?

Она ткнулась ему в плечо, в мягкую и влажную ткань куртки.

– Мишка, Мишка, – зашептала она, – как я соскучилась, господи!

Платок сполз, и он гладил ее по волосам и тоже бормотал:

– Кирка, дурочка! Как я могу бросить тебя? Как могу разлюбить? Ты – вся моя жизнь, Кирка! Вся моя жизнь.

В электричке она, измученная своими страданиями и чувством вины, обессиленная, как после тяжелой работы, тут же уснула на Мишином плече. И ей было все равно, куда они едут – к Зяблику? Да пожалуйста! Хоть куда – на вокзал, на чердак, на помойку, лишь бы с ним, лишь бы был рядом Мишка. Ее любимый – на всю жизнь.

С работы Мишка уволился. Точнее – его попросили. Случился конфликт с одной важной мамашей по поводу двойки в четверти у ее ленивого отпрыска. Директриса, страшно смущаясь, попросила его написать заявление: «Дама эта – скандалистка отменная, профессиональная. Дойдет до министра образования, не сомневайтесь! Простите и войдите в мое положение!» Подробностей Кира не помнила, но очень обрадовалась, что так вышло.

Вот интересно – когда, казалось бы, уже полный тупик и безнадега, щедрая и мудрая жизнь выкидывает, как карту, как козырного туза, неожиданный выход. Так и вышло – на следующий день – в буквальном смысле слова – позвонила Кирина сослуживица и предложила дачу своей знакомой. Совсем рядом с Москвой, двадцать километров по Белорусской дороге, поселок Жаворонки.

– Известный кооператив музыкантов, все люди не то что приличные, а очень приличные – интеллигенция, – возбужденно тараторила сослуживица. – Знаешь, кто там обитает? Не знаешь? Ну, например, Пахмутова с Добронравовым! Окуджава! Сличенко, представь! Ну, как тебе, а?

Растерянная Кира вымолвила скупое «угу».

– Теплый зимний дом со всеми удобствами, – продолжала та. – Туалет в доме, ванная, сдает за копейки – десять рублей в месяц! Зачем ей это? Да охранять! Воруют, гады, – залезают в дома, сжирают консервы, крупы. Живут даже, ночуют! Вот сволочи, представляешь? Но и это не самое страшное – могут и поджечь! Уже сожгли два дома на соседней улице. Так вот, она всех спрашивает – есть ли приличные люди, интеллигентные, хорошо знакомые, которым можно доверять? Словом, свои. Ну я и подсуетилась – сказала, есть! Да еще какие приличные! Порядочные, интеллигентные, и им можно доверять! Ну, как тебе, а? Поедешь посмотреть? Да, на работу добираться на электричке – а как ты хотела? За такие копейки в Москве не то что квартиру – комнату не найдешь! А там – воздух, лес, тишина! И удобства, Кира! Удобства!

Еле дотерпели до выходных и в субботу поехали смотреть. Да Кира бы и не смотрела – ее все устраивало заранее. Лишь бы сбежать, съехать от Зяблова в тишину и покой. Но все же поехали. С хозяйкой встретились на Белорусском.

Ехали недолго, около получаса. Вышли на платформе и обомлели –

красота! Какая же красота! И какая тишина – просто звенит в ушах! Накануне выпал снежок – в Москве, конечно, он сразу растаял. А здесь лежал свежий, первозданный, белоснежный.

К дому шли по узкой лесной тропинке. По бокам стояли огромные припорошенные темные ели.

Шли и переглядывались. Ох, только бы сговориться! Только бы хозяйка не отказала. Кира этого точно не переживет.

Шли минут двадцать и наконец пришли. Домик был небольшой и очень симпатичный. Финский, как гордо сказала хозяйка. Он и вправду не был похож на обычные подмосковные дачи – громоздкие, темные, крашенные-перекрашенные, надстроенные и подстроенные.

На довольно большом участке густо росли елки, березы и сосны.

В доме было неожиданно тепло – работало газовое отопление. Кухонька, гостиная и две маленькие, уютные спальни. Все небольшое, но ухоженное и милое.

– Чудо какое! – шепнула Кира мужу. – Тебе нравится?

Он кивнул. Слава богу, сговорились и отдали десятку за первый месяц. Хозяйка дала указания: попросила не топить камин и, отдавая ключи, строго сказала:

– Надеюсь, все будет хорошо!

Они поспешили ее успокоить.

Решили остаться ночевать сразу, в тот же вечер. Им не терпелось поскорее обустроиться в «своем гнездышке», а уж рано утром поехать к Зяблику за вещами.

И этой ночью было снова одно сплошное и бесконечное счастье.

– Как благосклонна к нам судьба! – шептала Кира. – Как щедра на подарки!

– Судьба всегда благосклонна к влюбленным, – усмехнулся муж. – Ты разве не знала?

«Влюбленным, – повторила она про себя и добавила: – И очень счастливым. Как бы не сглазить!»

* * *

Зима в тот год была суровой и снежной – за одну ночь наметало высокие сугробы, ни пройти, ни проехать. В шесть утра Мишка брал лопату и выходил чистить снег.

Кира пила утренний чай и в окно наблюдала за мужем – здесь, в

Жаворонках, он немного поправился, и это невзирая на непривычную физическую работу: почистить снег, наколоть дров для костра, в котором они пекли картошку, сбегать на станцию за хлебом и молоком. Или скорее, так – подрумянился и окреп, подкачал «стариковские» дряблые, как сам говорил, мышцы. «Я же работник умственного труда, все мы такие», – с усмешкой говорил он. По утрам взялся обтираться у крыльца снегом – и его вопли разносились по всей округе.

Расчистив дорожку, он шел провожать Киру до станции. Шли они молча, взявшись за руки и любуясь красотой зимнего леса и чистотой белоснежного, девственного снега, глубоко вдыхая голубой и прозрачный воздух.

В ожидании электрички на перроне Мишка согревал ее озябшие руки и тер красные румяные щеки:

– Матрешка! – смеялся он. – Ну ты просто матрешка, Кирюшка! Такая краснощекая и глупоглазая кукла с кучей секретов внутри.

– Какие секреты, о чем ты? Какие у меня секреты?

Кира садилась в электричку и махала ему рукой. Почему-то сжималось сердце. Муж, самый дорогой, любимый и близкий ей человек, стоял на перроне – худой, сутулый, в нахлобученной по самые глаза старой кроличьей шапке, в тощей куртяшке, под которую уж точно требовалось поддевать парочку старых шерстяных свитеров, в чужих валенках и рукавицах, позаимствованных без всякого, разумеется, спроса у хозяйки, с заиндевелой бородой и бровями. Почему? Что было такого в этой картинке, почему у нее до боли сжималось сердце и накрывала тоска? Все же нормально? Они наконец вместе, и все неприятности, кажется, позади. У них есть свой дом, в конце концов, пусть временный. Живут они по-прежнему в большой любви, нежности, страсти, если хотите, и уж точно – в понимании. У них так все хорошо, что даже становится страшно.

Да, денег, конечно, не хватает. И это очень мягко сказано, если честно. Ее пустяковая зарплата – копейки. А еще плата за дом и электричество. Да, она мерзнет в старом пальто, отлично понимая, что о новом не следует и мечтать. Да, она четыре раза чинила сапоги, а они, сволочи, все равно протекают. Да, Мишка страшно страдает без своего дела, без науки, без своей разгромленной лаборатории. После писем от Семена и Андрюшки подолгу молчит и курит на крыльце. Она ничего у него не спрашивает – понимает, что ему очень больно и очень обидно. Как понимает и то, что он скучает по дочке и по-прежнему мается виной перед Ниной. Но дочку он, слава богу, видит. А Нина – ну что ж тут поделать? Кто-то платит всегда. И она, Кира, которая очень счастлива в браке с любимым мужчиной, она тоже

платит, поверьте! Но плата у всех разная, это правда.

Нет, у них все хорошо – они вместе, и они так любят друг друга. Им так хорошо вдвоем, что никто больше не нужен. Но почему на сердце такая тоска?

На работе она была тиха и задумчива – коллеги и приятельницы удивлялись. А на обеде одна из них спросила:

– Кирка! У тебя что-то не так? Что-то случилось?

Кира вздрогнула и поторопилась успокоить девчонок – стала как будто оправдываться.

Видела, что выглядит все не слишком убедительно – вроде и счастливая, добилась своего, а, выходит, нет счастья на свете?

Вечерами Мишка ее всегда встречал на платформе. И она, видя его нескладную фигуру на перроне, краснела, как девочка: скорее, скорее! Обнять его, взять за руку. Как она соскучилась! А вы говорите – нет в мире счастья. Есть, друзья, есть! Но и тоска на душе не проходит. И никуда она не девается, не исчезает – как ни уговаривай себя, как ни убеждай, что все хорошо...Так же, как и печаль. Выходит, все это – непременное, необходимое сопровождение?

Вечерняя прогулка по зимнему лесу до их избушки взбадривала усталую Киру и немного приводила в порядок. А дома была вообще красота: тепло – к ее приезду Мишка, невзирая на просьбу хозяйки, осторожно, чуть-чуть, подтапливал камин, и в доме вкусно пахло смолой и дровами. Кира огонь обожала. В будние дни на хозяйстве тоже был Мишка, хотя изысков не наблюдалось, но тем не менее под подушкой, заботливо укутанная в два старых махровых полотенца, Киру ждала кастрюлька с горячей картошкой или пшенной кашей. Зажигали свечи и садились ужинать. И снова счастье вливалось в маленькую кухню теплым облаком, садилось на спинки кресел, присаживалось на угол стола, повисало на оранжевом абажуре, цеплялось за карниз с занавесками, уютно, как старый домашний кот, укладывалось на вытертый коврик у двери. Счастье было везде – оно было разлито в воздухе, во всем пространстве. И в их измученных и счастливых душах.

И ночью никуда не исчезало – даже наоборот. Но не душило – аккуратно и деликатно окутывало крошечную комнатку и обнимало их двоих – осторожно и нежно, словно боясь напугать. Но Кира все равно пугалась – сама не понимая, что ее мучает и что пугает.

Раза два в месяц ездили в город, к Зяблику, на этом настаивал Мишка. Но и Кира не возражала – в конце концов, хоть какое-то развлечение. «Совсем мы с тобой одичали в наших лесах». Там все было по-прежнему –

Зяблик курил сигару, выпуская густое и ароматное облако, пил неразбавленный виски, щелкал орехи и слушал музыку – джаз, блюз. Пижон! Нет, Кира прекрасно понимала, что музыка замечательная, тонкая, щемящая. И все же очень печальная, даже тоскливая. На ее настроение – в самый раз. Оглядывая гостей Зяблика, она, конечно, понимала, как отличается от всех этих женщин – модных, дорого одетых, ухоженных, ярких, красивых. Очень уверенных женщин – куда ей до них! Маникюр и стрижки, обувь и сумочки, косметика и духи. Шубки и сапожки. И она – в своей перелицованной юбке и кофточке с катышками.

«Нет, я конченная дура! – укоряла она себя. – Я же все про них понимаю, откуда и что». И все равно было неприятно – и стыдно, и неловко, и немного обидно. Она ловила на себе и муже удивленные взгляды гостей хозяина – уж очень они отличались от постоянной публики, торчавшей в Зябликовой квартире. Впрочем, особенно они никого не интересовали. В конце концов, в знаменитой квартире всегда было полно разного народу – и известные художники, и знаменитые артисты, и дипломаты из разных стран. И юные балеринки, порхающие пугливыми стайками. И валютные проститутки, и тайные миллионеры, и фарцовщики, и богатые детки известных родителей. Врачи и даже один генерал из органов – вот все тогда удивились!

– Нужный человек? – недобро усмехнулась Кира.

Мишка пожал плечами – он не любил, когда она подсмеивалась над его лучшим другом:

– Значит, так надо.

Вот и весь ответ.

Зяблик ставил итальянское кино, щедро накрывал столы – впрочем, как всегда. Человеком он был не жадным, это уж точно. Разливал французский коньяк и итальянские вина, потчевал шатию-братию севрюжьем икоркой и югославской ветчиной. Словом, гуляли. От выпитого и накуренного у Киры начинала болеть голова, и она шепотом принималась упрашивать мужа поскорее уйти. Мишка злился, а она, чувствуя себя виноватой, искренне не понимала:

– Ну что тут интересного? Ну что, ты не видел всех этих пижонов, центровых продажных баб и спекулянтов? Ты и они – смешно! И еще очень странно! Нет, я искренне не понимаю!

Мишка молчал и нехотя огрызался. В электричке сидели надутые. А выйдя на платформу, Кира брала мужа за руку, и тут же все проходило – как не было. Войдя в дом, вообще все тут же забывали – их милый дом, их любимое гнездышко. И что им, дуракам, еще надо?

Наступила весна, и Кира впала в панику. Когда хозяйка попросит освободить дачу? Та бормотала что-то неопределенное, ссылаясь на дочь и внука, – мол, когда те захотят заехать, одному богу известно. Дочка – самодурка. Что ей в голову вступит? А она бы так и сдавала – будь ее воля, и спокойно, и копеечка капает. Странно и неприятно было зависеть от чужой непонятной воли и от капризов незнакомой им женщины. Кира умоляла хозяйку предупредить хотя бы за пару недель, смущенно объясняя, что деваться им некуда.

Как ни просила, а вышло все по-другому, нехорошо. Хозяйка появилась ранним субботним утром и, пряча глаза, объявила, что съехать им надо немедленно – день-два максимум. Кира расплакалась. Ни Кирино возмущение – договаривались ведь! – ни ее уговоры и просьбы, ни даже призывы к совести не возымели действия. «Дочь – самодурка и стерва, поделаться ничего не могу, да и вообще, у всех свои проблемы». Но уступила и благородно дала на сборы неделю – и на этом спасибо.

Что делать? Опять они выброшены на улицу, в никуда. Опять надо унижаться, торопливо искать выход, понимая, что так быстро он не найдется – вряд ли им снова так повезет. И как не хотелось съезжать! Стоял ранний и теплый апрель, на клумбах распускались фиолетовые и белые крокусы, снег почти растаял, обнажив зеленую траву. Уже пели птицы и хорошо пригревало солнышко. Красота. Но, увы, чужая, не их. Мишка впал в такой транс, что ни Кирины утешения и уговоры, ни искренние уговоры Зяблика: «Конечно, приезжайте! О чем ты!» – ничего не работало. Это была депрессия, болезнь пока еще не очень известная и не модная. Он почти ничего не ел, почти не разговаривал, валялся на диване или молча курил на крыльце.

А Кира снова металась – съездила в Банный, бестолково поболталась меж странных и неприятных людей – квартирных маклеров. Вдруг повезет? Не везло. Нет, квартиры сдавались – но цены! Совершенно неподъемные цены, куда им. Решилась и поехала в Жуковский. Прекрасно понимая, что общая жизнь с родителями у них не получится. Но не на вокзал же, ей-богу!

Мать выслушала ее с поджатыми губами и покачала головой:

– Нет, Кира, извини. Мы пожилые люди со своими привычками. Я все вижу наперед – сначала начнется недовольство, причем с обеих сторон. Потом скандалы – ты знаешь отца. Да и я не железная. Нет, дочь. Извини. И потом... – Она повысила голос. – А этот твой? Когда женился, не знал, что гол как сокол? И ты не знала?

Все правильно. Мама, конечно, права. И обижаться нечего – на правду

вообще обижаться нечего. Только что делать? Но легко сказать – нечего обижаться! Конечно, обиделась. На всю жизнь. На похоронах матери стояла у гроба, и надо же – вспомнила! В такой момент и вспомнила! Стыдно было перед самой собой – уговаривала себя простить. Кажется, получилось. Тогда получилось. Но эта обида жила в ней долго, много лет. Мужу ничего не сказала – постыдилась. Родители и не приютили единственную дочь – как о таком рассказать?

Обзвонили и оповестили всех – от хороших приятелей до приятелей приятелей. От близких родственников до дальних. Кира нашла даже в записной книжке бывших сокурсников. Ни-че-го.

Что делать? Заняла денег и ждала звонка от квартирного маклера. Тот, жуликоватый, похожий на лакея или приказчика, – лоснящийся ровный пробор посреди головы и заискивающая улыбка – обещал что-то придумать, что-нибудь подобрать. Наконец позвонил. Встретились они с ним в Медведкове и поехали смотреть квартиру – черт-те где, у самой Кольцевой. Тряслись на автобусе почти полчаса. Потом минут пятнадцать по жидкой вязущей грязи чапали до дома. В подъезде пахло кошками и мочой. Встали у хлипкой, почти картонной, двери – «приказчик» с пробором ковырял ключом в замке, а она думала: «Зачем здесь замок? Дверь, кажется, можно открыть легким толчком, без особого усилия и напряжения». Кира зашла в квартиру и разревелась. Квартира была абсолютно пустой – ничего! На кухне – плита и мойка, ни стола, ни стула, ни шкафчика. В комнате – два старых одеяла на полу, одна подушка с торчащими перьями и одинокая облезлая табуретка у окна. А как было холодно!

– И как тут жить? – всхлипнула Кира.

«Приказчик» тут же переменился в лице. Оно стало злым и колючим. Презрительно усмехнулся:

– А вы что хотели за пятнадцать рублей? Окна на Кремль и румынскую мебель? Радуйтесь этому.

Кира вытерла слезы и достала задаток – десятку. «Приказчик» хмыкнул, мотнул головой и попытался утешить:

– Да наберете с миру по нитке – кто стул, кто кровать. Вы ж не с Луны свалились! Знакомые-то у вас есть? – Сказано это было с пренебрежением и даже с брезгливостью.

Кира утерла ладонью щеки и коротко ответила:

– Разберемся.

– Ну вот! – оживился маклер. – А то и на помойке гляньте – район новый, люди переезжают из своих клоповников, покупают гарнитуры, а

старье – на помойку! Только глядите, чтобы без клопов. Занесете в дом – пропадете! – Он сунул ей в руку одинокий ключ. – Ну устраивайтесь! С новосельем вас, так сказать.

Слабо хлопнула хилая входная дверь. Кира села на табуретку и снова расплакалась: «Да что за жизнь, господи? Одни унижения. Два взрослых человека с высшим образованием. Не приезжие – москвичи. С пропиской все как положено. И рыскать по помойкам в поисках дивана? Обзванивать знакомых и клянчить подушки, занавески, кастрюли, ложки-вилки и все остальное?» Нет. Она так не сможет. А куда ей деваться? И Мишке сказать нельзя – он еще больше впадет в депрессию. Ему-то каково, мужику? И про пустую квартиру она не скажет ему – пока не скажет. Зачем его унижать? Скажет потом, после – когда найдет какой-нибудь диван и еще что-нибудь. Ну и уберет здесь, все отмоет.

Она медленно встала, прошла по квартире, провела рукой по подоконнику – он был влажный и очень холодный. На ладони остались грязные разводы. Она растерянно оглянулась – и вытереть нечем. Вымыла руки и с тяжелым сердцем вышла прочь.

Мишка был дома, и она удивилась – он был не то чтобы веселым, но возбужденным, почти радостным, другим. Глаза горели странным огнем, будто он выпил. Нет, вроде не пахнет. Да и спиртного в доме не имелось – накануне выпили последние полбутылки сухого вина.

Он усадил Киру на стул, сел напротив и взял ее за руки.

– Кирка! Я нашел выход, – смущенно покашливая и глядя ей в глаза, сказал он.

Она устало посмотрела на него:

– Какой выход, Миш?

В голове промелькнуло: «Какой выход, господи! Просто смешно. Он нашел выход! Как будто он есть, этот выход! А если и есть, то найду его я, а никак не он – это давно понятно». Она подумала, что очень устала. Знобило, подташнивало, да к тому же разболелась голова. Ей хочется горячего чаю и в постель, все. На разговоры у нее совсем не осталось сил.

Мишка сорвался со стула и заходил по комнате, как бывало всегда в момент сильного душевного волнения. Кира молча наблюдала за ним.

– Кирка! – наконец сказал он. – Я все решил! Мы уезжаем!

Кира нахмурилась.

– Да это и так понятно. Конечно, мы уезжаем. Точнее, нас выгоняют, Миша. Так будет правильнее. А впрочем, какая разница, как это назвать?

Он подошел к ней, взял ее за руки и помотал головой.

– Ты не поняла, родная! – Он улыбнулся. – Ты не поняла! Мы уезжаем

совсем. Из страны. Я давно списался с Семеном. Ждал. Там есть место, Кира! Меня берут! Точнее – возьмут. Пусть пока на малую должность, почти лаборантскую. Какая разница? Я устроюсь, не сомневайся! В конце концов, с этим давно надо было заканчивать.

– С чем – с этим? – устало спросила она. – Ты о чем?

– Со всем этим. – Он скривился, как от зубной боли. – С нищетой, с безденежьем, бесприютностью. С тем, что ты, женщина, тянешь все на себе. А я, здоровый мужик... – Он замолчал и с отчаянием горячо продолжил: – Так больше нельзя, Кирка! Так больше невозможно, невыносимо! Унижение это, ну и все остальное.

Кира молчала, опустив глаза. А потом посмотрела на мужа и коротко спросила:

– Когда?

Он понял не сразу, а когда понял, облегченно выдохнул и быстро ответил:

– Как только оформимся. Это, конечно, не месяц. Но уж как получится. Главное, что нам стало все ясно – мы уезжаем! А все остальное – фигня! Так ведь, Кир? – Последнюю фразу он произнес жалобно, словно ждал от нее подтверждения. И, конечно, поддержки.

Она твердо посмотрела ему в глаза и проговорила:

– Да. Мы уезжаем.

И только после этого скривилась и расплакалась – сколько слез пролилось в этот день! Наверное, за полжизни. А впереди была бессонная ночь. Нет, не так – впереди было еще много бессонных ночей. Но эта была первой – из бесконечной череды всех остальных.

Кира думала о том, как она любит этот город. Эту огромную, безумную Москву – красавицу, без сомнения. Но подчас и коварную, и недобрую, и даже лживую. И все-таки она любит этот город, где не родилась, но который, безусловно, стал ей родным. Она любит и маленький, уютный и очень зеленый Жуковский – в нем прошла ее юность. Военные городки, в которых случалось проживать ее семье. Жаркий, с обжигающим ветром Кировабад, который она помнила плохо, кусками – шумный от гортанных выкриков местных смуглых, черноволосых, золотозубых людей. Вспоминался поселок в тайге – влажный лесной запах и хруст поломанных веток, печенье из геркулеса, которое пекла мама, – в городке подолгу не бывало муки. И шоколадную колбасу, которую мама готовила на ее дни рождения. И ледяную горку зимой, и мокрые мохнатые мальчуковые шаровары с комьями налипшего снега, уже почти льда. И запах лыжной мази – отец натирал ее лыжи в предбаннике возле квартиры.

И Новый год в городке – непременно концерт в клубе, конечно, своими силами, чистая самодеятельность – артисты, даже провинциальные, до них не доезжали. Аккордеон, запах хвои от красавицы елки, запах апельсиновой корки, нарядные и прибранные жены военных, ревниво оглядывающие соседок. И пироги на любой вкус, испеченные ими же, женами. На пироги устраивались конкурсы – чей вкуснее. И Кира помнила, как нервничали женщины – кому достанется первое место? Кого назначат лучшей хозяйкой? Настоящие страсти кипели, неподдельная конкуренция. Наконец торжественно называлась победительница, шедшая медленно, с достоинством на украшенную гирляндами сцену. А все остальные провожали ее немного завистливыми и расстроенными взглядами. А на сцене ждал приз – господи, приз! – жалкая вазочка из прессованного хрусталя или льняная скатерка. Помнила Кира бесконечный стрекот швейной машинки – мама шила платья на праздник, и себе и Кире. И грибные походы по осени – большая компания, десяток женщин с детьми, резиновые сапоги, куртки, платки и корзины, огромные корзины для грибов. Грибов было действительно много. И перекус на поляне – бутерброды с салом, пирожки с повидлом и луком, холодная картошка в мундире и травяной чай из термосов. Настоящего черного чая не было – иногда завозили развесной краснодарский, пахнувший лежалой травой. Поэтому собирали травы, жимолость, побеги цветущего вереска, молодые нежные листья таволги и бадана, листья брусники, кипрея, сушили ежевику и землянику. Вкусно, полезно, а главное – доступно и совершенно бесплатно. Какой это был чай! Возвращались с огромными горами грибов – крошечных боровичков, красноголовиков, рыжиков и груздей – белых и черных. Все остальное просто не брали – куда девать этот мусор, когда и благородного улова завались?

А по ночам чистили – голова падает на стол, руки черные, а гора на столе не уменьшается. Наконец мама сжаливалась и отправляла ее спать. Кира падала на кровать и тут же проваливалась в сон, как в черную яму – еще бы, устала!

А утром будил запах – с раннего утра мама варила грибы. Над плиткой сушились вязки боровиков – и сладкий грибной благородный дух витал по квартире.

Грузди и рыжики солили в эмалированных ведрах – из них несло чесноком и укропом. Мама придирчиво пробовала соленый гриб и качала головой – рано. А когда они «поспевали», их раскладывали по стеклянным банкам и сносили в погреб, который под домом, в подвале, сделали мужики – общий, для всех. На полках стояли надписанные банки: Фроликовы,

Иванченко, Тезасяны, Крупинниковы, Валиевы. Даже азербайджанцев Валиевых приучили к грибам. «Иначе не получится, живем на подножном корме», – вздыхая, говорили женщины.

По осени начинались ягоды – брусника, клюква. В августе – малина, в июле – черника, а еще раньше, в июне, земляника. Труднее всего было собирать лесную малину – колючие кусты царапали руки и ноги. Но и клюква с брусникой не праздник – болото, чавкающий мох, мошка, комары.

– Да ладно! – отмахивалась от ноющей дочки мать. – А зимой? Что будешь лопать? Ага, вот именно! Печенье с земляничным вареньем, брусничный кисель! А соленые грибочки с картошкой? Вот и трудись, дочь. Без труда, сама знаешь...

Кира знала. Но знала и другое – в больших городах так не живут! В больших городах не расчесывают по ночам до крови искушенные мошкой руки и ноги, а главное – лицо. В больших городах нет погребов, а значит, не надо заготавливать впрок тысячи банок. Не надо топить печку, стоять часами за мукой и селедкой, ходить за хлебом через лес в соседний поселок – именно там и находилась пекарня. В больших городах продавались апельсины и мандарины, капроновые разноцветные ленты для кос и немецкие резиновые пупсы – как настоящие младенцы, вот-вот закричат. Как ей хотелось жить в большом городе, где никто не знает друг друга, где нет дурацких разборок и сплетен, где женщины не судачат о жене военкома. Нет, в городке было много хорошего – и подружки, и медведик. Правда, его увезли. И ледяная горка зимой, и теплая печка, у которой так уютно было погреться.

Но большого города не случилось – она попала в Жуковский. Снова провинция. Мама успокоила – до Москвы-то всего ничего. Полчаса, и ты в столице.

Кира помнила, как в первый раз они, всей семьей, поехали в город – так родители называли Москву. Красная площадь, улица Горького, Казанский вокзал. И бесконечный народ – везде, повсюду. Народ торопится, сует, толкается. Хмурится. Она замерла от недоумения и восторга – ее ничего не расстроило, нет!

А мама смеялась:

– Ну? И как тебе эта сумасшедшая Москва? Неужели нравится? Безумный город. Зачем он тебе?

Кира, сглотнув слюну от волнения, только кивала – ага, безумный. Только ей очень нравится.

А потом было кафе-мороженое, металлическая вазочка с шоколадным и ванильным шариками, политыми кисленьким вареньем. И жареные

пирожки с мясом – длинненькие, ровненькие, как столбики. Из знаменитого Елисеевского – Кира могла съесть сразу три или даже четыре. И памятники Пушкину и Маяковскому. И Гоголю на зеленом бульваре, где только-только распустилась сирень. И Пушкинский, и Исторический, и Третьяковка.

Там было все, в этом городе, – театры, цирк, кафе и магазины. Там были нарядные, модные и загадочные женщины, за которыми струился шлейфом прекрасный и волнительный запах духов. Из булочных пахло теплым хлебом и ванилью, мороженое было восхитительно нежным и растекалось на языке, в магазине продавались дефицитные золотистые малюсенькие рыбки – шпроты, в стеклянных конусах – разноцветные соки: красный – томатный, прозрачный желтый – яблочный, а темно-бордовый, густой, как сметана, – сливовый с мякотью. В жужжащей колбе взбивался необыкновенный молочный коктейль – холодный, сливочный, с густой пенкой. На прилавках лежали свежие огурцы и краснобокие яблоки.

По величавой реке Москве с зелеными берегами ходили смешные и ловкие речные трамвайчики – все радость, восторг.

Она сразу полюбила Ленинские горы, густо поросшие зеленью, Парк Горького с колесом обозрения и комнатой смеха, высотки на Восстания, в Котельниках. Университет. Как Кира мечтала туда поступить и влиться в эту веселую, нарядную и смелую толпу студентов. Она открыла для себя тихий и немного провинциальный Арбат – гордость москвичей, розово-желтое купеческое Замоскворечье – тихое, спокойное, умиротворяющее, наверняка как в старые добрые времена.

Это был не город – это была сказка, мечта. Мираж. И Кира уже тогда точно знала – жить она будет здесь. Только здесь и нигде больше. И никуда из этого рая, из этой несказанной красоты, от этого счастья она не уедет! Ни-ког-да и ни за что.

И, надо сказать, этот город отнесся к ней благосклонно, не обманул и почти сразу принял в свои объятия. Нет, конечно, он был разный – были скучные и предсказуемые окраины, густо застроенные унылыми пятиэтажками. Разбитые дороги и тротуары, полупустые магазины, хамоватый и резкий народ. Но на Кирину любовь это не повлияло. Она по-прежнему, по-детски, счастливо и радостно, беззаботно и наивно, почти безоглядно была влюблена в этот город. В котором – в этом она была абсолютно уверена – ей предстоит прожить всю свою жизнь. Всю свою длинную и счастливую жизнь. Здесь она будет счастлива – не сомневайтесь. И здесь родятся ее дети – двое, не меньше. Мальчик и девочка, Лизонька и Сережа. Вот, даже имена придумала – а что, красиво, правда?

Она тут же вступала в яростный спор, если кто-то принимался ругать ее Москву – только попробуйте!

Она легко поступила в институт – нет, не в вождеденный Университет, родители уговорили не рисковать, а в МИСИ. На прозаический факультет – градостроительство. Да, скучноватый и какой-то обыкновенный, не романтический – какое нынче у нас градостроительство! Ну да ладно – все равно получилось главное: она училась в Москве! Общежитие положено не было – прописка была подмосковной, но Кира часто оставалась ночевать в общежитии у подруг. И за окнами снова гудела, шумела Москва.

А вот сейчас получалось, что из этого города, предназначенного ей судьбой, она должна была уехать. Расстаться с ним, как расстаются с любимым. Бросить, предать. Навсегда.

«Господи, о чем я думаю! – вздрогнула Кира. – Москва! Подумаешь, город! А родители? Как я забыла о них? Как сказать им об этом? Коммунисту отцу? Маме, не воспринимающей никаких критических разговоров про советскую власть, пусть даже вполне справедливых?»

Вспомнились слова отца: «Ты дочь военного!» Он повторял это всегда, когда Кира принималась капризничать или на что-то жаловаться. Дочь военного – это была карма, судьба. Это определяло характер – нить, скулить, жаловаться не полагалось. «Ты дочь военного».

Господи... Отца же тут же отправят на пенсию! На что они будут жить? Как они вообще будут жить одни? Ведь впереди только болезни и старость. Она посмотрела на спящего мужа – Мишка похрапывал, и ей показалось, что он во сне улыбается. Мечтает о новой, светлой жизни? Наверное. Он натерпелся, все верно. Но ему легче – его родителей давно не было на этом свете. А Катя, дочь? Как он оставит ее? И Нина – с ней тоже придется разбираться. И кажется, – Кира вспомнила, – нужно будет отдать крупную сумму денег, алименты до восемнадцати. Точно, есть такой закон: обеспечить дитя, предатель Родины! А где взять такие деньги? Где? Даже не у кого занять. А, Зяблик! Да, только Зяблик, а кто же еще?

Допустим, с Ниной он разберется. Но Катя? Он так любит дочь. Ладно, в конце концов, пусть это звучит отвратительно, но это его проблемы. А ее родители, как ни крути, проблемы ее.

Чистая правда Мишкины слова – терять им нечего. Уезжают многие, даже те, которым есть что терять – квартиры, машины, дачи, работа, успех, признание, деньги. И уезжают! Говорят, что за свободой, которой здесь так не хватает. А им и вправду терять нечего – ничем обрасти они не успели. У мужа работы нет. Ничего у них нет, ничего. Кроме друг друга. Но страшно. Все равно страшно – новая жизнь, которую придется начать с нуля. Все

непонятно и незнакомо.

Но они молоды, у них есть образование, головы, наконец. Будущее. Там – есть. Здесь – едва ли. Или не так? Или все дело в них самих и нечего искать виноватых? Это они не смогли пробиться, и нечего винить советскую власть. Это они – безрукие, неприспособленные придурки. Вон, оглянитесь! Ровесники вступают в кооперативы и через год заезжают в новые квартиры. Копят и гордо усаживаются в новенькие и блестящие «Жигули». Достают у спекулянтов австрийские замшевые сапоги и дубленки, французские духи и финскую колбасу. Билеты в «Ленком» и «Современник», на премьеры в Дом кино. Запросто проходят в лучшие рестораны – и важные, похожие на генералов, в золотых галунах, швейцары с почтением и поклоном открывают перед ними тяжелые двери.

Значит, просто эти люди умеют жить? Договариваться, заводить полезные знакомства, не гнушаются мясниками, ловко отрубающими палку свиного карбоната? Размалеванными продавщицами, с опаской и оглядкой вытаскивающими из-под полы импортную кофточку или помаду? Официантами, сноровисто запикивающими трешку в карман. Парикмахерами, устало, с одолжением разглядывающими твою плохо постриженную и заросшую голову. С капризными и всемогущими кассиршами в театральных и железнодорожных кассах. Это они умеют подносить нужным людям подарочки, шутить, рассказывать анекдоты. Быть «своим» – или нужным, или просто платежеспособным. Унизительно? Да бросьте! Такая жизнь – что тут поделать? Иначе не получается. Нет, можно, конечно, иначе, без унижений. Только разве не унижение все остальное? Серая колбаса, купленная в обычном магазине. Отвратительный кофе из пачки с зеленой полосой? Кошмарное темное мясо с огромной костомахой? Советский легпром – колоды на ноги, мешковина на тело. Это не унижает? Нытье перед вокзальной кассой, в аптеке, в галантерее. Бесконечные очереди – кажется, отстоишь в них полжизни. И вечный подсчет копеек до зарплаты. И нескончаемые долги: заткнешь одну брешь – и тут же другая. А вранье? Везде, повсюду – по телевизору, по радио и в газетах? А невозможность купить хорошую книжку?

Да, они не умеют жить, все так – интеллигенция! За это, кстати, их многие презирают. Да, они не умеют зарабатывать деньги. Да, они такие – неловкие, дурацкие, глупые и гордые. Хотя – чем гордиться? Своим неумением жить? Тоже мне доблесть. А там, за бугром, в этой пресловутой Европе? Как сложится там? Они же не изменятся! Они такие, какие есть. Может, нигде у них не получится? А как это понять? Да никак.

У Киры началась паника – нет, нет и еще раз нет! Они не смогут, не потянут, у них ничего не получится. Надо срочно отговорить Мишку – делать это нельзя, невозможно! Ее родители, его дочь. Ее страхи. В конце концов, здесь – их дом. Их страна. Родной язык. Друзья. Родня. Разве этого мало? И все это менять на призрачное благополучие? Она готовила свою пламенную и, как казалось, убедительную речь. Но Мишка может ответить: «А как же Семен? А Андрюшка? Разве они толковее, талантливее меня?»

Действительно, почему не сможет ее умный Мишка? Трудяга, талант, светлая голова? Мишка, выгнанный, униженный, почти уничтоженный и растоптанный? И она – тоже почти разбитая, вечно усталая, хмурая, недовольная, остро подмечающая все вокруг? Не желающая принимать эти правила игры? Дочь военного, как же. Пионерка и комсомолка. И просто гордая и честная женщина. Ей противно. Противно все это. А по-другому, выходит, нельзя. Не получается по-другому.

И она любит его. А для него это шанс, которого, скорее всего, здесь не будет. Это они понимают, хотя вслух об этом не говорят – слишком больно и слишком страшно точно знать, что эта дыра навсегда.

«Нет, правда, подумай, Кира! – уговаривала она себя. – Что нас тут ждет? Даже черт с ним, с бытом, со всеми этими импортными колготками, сухой колбасой, «Жигулями» и прочими благами! В конце концов, все это можно пережить, мы не избалованы, привыкли. Главное – Мишка. Мишка, с его неустроенностью, с его депрессиями, тоской и потерей вкуса к жизни. Вот что страшно, вот где почти смерть. Как она может остановить его, не дать ему шанс? И как потом с этим жить?»

Ради мужа она должна это сделать. Там есть надежда. А здесь ее нет. Здесь она не может даже родить – куда принести ребенка? А ведь еще пара лет, и будет поздно. Правда, там тоже надо прижиться, устроиться. И получается, что будет тоже не до ребенка.

«Все, Кира, остановись! Хватит нюнить и разводить сопли. Мы молодые, здоровые. Мы вместе! И значит, все получится! Просто надо решиться. Или прозябать дальше в этой ужасной пустой и холодной квартире? В этой камере с видом на черный лес и Кольцевую? И платить за это огромные деньги, треть зарплаты? Клянчить подушки и сковородки? Нет, невозможно. Уезжаем».

И понеслось. Вызов из Израиля – иначе никак. Никакой родни у Мишки там не было – у него вообще не было родных. Вызов присылался каким-то сложным, загадочным путем, через знакомых – это была нормальная практика, было налажено. Главное, чтобы была хоть какая-то еврейская кровь. Мама у Мишки русская, Ольга Сергеевна Калязина, из

деревни Верхушки, что в Псковской области. А вот отец – еврей, правда наполовину, но этого было достаточно.

Вызов пришел довольно быстро, и Кира снова испугалась – держала в руках узкий хрустящий конверт и тряслась: их решение обретало реальную форму. Нет, она почти успокоилась и внутренне почти приняла его. Но тут обнаружилось, что она беременна. Что делать? Ехать туда с пузом и сесть Мишке на шею, да еще и вдвоем с малышом? Остаться здесь? Нет, невозможно – ей будет нужно уйти в декрет, муж по-прежнему без работы, квартиры по-прежнему нет. Принести ребенка в этот кошмар в Медведкове? В этот вечный свистящий сквозняк?

Она ничего не сказала мужу. Понимала, чем это закончится – Мишка никогда не позволит ей сделать аборт. Но аборт состоялся. В больницу она приехала утром, к семи. А к вечеру уже была дома. Все, история эта закончилась. И она правильно сделала – все правильно, да. Ради них, ради Мишки. А знать об этом ему и не надо – зачем причинять новую боль?

Они обрели новых знакомых – «отъезжантов», как их называли. Публика, надо сказать, тут была разная – и научная интеллигенция, прижатая властями, и торгаши, убегающие от тюрьмы. И люди творческие – довольно известный пожилой актер с молодой и очень красивой женой, и неудачливый поэт, и немолодая балерина, давно оттанцевавшая свой балетный век и тоже выкинутая за борт.

Была пара, уезжающая ради больного ребенка, – помочь мальчику могли только там. Кто-то презирал власть и даже пытался бороться с ней. Кто-то мечтал о тряпках и полных полках в магазинах. Кто-то задумывался о будущем своих детей.

Многие оставляли родителей, ни в какую не желающих уезжать. Без сожаления бросали квартиры, дачи, машины, надеясь, что там, в новой жизни, всем этим добром они сто раз обзаведутся. Все были воодушевлены, возбуждены, и без конца из уст в уста передавались бесчисленные рассказы об уехавших знакомых – конечно же, самые радужные и обнадеживающие. Все тут же устраивались на работу, почти сразу покупали большие машины и дома с лужайками, все лечились у замечательных врачей, щеголяли в модных тряпках и питались замечательными продуктами. Из рук в руки передавались цветные блестящие фотографии – не фотографии, а картинки из сказки. И вправду, машины были длинными, блестящими и серебристыми, тряпки – немыслимые джинсы, платья и кофточки – восхитительными. А еще йогурты всех цветов и любого вкуса – малиновый, грушевый, клубничный, чистые, без единого бочка, яблоки и груши, как искусственные – такие ровные и красивые. Такие бывают?

И чистейшие, гладкие, без единой жилочки и косточки, ровные куски мяса – загляденье, сладкая греза любой хозяйки. И гладкие розовые курочки с толстыми боками. При виде них перед глазами тут же всплывали в памяти родные синие птицы с крючковатыми желтыми, страшными когтями. Да все, господи! Все красивое, как из сладкого сна. Невозможного и нереального. А улицы? Такие чистые улицы – неужели такое бывает?

Все писали о совершенно невозможных, невероятных соседях и случайно встреченных незнакомых людях на заправках, в лавках и банках, которые постоянно улыбались и искренне готовы были помочь. И снова все качали головами и дивились: так бывает? Без нашего вечного хамства, вымогательств, гнусных чиновничьих рож? С улыбкой, добром и без унижений? Не очень верилось. Но в душе поднималась горячая волна – и у нас будет так же! И у нас будет красивая, сытая и счастливая жизнь. Интересная и любимая работа. И наши дети будут расти в этом мире – мире добра и любви. И сердце затопляла гордость за свою отвагу, решительность, смелость.

По рукам ходили списки, что обязательно надо везти и что – точно не нужно. И что интересно – списки составлялись для «богатых» и «бедных». В список для «бедных» входили спальные мешки, кухонная утварь, включая ручную кондовую мясорубку – на первое время, цветной телевизор «Юность». Ковер – непременно, а лучше – два: один себе, один на продажу, там они прекрасно идут! Только вот ковер надо было достать. И вдобавок нужны были деньги, чтобы его купить. История не для Киры с Мишкой, хотя новые знакомые предлагали помочь – возможности у некоторых были немалые.

Были в списке и подушки, и постельное белье, и почему-то ситцевые ночнушки, и даже горчичники с валокордином – смешно. Ну валокордин им точно не нужен, а вот белье и подушки вполне пригодились бы.

Книги оставались у Нины, в той семье. Мишка мечтал их забрать, к тому же подошло время для объяснений, надо было решать вопрос с алиментами для Кати. Кира видела: Мишка надеется, что Нина благородно не станет требовать деньги с безработного бывшего мужа. Кира, конечно, в это не верила – Нина остается с дочкой одна. Да и к чему благородство? Да, он оставил ей квартиру. Но когда это было и сколько воды утекло!

Решили так – на один день они разъезжаются. Мишка – к Нине, Кира – к своим. На самый трудный в их жизни разговор. Одновременно будет легче – каждому будет не до переживаний за другого.

Кира нервничала так, что с ночи страшно разболелась голова. По слабости духа подумывала разговор отложить. Но, увидев Мишкино

решительное лицо, передумала: пропадать – так вдвоем! У них все вдвоем, пополам, вся их совместная жизнь.

На улице обнялись.

– Как на войну, – грустно усмехнулась Кира.

Мишка молча кивнул.

Дорогой в Жуковский Кира всплакнула – всех было жалко: и родителей, и себя. Но требовалось еще и родительское разрешение – вот и это было проблемой. Хотя чего ждать, на что рассчитывать? Реакция матери и отца была вполне предсказуемой – и Кира это отлично понимала.

* * *

Мать выглядела озабоченной и Кириному настроению, кажется, не заметила – вечно болеющий муж теперь был ее основной проблемой. Что там дочка? У нее давно своя жизнь, она давно отрезанный ломоть.

Кира села на кухне, и мать спросила:

– Голодная? Есть будешь? У меня сегодня кислые щи.

Кира обреченно кивнула: обед – небольшая оттяжка. Пусть будут щи.

Отец к обеду не вышел – спал. Мать посетовала, что он теперь много спит. Только приляжет, сразу засыпает. Ну и уже легче. При отце начать разговор было совсем страшно. Она молча хлебала щи и готовилась. «Кажется, так я никогда не боялась», – подумалось ей. Но и это надо пройти. Надо. И она это пройдет.

Наконец выдавила, как пискнула:

– Мама, у нас для вас новость. Не слишком приятная, но неизбежная.

Мать вскинула брови:

– Ну-ну! – поджала губы. – Чего от вас ждать? Одних неприятностей.

– Мама! – выдохнула Кира. – Мы уезжаем.

Мать растерянно моргала глазами – не понимала.

– Куда? – булькнула она. – И надолго?

Страшно было произнести – «навсегда».

Кира молчала.

Мать повторила:

– Куда вы собрались? Что еще в голову вздумалось этому твоему?

Кира оборвала:

– Мужу, мама! Как бы тебе это ни нравилось, Миша мой муж. И хватит, пожалуйста! – Помолчала с минуту и как в воду: – Мы уезжаем насовсем. Насовсем, мама! И вам надо принять наше решение. Ты же

знаешь. – Кира, ободренная материнским молчанием и растерянностью, затараторила: – Мама! Ты же знаешь, что у Мишки с работой! Ты же знаешь, как мы живем. Тебе же известно, где мы и как. Мы устали слоняться по чужим углам! Мы уже взрослые люди и... – Кира заплакала.

Мать молчала.

– Мама! – выкрикнула Кира. – Ну не молчи! Умоляю! И еще – пойми меня! Пойми нас! Мама, пожалуйста!

– Вас? – хрипло сказала мать. – А меня? А отца? Нас кто поймет? – Она резко встала со стула и вышла из кухни.

Кира сидела как прибитая. Уйти? И что дальше? Что вообще дальше? Как быть? Так и сидела бы до второго пришествия. Если бы не услышала рыдания матери. Встала, прошаркала, как старуха, по коридору и наконец решилась зайти в комнату, где спал отец. Он лежал на спине с закрытыми глазами. «Как мертвец, господи», – мелькнуло у нее. Мать, притулившись на краю кровати, рыдала, закрыв лицо руками, и приговаривала:

– Беда, Костя, беда. Ой, какая большая беда!

Сердце сжалось до невозможно острой, как вспышка, боли.

– Мама! – выкрикнула Кира. – Ну какая беда? Ты же все знаешь! Тебе все известно про наши мытарства! Выхода нет, понимаешь? Мишка погибнет. Еще пару лет – и погибнет! А там – там я рожу! Это здесь я старородящая, убогий и презираемый перестарок. А там и после тридцати рожают, мама!

«Все, аргументы кончились», – подумала она.

Но мать прекратила рыдать – в секунду, как выключили. И спокойным голосом ответила:

– Погибнет? Как же! А если и погибнет, так и, прости, слава богу! Выйдешь нормально замуж – у тебя еще есть пара лет. А про внуков – да что это нам, если мы их не сможем растить?

Пораженная, Кира молчала, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Наконец из горла вырвался хриплый, сдавленный крик:

– Господи, мама! Как же ты можешь! Он... Я же люблю его, мама!

– Юля, – тихим голосом откликнулся отец. – Прекрати. Пусть делают что хотят. Их жизнь. Пусть коверкают, ломают – их право. А то, что дочь вырастили такую, так это к нам, а не к ней.

Он открыл глаза и повернул голову к Кире:

– Подпишем тебе твои бумаги, не беспокойся. Все, что надо, подпишем. И давай – в новую жизнь! У вас там получится, не сомневаюсь – если через нас перешагнула, через родину.

Кира ничего не ответила. Последнее, что запомнилось, – глаза матери,

растерянные, удивленные и не верящие услышанному. Неужели это сказал ее муж? Как же так? Ведь она так на него рассчитывала.

Кира шла по улице и ревела. Облегчения не было – вроде бы все разрешилось, слово отца закон, как он сказал, так и будет. Отец не из тех, кто меняет решение. Только горечь на сердце, тоска. Душа рвется на части. А они ведь правы, ее старики! Хотя какие они старики? Слегка за пятьдесят – разве это возраст? Но очень скоро они и вправду превратятся в стариков. Отец и сейчас постоянно болеет – сказывается тяжелая жизнь в гарнизонах. Мать еще держится – женщина всегда сильнее. Но ведь они правы, а? Как они будут без поддержки, совершенно одни? Но разве есть альтернатива? Разве она может отказаться от их с Мишкой решения? Ну допустим, она остается – без любимого мужа, без надежд, без перспектив. По-прежнему без угла. Только теперь совершенно одна. С очень незначительным шансом устроить личную жизнь, потому что в первую очередь это не нужно ей самой. Окончательно без детей – это понятно. Но родителей не бросит. На алтаре две жертвы – родители и муж. Кого она выберет?

Вернуться к ним? Хорошо, и это допустим. Хотя что тут хорошего? Не уживутся они. Никогда. Даже в юности было сложно. А уж теперь! Но самое главное не это – самое главное, она им никогда не простит, что они сломали ее жизнь и лишили любимого. И довольно скоро – или не очень скоро, особой разницы нет, это все равно обязательно случится – она начнет их ненавидеть. Одинокая старая дева, снимающая убогую комнатку на задворках Москвы, считающая жалкие копейки, еле выживающая, – в такую она превратится очень скоро, лет через пять. А то и раньше. Нет, конечно, она их не оставит – будет мотаться по воскресеньям, проклиная и ненавидя свою одинокую жизнь. Отстаивать очередь за колбасой и «Юбилейным» печеньем, вырывать из чьих-то рук тощую синюю курицу – гостинцы родным. Тащиться в холодной электричке и снова проклинать свою судьбу.

А там, у родителей, бросаться пятеркой – мать непременно будет требовать, чтобы дочь взяла деньги: «Ты же и так считаешь копейки!» В результате, конечно, они поругаются. Кира откажется обедать, наорет на мать, швырнет на стол банку с вареньем – ответный гостинец – и, громко хлопнув дверью, с облегчением выкатится за дверь. А в электричке снова примется реветь. А потом вернется в чужой угол, на чужую кровать. И опять одиночество – кошмарное, дикое, беспросветное. Уже окончательно и навсегда.

А потом кто-то из них уйдет – уйдет первым. Это жизнь, это нормально. Допустим, отец – это скорее, хотя бывает по-всякому. Если

мама останется, она справится. А если останется отец? Он не сможет себя обслужить – ему и сейчас это сложно, без мамы он никуда. И она, хорошая дочь, конечно же, переедет к нему – это не обсуждается. Ну и все, что к этому прилагается, – уход, врачи, таблетки, уколы. Каши на воде. Нытье, капризы. Мать привыкла, терпит – муж. А она, дочь? Нет, она не стерва – она, безусловно, исполнит свой долг. Станет выслушивать жалобы, претензии, терпеть. Злиться, раздражаться, но терпеть, неумолимо превращаясь в окончательную скрипучую зануду. Только простить ему она не сможет, нет! Меняя белье, купая его в ванной, подавая ему еду, она всегда – всегда! – будет вспоминать, что осталась из-за них. И это чистая правда.

Ну а если первым уйдет отец, с матерью начнутся вечные ссоры. Они никогда не понимали друг друга. И никогда – никогда! – она не забудет и не простит ей те слова: «Погибнет? Как же! А если и погибнет, так и, прости, слава богу! Выйдешь нормально замуж – у тебя еще есть пара лет».

Никогда. Если только не наступит полнейшая амнезия.

Ну а потом Кира стала себя успокаивать. «А на что ты рассчитывала, дорогая? На горячие объятия и бурную радость от эдакой вести? Ага. Ты, кстати, думала, что будет куда хуже – например, они откажутся подписывать разрешение на выезд. Была почти уверена в этом. И получается, что все сложилось совсем неплохо. В обморок никто не упал, «Скорую» не вызывали. Свыкнутся с мыслью, привыкнут – деваться-то некуда. Ни им, ни мне», – вздохнула она и слегка успокоилась. Надо подождать, переждать, и все устаканится. Главное, что она решила. И без потерь не бывает – во всяком случае, в подобных ситуациях. Всегда надо жертвовать. Всегда будут жертвы. В конце концов, таких, как они, сотни и даже тысячи. И все как-то живут. Жестоко? Жестоко. Будет за это платить? Безусловно. Готова? Готова. И переключилась мыслями на Мишку: «Как он там»?

Домой почти бежала. «Домой»... По темным окнам поняла – его еще нет. Сердце сжалось. Открыла дверь и поняла, что Мишка дома – споткнулась о его ботинки в прихожей. Бросилась в комнату – одетый, он лежал на кровати.

Села на край:

– Мишка, милый! Все – плохо?

Он дернулся, кашлянул и мотнул головой:

– Нет, все в порядке, если можно так сказать. – Истерично и коротко хохотнул.

Про нее не спросил – боялся?

Не дождавшись сколь-нибудь вразумительного ответа, Кира пошла раздеваться. В квартире, как всегда, было прохладно. Как ни заклеивай окна, как ни подкладывай под разбухшие от сырости рамы старые полотенца, все равно дует из всех щелей. И не справиться с этим никак.

Надела старый теплый свитер, шерстяные носки, треники – и пошла готовить ужин. Открыла холодильник – почти пусто. В морозилке валялась пачка пельменей – вот оно, счастье! Такое простое и незатейливое, такое бедняцкое и насмешливое счастье. От отчаяния и жалости к себе брызнули слезы. Поставив на плиту кастрюлю с водой, Кира встала у окна. Было темно. Фонари не горели. От порывов ветра хлопала дверь подъезда. По темной Кольцевой проезжали машины, и от их фар коротко и ненадолго освещалась улица. Впрочем, пора было ставить чайник. На этой чертовой плите под названием «Лысва» он закипал не меньше чем через полчаса. Не дожدهшься – особенно по утрам, когда торопишься на работу. Вытащила пельмени, достала из холодильника майонез – тоже дефицит, кстати, – и пошла в комнату.

Мишка дремал – уже хорошо. Укрыла его одеялом и пошла есть одна – будить нельзя, пусть отдохнет. С трудом глотала уже остывшие пельмени, запивала горячим чаем и молча глотала слезы. Вымыв тарелку, осторожно легла рядом с Мишкой. Тихонько прижалась и закрыла глаза. И наступило блаженство. Такой покой наступил, что она улыбнулась. Вот ее жизнь. И по большому счету никому, кроме друг друга, они не нужны в этом мире. У матери есть отец и наоборот. У Кати есть мать и бабушка с дедушкой. А у них с Мишкой никого больше нет. Выходит, все они правильно делают. И все они переживут и через все пройдут. А может, не так все и страшно? С этими мыслями она наконец уснула.

У Мишки – вот странное дело! – выходило все более-менее. Нина новость восприняла спокойно и даже сказала, что внутренне была к ней готова. Не то чтобы поддержала бывшего мужа, но постаралась понять. Про Катю разговоров не было – что обсуждать? Что обсуждать, кроме денег?

Стала оправдываться: «Ты должен меня понять. Тяжело поднимать одной. Да, от тебя и раньше-то финансовой помощи не было – если честно. Не обижайся. А вот поддержка была – ты был рядом. Но пойми и меня. Обдирать тебя не буду. Много требовать – тоже. Но извини, дружба дружбой, как говорится...»

Короче говоря, итог переговоров был таков – две тысячи рублей. Деньги огромные, неподъемные. А еще предстояло купить кое-какие вещи

в новую жизнь. Оставалось одно – идти на поклон к Зяблику.

– А если откажет? – тихо спросила Кира. – Что будем делать?

Мишка с надеждой ответил, что вряд ли. Для Зяблика это не такие уж дикие деньги. Про то, когда они отдадут этот долг, оба молчали. Что они знали, что понимали? Да ничего.

К Зяблику отправились в первые же выходные. Ехали как на каторгу. Понимали: если откажет – все, конец. Нет, был еще малюсенький шанс уговорить Нину обождать, пока они устроятся. Но не хотелось. А просить в долг хотелось?

У Зяблика было все по-прежнему – шумно, накурено, по дому слонялись красивые девицы, стол был уставлен яствами, пахло хорошими духами, настоящим кофе, кожей – уверенностью и богатством. В духовке запекалась баранья нога, и аромат был такой, что Кира громко сглотнула слюну.

Зяблик, в вельветовых, в крупный рубчик, зеленых брюках и в белом свитере, был, как всегда, хорош и вполне соответствовал всей обстановке. Вернее, обстановка соответствовала хозяину. Да и что могло измениться?

Негромко играла музыка, и Кира устало опустилась в кресло. «Сейчас решается наша судьба», – грустно подумала она.

Мишка с Зябликом удалились в кабинет.

Не было их минут десять, не больше. Кира вздрогнула, увидев их на пороге гостиной, – Мишка был весел, Зяблик растерян. Муж махнул Кире, позвал ее на кухню. Дрожали руки, дрожали ноги. Расселись, и Зяблик молча разлил коньяк и порезал лимон. Сел напротив.

– Ну, други! Покидаете, значит, меня?

Кира видела, что Зяблик расстроен, но внутри ликовала – было понятно, что деньги он дает. Зяблика быстро развезло – впрочем, и пузатую бутылку «Камю» они уговорили минут за двадцать.

– Вот, – наконец проговорил он, – и начались мои потери. Рано как-то. Нет, ребята, я все понимаю! Хреново у вас. И вы, наверное, правы, – жизнь покажет. Но я вам желаю от чистого сердца – уж в этом вы, надеюсь, не сомневаетесь!

Кира с Мишкой дружно кивнули.

– Но как я без вас? Как я без Мишки? – Зяблик пьяно хлюпнул носом.

Мишка накрыл Зябликову руку своей и тоже захлюпал. Кира встала, чтобы сварить кофе. Смотреть на них было непросто. «Всех жалко, – подумала она. – Все мы, по большому счету, одиноки. И даже Зяблик, вечно окруженный шумной толпой приятелей и прихлебателей, ни на минуту не остающийся в одиночестве, сейчас кажется совсем одиноким – ни семьи,

ни детей. Бедные люди, бедные мы! Всех жалко. И себя – в том числе».

Но выбор сделан, и главное, что есть деньги. Путь открыт – добро пожаловать!

В целом, надо сказать, все складывалось довольно удачно. Про родителей и алчных бывших жен истории рассказывали разные, и даже страшные, между прочим, – Кира их слышала. К своим решила пока не ездить – пусть успокоятся. Правда, время поджимало – пора было оформлять документы, а без разрешения от родителей это было невозможно.

Дел было полно. Все-таки купили по мелочи: две кастрюли, пару сковородок, дешевый сервиз – это все называлось «на первое время». Кира воодушевленно бегала по магазинам – раньше такое за ней не водилось. С работы она уволилась – по-другому было нельзя. В Медведках телефона не было, позвонить родителям было невозможно. Наконец она собралась с духом и поехала – дальше откладывать было нельзя. На станции позвонила – трубку сняла мать. Услышав Кирина голос, заплакала:

– Доченька, дочка!

Кира от неожиданности оторопела – не ожидала такого приема. От волнения сердце заколотилось – вернулась на перрон и купила у бабульки букетик подснежников.

У двери квартиры постояла, попыталась справиться с волнением, выдохнула и наконец позвонила.

Мать тут же открыла дверь и выкрикнула в квартиру:

– Отец! Кирочка наша!

Кире опять показалось, что она попала не туда, не к своим – такого не может же быть!

Мать обнимала ее, вглядывалась в ее лицо, гладила по голове и причитала. Было такое ощущение, что встретились они спустя долгие годы разлуки – будто Кирина эмиграция давно состоялась и вот наконец пришло время долгожданной встречи.

Отец молчал и на дочь не смотрел, но и в его глазах осуждения не было. Переживает, увидела Кира. Просто страдает – и все. И в эти минуты ей снова стало невыносимо стыдно и больно – кажется, так стыдно и больно не было никогда. «Какая же я дрянь! – подумала она. – Просто законченная тварь и сволочь! Конечно, они любят меня и очень страдают. Теряют единственную дочь. Навсегда». Кира обняла мать и разревелась.

Это был лучший, самый трогательный день в их семье за последние лет десять. И, конечно, самый несчастливый. Но именно в то дождливое весеннее воскресенье Кира почувствовала себя дома, в семье.

Мать хлопотала на кухне, причитая и охая, что нет воскресного обеда: «Ты же не предупредила нас, Кирочка!» Да и никакого другого обеда не было, что для матери было невозможно. «Без супа и компота нет семьи», – всегда говорила она. Но, Кира заметила, холодильник был пуст, чашки после завтрака не помыты, да и после ужина, кажется, тоже – грязная посуда была навалена в переполненной мойке. На подоконнике скорчилась засохшая герань – и это было странно и невозможно: цветы свои мать обожала и берегла. Киру поразили давно не метенный пол, пыль на шкафах и – главное – стойкий запах ментола и валерьянки.

Мать очень сдала за это время, хотя прошло-то всего ничего. А как будет дальше, после ее отъезда?

Кира страдала. Первая радость и облегчение от перемирия отошли – как не было. И она разглядела лица родителей – одутловатое и болезненное отца, серое, с темными подглазьями матери. Увидела ее дрожавшие руки. Застиранный, блеклый от времени халат с затертыми обшлагами, старые, стоптанные на задниках тапки. И материнские пятки – заскорузлые, темные, как кусок старой коры. А она всегда следила за собой – никогда не пропускала маникюр и укладку. Отец тяжело и хрипло дышал. Губы у него были бескровные, голубоватые.

Мать чистила вялую, проросшую картошку и, порезав палец, громко расплакалась.

Кира поняла, что отвыкла от них. В последнее время ездила к ним с неохотой, зная, что ее ждет: вечные нравоучения, жалобы на хворобы и прочее, какие-то сплетни про соседей, которых она и не знала. Она привыкла думать о родителях с некоторым презрением. Мать – типичная гарнизонная жена. Вечные хозяйственные хлопоты – закрыть на зиму побольше банок с «консервой», как она говорила. И Киру эта «консерва» страшно бесила. Вечное откладывание денег «на черный день» – казалось, что всю свою жизнь они ждали черного дня.

Киру буквально трясло от «важного» мероприятия – обязательного, всегда торжественно обставленного, – закваски капусты на зиму. И почему? Почему ее так раздражали эта покупка кочанов почти в промышленных масштабах и весь дальнейший процесс? Капусту отец и мать солили вместе. Отец рубил, мать перемешивала горку наструганной капусты с морковью и солью, перетирала ее и комментировала:

– Отличная, Кость! Смотри, сколько сока!

Этот жизненно важный процесс занимал все воскресенье – нарубить, перетереть, утрамбовать в два эмалированных ведра – зеленое и темно-синее, оба со сколами. Ведра эти путешествовали с ними по гарнизонам,

Кира их помнила.

Когда ведра были заполнены, отец торжественно и гордо выносил их на балкон. Мать подметала кухню, и они, усталые, но счастливые, садились пить чай. Мать продолжала возбужденно вещать:

– Ну все, Кость, слава богу! Витамины на зиму есть – запаслись!

И отец важно крякал, угукал и довольно кивал.

А этот невыносимый шиповник? Собирали его в лесу – лесной, конечно, полезнее. Сушили в духовке, сортировали и укладывали в трехлитровые банки. Банки покрывали марлей – чтобы ценная ягода не покрывалась коварной плесенью. И пили, пили этот кошмарный, кисловатый и почти безвкусный шиповник всю зиму и весну, почти до тепла!

Вечное «достать», «отложить», «запастись». Вечные клубки старой шерсти, из которой по пятому разу вязались свитера и шапки – страшные, косматые, размытых цветов.

Кира, выходя из дома в школу, тут же срывала шапку и прятала в портфель. А мать восхищалась:

– Такой шерсти сейчас нет. И не ищи!

Как будто Кира пыталась!

А запах нафталина из шкафа? А появление моли как вселенская трагедия? Кажется, даже моль брезговала этой «едой» – на «настоящей» шерсти следов нашествия не находили.

Кира считала родителей мещанами, мелкими и скучными обывателями, недостойными уважения. Она презирала их и тяготилась ими. Именно поэтому так рано сбежала из дома – торопилась с замужеством.

А ее первая свадьба? Как скривились их лица, когда они с Володей решили отпраздновать свадьбу в кафе! И кафе-то – скромней не бывает. Но родители напряглись – зачем тратить такие деньги?

– Какие? – смеялись Кира и ее будущий муж. – Подумаешь, тоже мне, деньги!

Кира отлично знала, что сбережения у родителей есть. Отец получал неплохо – военный. Да и откладывали всю жизнь. «По копеечке, – как говорила мать, – а копейка рубль бережет!» Да ничего им не стоило вытащить из заглазника рублей тридцать-сорок и подарить детям радость! Так нет – справим дома. Можно у нас.

Как Кире тогда было стыдно! Конечно, страшно обиделась и сделала наперекор. Дома? Пожалуйста – для родни. А мы с друзьями пойдем в кафе! На свои! Какие там свои? Двадцатку подбросила свекровь, еще

двадцатку дал Володин отец. Ну и пошли – семь человек. И было здорово! Заказывали без оглядки – денег полно. Салат столичный, нарезки мясная и рыбная, красная икра в яйце, цыпленок-тапака с жареной картошкой и кофе с мороженым. Торт принесли с собой. Шампанское, красное вино тоже в избытке. А главное – танцевали! Танцевали весь вечер.

Хорошая была свадьба. Свекровь, Вера Самсоновна, искренне радовалась, когда они отправились в кафе:

– Конечно, идите! И гуляйте от души, натанцуйтесь всласть!

А ее родители их по-прежнему осуждали: зачем тратить деньги, когда их можно отложить? А ведь не вредничали ни минуты – им действительно было это непонятно. А их отпуска? На них копили весь год, но на море было дорого: «Что ты, Кира! У нас нет таких *средств!*» Ездили обычно к материнской родне в поселок Шумиху, за четыреста верст.

Ах, если бы в настоящую, пусть глухую, деревню – разве Кира была бы против? Все экзотика – лес, грибы, ягоды, речка. Так нет. Поселок этот был при торфяном заводе, на котором горбатилась вся материнская родня. Было там убого и даже страшно: чистое поле, застроенное трехэтажными кирпичными бараками, один чахлый магазинишко и закусовая, где коротали время и пропивали зарплату местные работяги.

Конечно, в поселке все пили. Поди не запей от такой жизни! Пили, дрались, скандалили и сплетничали. Квартирки были плохонькими, под стать остальному невеселому антуражу. Во дворах висело белье, старухи сидели на лавках, дети носились и орали, а местная молодежь – поддатые парни и воинственно разукрашенные молодницы – терлись у распивочной, курили, пили из бутылок пиво и громко, напоказ, матерились. Рожали в поселке рано – в шестнадцать-семнадцать. Семьи разрастались, жилья не хватало, и в тесных квартирках собачились уже три поколения родственников.

Местные девицы жадно оглядывали «москвичку», но в свою компанию не приглашали – еще чего! Она была для них чужая, Кира и сама к ним не стремилась. Как же ей было тоскливо! Спасали только книжки – по счастью, в поселке была библиотека.

Материнская родня – две сестры, Оля и Надя, – были хорошими женщинами, при этом страшно несчастными – убогий быт, тяжелая работа, пьющие мужья и неудачные дети. Что они видели в этой жизни? Да ничего! Младшая, Юля, Кирина мать, была для них королевой и сказочной везуньей. А как же: непьющий муж, к тому же военный, приличная, тихая дочь. А какой у Юльки кримпленовый импортный костюм! А чешские туфли с бантиком?

Мать и вправду пару дней выпендривалась, но потом все вставало на свои места – она принималась за готовку, чтобы помочь сестрам. Какой она пекла наполеон, сколько она с ним билась! И какой же была счастливой, когда вечером, после работы, все садились за стол – несчастная Надя, бедная Оля и она сама, счастливая Юля. Тут же никчемные мужья теток и Кирин положительный и серьезный, всеми уважаемый отец. Два двоюродных брата и сестра – скучные, серые, совсем никакие, не о чем поговорить. Кирина двоюродная сестра Светка мечтала об одном – выйти замуж, и поскорее. На Кирина вопрос, а зачем так рано, усмехалась:

– Затормозишь – останешься в девках!

По вечерам все выходили во двор и устраивались на лавочках. Щелкали семечки и говорили за жизнь. Женщины не снимали халатов и тапочек – а зачем? Так и сидели во дворе – и смех, и грех.

Но разве они были плохими людьми? Ее несчастные тетки, вечные трудяги, не ведающие о другой жизни и тянувшие свой тяжелый воз? И ее родители, тоже вечно колготящиеся, бьющиеся за «достойную» жизнь? Суетливые, глуповатые, смешные.

Но плохие? Нет. Они всегда старались помочь – соседям, знакомым. Кира помнила, как она страшно удивилась, узнав уже в юности, что мать регулярно и без задержек, десятого каждого месяца, отправляла пятерку отцовской двоюродной сестре Тине – одинокой вдове с тремя детьми. Тина жила где-то в сибирском захолустье, тяжело работала. Кто эта Тина была матери? Так, дальняя родственница. Виделись раз пять в жизни, и что с того? А ведь помогала. И деньги тогда это были немалые – и это при материнской скупости.

А как мама выхаживала соседку бабу Лену, одинокую, оставленную пьющими детьми? Носила ей еду, кормила с ложки, меняла белье, стирала его и проводила у постели старушки ночи и дни. И хоронила ее на свои, кстати, деньги, бабы-Ленины сыновья-пьяницы ничего дать не могли. И поминки мать собрала. Говорила – достойные.

А как она ухаживала за отцом – ночевала в больницах на кушетках, если вообще спала.

Да и отец – всю жизнь переписывался с однокурсниками по училищу. И, кстати, когда разбился его друг, отослал его вдове крупную сумму денег.

А то, что тогда мать не приняла их с Мишкой... Так, наверное, она была все-таки права – ни одного дня они бы не ужились, к тому же эти вечные хворобы отца.

Кира поняла, что сейчас разрешится, и пошла в ванную. Потом зашла в свою комнату – свою бывшую комнату. Крошечную, как и, впрочем, вся

квартира – словно конструктор, собранный для лилипутов. Большая комната в четырнадцать метров – «зал»! И ее, бывшая детская, – восемь метров. Сейчас здесь спала мать. Те же клетчатые шторы – синяя и белая клетка. «Крокодилчики» на металлической струне чуть провисли – то еще приспособленьице! Жесткая тахтичка – узкая, неудобная. Потертый коврик у кровати – полы всегда были холодными, «не дай бог Кира застудит почки». Письменный стол, стул. Двухдверный облезлый *шифоньер*, притараненный из гарнизона. Зачем надо было тащить его с собой? Как Кира злилась в юности: «А что, нельзя сказать «шкаф»?» Мать обижалась. А Кире еще больше хотелось вредничать – подмечать их промахи, нелепые привычки, дурацкие деревенские словечки. Чтобы обидеть, задеть, посмеяться.

А как родители радовались этой квартире-клетушке! Все, что отец заслужил за долгую службу. А ведь он принял ее как награду. Но разве это награда? Смешно.

И перед Верой Самсоновной Кира своих родителей стеснялась. И перед Володей. А уж перед Мишкой...

А сейчас стало стыдно – почему она их стыдилась? За что презирала? Но разве они виноваты в том, что жизнь их приучила копить, прятать, сберегать, оставлять на черный день? Разве они виноваты, что жизнь, сама жизнь, сделала их такими? Как она оставит их – немолодых, нездоровых? Совсем одиноких?

Пообедали молча. Только мать все извинялась, что обед вышел таким – картошка да капуста. Конечно, своя, квашеная, из синего эмалированного ведра:

– Почти вся осталась, Кира! Ты ж не брала! А мы уже не очень ее и едим, желудки не те. Вот приехала бы ты – и на всю зиму бы обеспечили! Витамины! Витамина С в ней больше, чем...

– Мамочка! – перебила Кира. – Ну хочешь, сейчас заберу? Навитаминимся к лету.

Мать грустно кивнула и украдкой отерла слезу. Ни о чем не спрашивали – ни об отъезде, ни тем более о Мише. Кира понимала – он для них враг, увозит родную дочь. Без него бы она ни в жизнь до такого не додумалась. И в голову бы не пришло – она ж дочь военного!

Кира сама начала про отъезд.

– Когда? – робко спросила мать.

Кира небрежно махнула рукой:

– Да нескоро, мам! Еще столько всего! И бумаг надо кучу собрать, и дожидаться разрешения. Сколько – не знает никто. Они там могут выкинуть

любой фортель.

– И не пустить? – с надеждой спросила мать.

Кира вздохнула.

– И в том числе не пустить.

И тут же пожалела об этом – вот, подарила надежду. Дура, ей-богу. Не пустить их в принципе не должны были, так считалось. Мишка давно ушел из института, сто лет назад. Но кто его знает, как сложится.

Потом долго пили чай и тоже молчали.

Наконец мать выдавила:

– Это ведь навсегда, Кирочка? Ну, если вас... выпустят?

Отец дернулся и покраснел.

– Мама! Не мучай меня, умоляю! Ну ты же сама все понимаешь! Мы же здесь пропадем!

Мать быстро заверещала:

– Кирочка, о чем ты? Никто не пропал, а вы пропадете? Почему, доченька?

Кира вздрогнула – мать никогда не называла ее доченькой. Ну, если только в далеком детстве.

– Почему пропадете? – повторяла мать. – Да, жизнь непростая. Но ведь никто не пропал, доченька, – все как-то живут. Не голодают же, а! Работают, детей рожают. Мебель покупают, дачки строят! Живут ведь люди! Куда вы собрались, дочка? Это же совсем незнакомый мир! Совсем чужой! Как вы там? Одни, без родных? А не приживетесь? Подумай, Кирочка! Умоляю тебя!

– Уже подумала, – жестко ответила Кира. – Мама, решение принято. У Миши там перспектива. Работа. Бывший коллега ему обещает. Дело его. Ну и я как-то устроюсь. Мама, там, знаешь ли, тоже еще никто не пропал! Никто, понимаешь? Ну и потом... Устроимся и вызовем вас! И будем все вместе.

Ни секунды она не верила этому. Прекрасно понимала – этого никогда не будет. А сказала.

– Ну нет! – Отец хлопнул ладонью по столу. – Мы туда никогда не уедем! Никогда, понимаешь? Плохо ли здесь, хорошо, а родина! Тебе мы это не объяснили – наша вина. Мы тебя не держим, езжай. А про нас и не думай, я всю жизнь ей отдал, родине своей. Плохой, хорошей – не знаю. – Он резко встал, качнулся, и мать тут же вскочила, чтобы его поддержать.

«Пора, – подумала Кира. – Все, надо ехать. В конце концов, это еще не прощание. Это – начало прощания. Только теперь надо почаще к ним ездить – единственное, что я могу. А сейчас вдвоем им будет проще, когда

уйдет раздражитель. Вот так получается».

Мать увела отца в комнату, и Кира зашла попрощаться, помогла матери уложить его в кровать. Наклонилась.

– Папочка! Ты нас пойми, умоляю! Ну не складывается здесь у нас!

Отец чуть привстал на локте – Кира видела, что даже это простое телодвижение далось ему с большим трудом. Откашлявшись, просипел:

– А может, дело в другом? Не в стране и не в режиме? Может, дело в человеке? Знаешь, дочь, – он снова закашлялся, – все от человека зависит. Если здесь он бесполезен и ни на что не годен... Подумай, дочь! – И повернулся к матери: – Не забудь!

Мать кивнула. Кира не поняла, о чем они. Да и ладно.

У двери мать протянула ей плотный конверт.

– Здесь деньги, Кира! Немного, но сколько уж можем. Вам в дорогу. Вам же многое надо – ну, разное там. Я с Раей Левиной говорила, у нее сестра с детьми уезжала. Она меня и просветила. Да тебе лучше меня все известно! Возьми!

Она держала в руках конверт, и в глазах ее были испуг и мольба. Чего она боялась? Что Кира откажется?

Кира прижалась к матери и тихо сказала:

– Спасибо, мам! Ты даже не представляешь, как нам это надо!

Мать всхлипнула.

В электричке Кира не могла сдержать слез. «Какая тяжесть на сердце, какая тоска. Электричка эта, кратовская, дорога, знакомая до каждой мелочи, каждого деревца, каждой урны. Дорога слез и тоски».

Ей всегда казалось, что она не очень любила своих родителей. Точнее, спокойно без них обходилась. Ей было вполне достаточно редких, раз в месяц, коротких и скупых встреч – повидались, и ладно. Она не ждала от них помощи – никогда и никакой – и не прибегала в родительский дом, когда ей было невыносимо плохо. И в голову бы это ей не пришло! Она никогда не рассказывала им о своих проблемах, уверенная, что так им будет спокойнее. Нет, вспомнила: что-то произошло на работе, какой-то конфликт с начальством, и она очень переживала. Приехав к родителям, неожиданно для себя начала подробно, в лицах, рассказывать об этом. Держаться не было сил – разревелась. И вдруг увидела, поняла, что им это точно неинтересно – отец продолжал листать «Советский спорт», иногда повторяя свое вечное «угу». А мать лепила пельмени. И вдруг, посреди Кириного рассказа, подняла глаза и сказала:

– Ой, Костя! А свинина-то постная! Может, сальца добавить?

Кира поперхнулась от возмущения и обиды, схватила пальто и

выскочила на улицу. Как было жалко себя! Окна квартиры выходили во двор, аккуратно на ту скамейку, где плакала обиженная Кира. Наверняка мать подходила к окну – она любила поглазеть во двор: кто как поставил машину, кто из соседок судачит на лавочке. Кира просидела на той скамейке около часа. Подняла глаза на окна родительской квартиры – мать отпрянула от окна. Она поднялась и пошла на станцию. С откровениями было покончено – теперь навсегда.

Трудно было с этим смириться – принять то, что она, по сути, им тоже не очень нужна. Обидно? Обидно. Может, дело в том, что она рано ушла из дома? Какая разница? Но вот сейчас, в эти дни, когда до отъезда оставались считанные месяцы, почему-то особенно болела душа.

А дома удивила Мишкина реакция – так удивила, что она смешалась.

– Раскошелились старички? Ух ты! И их пробило! Ну, Кирка! Гуляем!

Кира ничего не ответила. Было обидно – и юморок его дурацкий, и эта неприкрытая радость. И это «раскошелились старички».

Не удержалась, выдала:

– А они тебе чем-то обязаны, Миша?

Он ничего не понял.

– Мне – нет. А вот тебе... Ты же единственная дочь.

– А приличная единственная дочь не бросает своих, как ты изволил выразиться, «старичков» – приличная и единственная дочь живет возле них и заботится о них!

Сказано это было, естественно, с вызовом, и Мишка снова удивился:

– Что-то я не заметил, что ты стремилась жить возле них. Извини.

Конечно, Кира обиделась. Но назавтра хлопоты закрутили. Мишку она, конечно, оправдала – мужики, что с них взять. Лепят первое, что придет в голову. А по сути-то прав. Сама же ему рассказывала про вечные разговоры о деньгах, про вечные «отложить и сберечь», про пять сберкнижек, обнаруженных ею случайно. Про скупость родителей. Выходит, сама виновата. Ну, не подумал – Мишка такой, о форме не беспокоится. Бог с ним.

Дел было много. Бросилась по магазинам, судорожно сжимая в руке список «отъезжантов». А все надо было *доставать*, с потом и кровью. Одеяла, подушки, кастрюли, чайник – обязательно небольшой, на один литр. Попробуй найди! И со свистком непременно – там, знаете ли, денежки берегут и электричество понапрасну не жгут, как у нас. Одеяла надо было достать обязательно теплые, желательно пуховые, из тех же соображений экономии отопления. А еще шерстяные спортивные костюмы. Клей. Как будто они отправлялись на Северный полюс, а не в Европу!

Кира слушала умных и опытных – тех, кто списывался с уже отъехавшими. На своих ошибках, как говорится, учатся одни дураки. А дураками в очередной раз быть не хотелось.

В их новой компании говорили только об одном – об отъезде. И обо всем, что с этим связано. Кире начинало казаться, что поднимается весь Советский Союз и других забот у людей просто нет. Мишка тянул ее в эти «гости», она сопротивлялась, он настаивал. «Больше информации – меньше ошибок», – без конца повторял он.

Может, и так. Только как все это утомляло! Как хотелось сходить в театр, в кино. Просто отключиться от этих проблем хотя бы на пару дней. Забыть, что ты отъезжант, будущий эмигрант. Что ты навеки прощаешься с неласковой, но все-таки родиной. Что скоро закончится прежняя знакомая и понятная жизнь. И ждут тебя – а ждут ли? – чужие берега, непонятные, неизвестные.

Страшно. Но это и будоражило – сколько всего можно узнать! Например, посмотреть мир. Разве от такого отказываются? Да сколько людей мечтают об этом – получить этот шанс. У них этот шанс есть! Выходит, они счастливы?

Пару раз съездили к Зяблику – тот был странно тих и молчалив. Да и в доме была тишина – никаких тебе красоток на длинных ногах, никаких иностранных дипломатов с вечными стаканами виски в руках. Никаких ночных покеров – тишина. Кира удивилась. Мишка скупно объяснил, что у Зяблика тяжелый и бесперспективный роман.

– Очередной? – с сарказмом уточнила Кира. – Ну тогда не страшно, пройдет. Сколько раз уже было!

– Нет, здесь другое! – уклончиво ответил Мишка. А что – уточнять не стал. Секрет.

«Тоже мне, секрет! – подумала Кира. – Ну и бог с ними со всеми – с Зябликом, его роковой любовью, с Мишкой и с их общими секретами. У меня есть дела поважнее».

Был май – месяц, который Кира особенно любила. Месяц обновлений, надежд. Месяц свежий, душистый – первые робкие цветы, первые молодые и клейкие зеленые листочки. Запах черемухи, сирени, ландышей. Липы и тополей. И просветлевшие лица – люди ждали обновления вместе с природой.

Но этот май радости не приносил – сплошные тревоги.

Отъезд был назначен на конец июня – дни щелкали, как счетчик в такси. И утекали, как время – бесследно и неизбежно. Заканчивалась старая жизнь, и где-то там, за невнятным горизонтом, скоро должна была начаться

другая.

Какой она будет? Кто знает.

* * *

В Жуковский Кира ездила часто, раз в три дня. Родители вглядывались в ее лицо, словно пытаясь найти признаки изменений. Но пока, естественно, не находили – дочь была все той же. Разве что более нервной, дерганой, измученной.

Кира старалась изо всех сил – делала вид, что ей весело, радостно. Что она так ждет этого часа. Что ей не терпится – поскорее бы. Но на душе было по-прежнему погано.

Трещала не переставая – рассказывала байки про отъезжающих, таможенников и прочее. Родители внимательно слушали, охали, удивлялись и, конечно, пугались.

Мать подружилась с Раечкой Левиной и проводила у соседки вечера. Опытная Раечка показывала ей фотографии сестры и племянников, хвасталась их успехами. Она все знала про цены – от хлеба до мяса. И надеялась вскоре «воссоединиться» с родными.

– У нее-то есть шанс, – однажды сказала мать. – Племянники хорошо устроены, вышлют вызов, и полетит наша Рая.

Отец с удивлением посмотрел на жену:

– А ты что, тоже хочешь вслед за этим?

Мать сурово подобрала губы и сухо ответила:

– Не за *этим*, а за дочерью! Разницу чувствуешь?

– Нас они не позовут – и не надейся. – Отец хлопнул ладонью по столу. – Кому ты там нужна? Ему? Или дочери своей? Так и ей ты давно не нужна! Не заметила? – Он вышел из кухни, а мать еще долго сидела в темноте и тихо плакала. Все было правдой. Муж сказал то, о чем она и подумать боялась. Только стало ли ей от этого легче? Нет, ни минуты – стало еще тяжелее.

«На что я рассчитываю, дурочка? – подумалось ей. – Костя прав. Прав, как всегда. Это я, дура, всю жизнь на что-то надеюсь, все за чистую монету принимаю».

* * *

Кира по-прежнему не замечала того, что происходило вокруг – в середине июня окончательно установилась жара, да такая, что старожилы ничего подобного не помнили. На улицах плавился асфальт, Москва задыхалась от жара и смога. По ночам было особенно невыносимо – распахнутые окна прохлады не давали, асфальт, стены и крыши домов не успевали остыть за короткую и светлую ночь. С раннего утра солнце нещадно палило.

Мишка слушал «вражеские голоса», ловил сводки погоды и бурно радовался:

– Кирка! У нас – двадцать два! Ты представляешь? Вот погодка!

Кира молчала: «У нас, ага. А что еще скажешь?» Она удивлялась, что Мишка не созванивается с Семеном – как же так, они ведь скоро приедут. Все ли там в порядке, все ли по-прежнему в силе? Нечего не поменялось?

Муж небрежно отмахивался:

– Да все в порядке! Что названивать, Кир? Три дня назад говорили, тебя не было дома. Конечно, все в силе! А как по-другому?

«Ну и ладно, – успокаивала она себя. – В порядке, и слава богу. Будет как будет».

Отъезжанты устраивали проводы – было так принято. Кто-то – если позволяла квартира – «проводжался» дома. А те, у кого были средства, снимали кафе или ресторан – в зависимости от толщины кошелька. В квартире в Медведках не было ни места, ни посуды, ни стульев со столом. Решили найти недорогое кафе.

Принялись составлять список гостей. Конечно, родители. Вторым номером – Зяблик. Пара Кириных подруг – одна школьная, Алла, и две институтские – Света и Галя. Мишкины одноклассники, Дима и Стас. Ну и самые близкие «отъезжанты». А вот их набралось прилично, аж четырнадцать человек. И еще коллега Лерочка. Лерочка, к слову, очень им помогла – ее свекровь работала заведующей секцией в универмаге «Москва». Знакомство более чем ценное – волшебное. Она и помогла собрать «узелок» – югославские зимние сапоги Кире, австрийское пальто – там такая зима, что проходишь в демисезонном! – косметика кое-какая на первое время, пока точно не будет денег. Польские духи – на французские Кира денег пожалела: «Обойдусь». Джинсы и куртку Мишке – отличную теплую «аляску». «А разве такая нужна? – робко спросила Кира. – Вы же говорили, теплая зима». Тетка обиделась: Кире тут такое предлагают, а она еще и недовольна!

Народу получалось много, на такие деньги они не рассчитывали. И снова спас Зяблик – сообщил, что икрой, рыбой и мясными деликатесами

он обеспечит. И вправду приволок огромного, метрового, осетра и банку черной икры – килограмма на полтора. Ну и еще всякой всячины – сухую колбасу, огромный целиковый окорок и здоровенный шмат буженины.

Кира, совсем не спавшая в последние дни, выглядела ужасно – от зеркала правды не скроешь. Похудела на шесть килограммов – раньше об этом мечтала, а теперь ей это не нравилось. Не стройности прибавилось – рахитичности. В парикмахерскую, конечно, сходила – прическа, маникюр, все как положено. А выглядела все равно плохо. Даже новое платье, щедрый подарок Лерочкиной свекрови, настоящее джерси нежно-сиреневого цвета, не платье – мечта, не спасало.

Родители сидели тихие, скорбные и пришибленные, как на поминках. Совсем ничего не ели – в тарелках опадала горка салата, жухли огурцы, заветривалась рыба. Сидели, как незваные гости, словно боялись, что сейчас их опознают и погонят прочь. Мать расстаралась – высокая «башня» на голове, залаченная до твердости, стеклянности, кримпленовый костюм в крупную розу, лаковые туфли. Отец парился в темном костюме – кажется, единственном, купленном сто лет назад, на сорокалетний юбилей. Костюм был давно тесноват, галстук давил на шею, и было видно, что он страшно мучается.

Кира подошла к нему и помогла снять пиджак, потом стащила и галстук. С жалкой улыбкой отец выдохнул, порозовел и на радостях хлопнул хорошую стопку водки. А мать сидела по-прежнему вытянувшись в струну, словно окаменела. С удивлением рассматривала незнакомых гостей дочери и не понимала, как надо себя вести – сказать тост? Какой тост, господи? Пожелать им счастливого пути? Да, наверное, надо. Только она так нервничает, что громко сказать не получится – голос, кажется, сел. «Поднять отца? – Она мельком взглянула на мужа. – Нет, не стоит. Он, кажется, уже вполне хорош. Да и нервничать ему не след – не дай бог что – гипертоник». Она судорожно глотнула воды, взяла себя в руки, медленно поднялась, чувствуя, как дрожат и руки, и ноги. Подняла бокал с вином, осторожно постучала ножом по бутылке, призывая к вниманию. Но ничего не получилось – по-прежнему гремела музыка, кто-то танцевал, кто-то пил, кто-то ел, кто-то курил, а кто-то бурно что-то рассказывал. Ее так никто и не услышал – ни стука ножа о бутылку, ни слабого, хриплого призыва. «Товарищи!» – начала она, и слава богу, что никто не услышал. Слишком нелепо прозвучало здесь это «товарищи». Ее никто и не собирался слушать – все были заняты своими делами. Да и какие особые тосты на проводах? Так, коротенько: «Ребята, удачи! Счастливого пути и легкой посадки».

Что разводить? Да и тосты давно все сказаны – люди пьют, едят,

танцуют и треплются. Какие тут тосты, о чем вы? Не столетний же юбилей за столом! Кира поглядывала на родителей, и ей хотелось плакать. Знала – вот сейчас подойдет и... Не сдержаться... Откуда взять столько сил? Старалась не сталкиваться с ними взглядами. И думала – скорее бы это прошло, закончилось. Скорее бы, господи! Сколько можно кромсать по кускам! Как живодеры собачий хвост. Больно же, больно!

С родителями прощались у подъехавшего такси. Отец хмуро смотрел в сторону. К подошедшему зятю не повернулся – молча протянул руку и, не глядя, кивнул:

– Будь здоров.

Кира прощалась с матерью. Обнимая, шептала какие-то глупые слова, уткнувшись мокрым лицом в ее жилистую и твердую, пахнущую прогорклыми духами шею, гладила ее по волосам, а мать замерла, напряглась – взгляд в никуда, плотно сжатый рот, деревянные руки – столб, а не человек. Обледенелый каменный столб.

– Мама! – в отчаянии крикнула Кира. – Ну скажи что-нибудь, я тебя умоляю!

Мать очнулась, мертвыми глазами посмотрела на дочь и, почти не открывая рта, тихо произнесла:

– Будь счастлива, дочка.

Ситуацию спас таксист. Открыв окно, заорал на всю улицу:

– Ну хорош разводить тут! Давай поехали! Ехать-то черт-те куда – за город! Хорош прощаться, не на похоронах!

Как раз на похоронах, мелькнуло у Киры. Да что там – хуже. Если, конечно, бывает хуже. После похорон, пройдя через боль и страдания, осознаешь: нет больше человека! Нет и не будет. И никогда, никогда тебе с ним не встретиться. И в конце концов после этого окончательного понимания и осознания приходит смирение. Это данность, увы...

А здесь... Здесь все вроде бы живы и даже вполне здоровы. Все живут своей жизнью – прежней или новой. Но увидеться они не смогут, несмотря на расстояние в какие-то ничтожные две тысячи километров. И получается, что это тоже смерть – только другая. Которую, может быть, воспринимать еще тяжелее, еще больнее.

Такси разворачивалось, и Кира в последний раз увидела растерянные, испуганные глаза матери. «В последний раз, – пронеслось у нее в голове. – Господи боже! И это правда? Как я могла?» Она села на корточки и в голос завывала. Мишка сел рядом и обнял ее. Он молча гладил по голове и что-то шептал. Но какие слова могли ее утешить? И правильно, что он замолчал. Так было легче. Если вообще здесь применимо это слово – «легче».

Самолет улетал в десять утра. Отвозил их Зяблик – Кира вспомнила, что на вчерашнем «празднике» тот был тих и печален. И смылся, кажется, рано – хотя, если честно, она за ним не следила, не до того.

И сейчас Зяблик казался хмурым и молчаливым. Переживает за лучшего друга? Наверное. А может, не выспался. Или свои неприятности. Да и что тут веселого – провожать близких людей на чужбину? Отпускать любимых в непонятную жизнь. Не до смеха.

Мишка заметно нервничал, а Кира была абсолютно спокойна. Но это не было раздумчивым и рациональным, трезвым и обнадеживающим спокойствием – это были, скорее всего, равнодушие ко всему, нечеловеческая усталость и полная опустошенность – как будет, так и будет. Всё.

Хуже уж точно не будет – не может быть хуже.

Она смотрела в окно машины, за которым все дальше и дальше уплывал от нее любимый и родной город. Город, в который она, скорее всего, никогда не вернется. Город, где прошли ее молодость, ее золотые годы – счастливые и не очень. В юности все они золотые – что говорить! Проехали Химки, и началось Подмосковье. Любимый город остался позади, как мираж.

Кира громко и шумно выдохнула, и Мишка, обернувшись, с тревогой посмотрел на нее. Она коротко мотнула головой – не волнуйся. «Всё, всё! – говорила она про себя. – Всё там, позади. А впереди – только новая жизнь. И точно – счастливая».

Этот последний день тоже был жарким – с раннего утра нещадно палило белесое недоброе солнце. Листья на деревьях посерели, пожухли, свернулись. Асфальт словно вздулся, припух и нестерпимо вонял гудроном.

Окна домов были распахнуты, но и это, конечно, жизни не облегчало. На Кольцевой стало чуть легче – немного пахло свежестью от леса. Зашли в здание аэропорта и дружно выдохнули – в здании было прохладно и немного сумрачно, словно это отрезало, отделило, отсекло, как демаркационная линия, их от города с его невыносимой жарой и их прошлым. Здесь, казалось, была уже совершенно другая жизнь.

Она не сразу узнала его. Как же он изменился! Вместо красавца и франта Зяблика напротив нее, жалко улыбаясь, стоял старик. Сутулый, седой, с потухшими глазами. Лешка Зяблов, бывший красавец, наследный принц, бабник, гуляка, кутила, картежник.

Увидев ее, он вздрогнул и подался вперед.

– Ну здравствуй, Кирюша! Как долетела? – Он подхватил ее дорожную сумку и неуверенно чмокнул в щеку. – Рванули? Машина там, на стоянке. Подождешь? Я подъеду.

Кира кивнула, пытаясь выдавить улыбку.

– Конечно, Леша! О чем ты? И спасибо тебе, что не проигнорировал, встретил. Ведь у всех своя жизнь, я понимаю.

Зяблик сделал большие глаза и возмутился:

– О чем ты? Глупость какая – проигнорировать? Ну, мать, ты даешь! – И, покачивая головой, направился к выходу.

А она отправилась за ним, с грустью и жалостью подмечая его стариковскую, шаркающую походку, согбенную спину и стоптанные каблуки на старых ботинках. И это было самым невероятным.

На улице наступили легкие сумерки.

Кира смотрела в окно, равнодушно отмечая перемены, и ничему, честно говоря, не удивлялась. Ну во-первых, все сведения сегодня были доступны – о переменах в столице вопили интернет, соцсети и пресса. С удовольствием ругали прежнего мэра и, кажется, с еще большим энтузиазмом нынешнего. Москвичам не нравились нововведения и так называемый креатив – ни праздничное освещение улиц, ни украшения в виде дурацких освещенных арок, ни букеты похоронных искусственных цветов в пластмассовых кашпо, висящие на фонарях. Не нравилась бестолковая трата денег на совершенно ненужные глупости. Народ возмущался, но, конечно же, ничего не менялось.

А Кире все это было до фонаря – с этим городом она давно распрощалась и он, слава богу, остался в ее воспоминаниях таким, каким был. А этот, новый, город она и не считала своим – не о чем горевать. Ее дом давно в другом городе – ухоженном, чистом, красивом. Городе на берегу реки Майн.

Зяблик коротко глянул на нее и усмехнулся:

– Ну как? Как тебе это все? – В его голосе чувствовалась грустная ирония.

– Да никак, – спокойно ответила Кира. – Это уже давно не мое.

– Тебе легче! – улыбнулся Зяблик.

Машина остановилась у легендарной высоты на Восстания. Здесь,

казалось, все было по-прежнему: легендарная высотка была все того же серо-бурого цвета, наличествовали и шпиль на главном корпусе в двадцать четыре жилых этажа, и легкие ажурные башенки на боковых уступах, фасад с пилястрами, разбивающийся на пояски, входы со скульптурами с барельефами, подсветка на фасаде – снаружи все было по-прежнему. Только исчез – как не было – знаменитый Пятнадцатый гастроном, украшенный богато, с размахом, под стать самому дому и его важным жильцам.

Войдя в подъезд, некогда пышный, богатый, помпезный, Кира увидела, что все изменилось. Вместо роскошных красных ковров – истоптанная серая грязная дорожка, зеркала кое-где треснули, богатые рамы поблекли, роскошные бронзовые светильники с матовыми плафонами были заменены на более скромные – или ей показалось? Нет, витражи, главное богатство и красота подъездов, сохранились. И мраморный пол – серо-коричневый, с красными вставками, тоже. Но лифты, поразившие когда-то ее своей немыслимой роскошью, казались старыми и убогими.

– Ну? – усмехнулся Зяблик. – Что я тебе говорил? Былая роскошь, правда? И ничего не осталось от прежней – увы. А про никого я просто молчу.

– Совсем никого? – удивилась Кира. – А куда же все подевались?

– Это совсем просто. Старики, естественно, поумирали. Дети тех стариков тоже уже старики – вроде меня. Остались внуки, которые бросились распродавать наследство. Еще несколько лет назад за здешние радости давали приличные деньги! В крайнем случае можно было сдавать квартиры в аренду. Тоже, знаешь ли, приличный доход для безбедного существования. А кто стал новым жильцом? Естественно, нувориши. Те, кому раньше это было абсолютно недоступно, даже в мечтах. Внезапно разбогатевшие, мечтающие пожить в роскошном, респектабельном доме, где всегда жили сливки, элита. Вот и заполонили. Так что соседство у меня, – он вставил ключ в замок и не без усилий попытался открыть дверь, – нарочно и не придумаешь.

Кира кивнула и вспомнила, как она, впервые зайдя в этот роскошный и величественный подъезд, испугалась, застыла и оробела.

Наконец дверь открылась, и они зашли в квартиру. Вспыхнул свет. Кира огляделась. Кажется, все было прежним – широкая прихожая, переходящая в просторный холл. Та же люстра на потолке – синее стекло, белые матовые плафоны. Вешалка-рогатка из темного, почти черного дерева – мощная, устойчивая, неподъемная. Сундук-галошница, тоже темный и тяжелый, с тусклым медным запором-подковкой. Кира

вспомнила, что наряду со сношенной обувью в нем валялись старые журналы и газеты. Пара офортов на стене, тоже знакомых: охота и конские скачки.

Прошли дальше. В холле по-прежнему стояли два кресла и бюро, старожилы квартиры. И торшер Кира узнала: на латунной крепкой ноге абажур малинового цвета с кистями – старый знакомец.

– Проходи, располагайся! – любезно пригласил ее хозяин. – Спать будешь в кабинете, если ты, конечно, не против. А сейчас будем ужинать! – добавил он. – Ты же наверняка проголодалась, а, Кир?

Кира кивнула. Нет, голодной она не была. Да и вообще – едок из нее еще тот, если честно. В последние годы, оставшись одна, она вообще ничего не готовила – сидела на бутербродах и творожках в пластиковых стаканчиках. Иногда заходила в китайскую лавку неподалеку от дома и брала навынос – супчик с пельменями, жидкий и соленый, лапшу с креветками или рис с рыбой. К еде она всегда была равнодушна. Да и есть в одиночестве никогда не любила. Хозяйкой она была средней, если по правде. Но, когда была семья, она, конечно, готовила – уж суп и котлеты освоила, будьте любезны.

Нет, есть Кира не хотела, а вот чаю бы с удовольствием выпила. Она зашла на кухню, и тут нахлынуло. В глазах защипало. Все тот же буфет-монстр, огромный и темный, еще более мрачный, как ей показалось, конечно же, стоял на месте. И стол стоял – куда ему деться? Большущий, овальный, на кривых и крепких ногах. Зяблик смеялся, что все вымрут, все сгниет, а стол и буфет останутся – вынести их невозможно, безумная тяжесть. Все так же висел на стене потускневший до зелени старый медный таз с деревянной ручкой, в котором когда-то варили варенье. И часы в фарфоровой раме с синими голубями – им тоже ничего не сделалось. Двадцать лет – разве это время для мебели и всяких предметов быта? «Вот только мы уже не те, – подумала Кира. – Совсем не те мы! От нас прежних, кажется, ничего не осталось».

И снова, в очередной, сто первый раз за последние три месяца, в течение которых она мучительно раздумывала, сомневалась, ехать в Москву или нет, она снова подумала: «Зачем? Зачем здесь? Зачем?» Чтобы не разреветься, глубоко вздохнула – негоже при Зяблике выказывать слабость. Да и в чем он виноват – встретил, привез, обустроил. Зачем ему это надо? Тоже немолод, кажется, не очень здоров – хромать вот стал еще больше. Да и лицо словно трактор проехал. Никого возраст не щадит – ни мужчин, ни женщин. Впрочем, женщинам определенно больше. Только не ей – ей давно наплевать, с той поры, как не стало Мишки. Киру никогда не

волновала собственная внешность, потому что она была любимой и счастливой. А когда это закончилось – тем более. Какая теперь уж разница?

Говорить ни о чем не хотелось – да и Зяблик, кстати, не настаивал. Или тоже устал, или понял, что она не готова. Из кабинета крикнул:

– Кира! Я тебе постелил! Иди отдыхай.

Она и пошла, надо сказать, с большим облегчением.

Все тот же диван, где и началась их с Мишкой счастливая, почти семейная жизнь. Почти – потому что без дома. Без собственного дома. Не включая света, Кира опустилась на диван и застыла. На знакомом до боли диване было неудобно, по-мужски было расстелено белье. «Все повторяется? – подумала она. – Нет, не так. Ничего не повторяется, но прошлое постоянно о себе напоминает». Воспоминания – самое ценное и самое прекрасное, что есть у человека. И самое ужасное, кошмарное, страшное. Когда ничего и никого уже не вернуть. Когда остаются только воспоминания. Точнее, напоминания о прежней жизни, о безвозвратно и навсегда ушедшем счастье – боже, какие пафосные слова! Но ведь чистая правда. И самое главное – от них не укроешься. Ну невозможно их вычеркнуть из головы и сердца – нет такого лекарства. И снова и снова она возникают, как миражи. Снова картинки встают перед глазами – такие яркие, такие реальные, почти осязаемые. Но именно в этот момент ты понимаешь – уже окончательно, бесповоротно, – что ничего невозможно вернуть. И именно в этот момент тебя накрывает такая невыносимая, безграничная тоска, что просто не хочется жить. И ты в который раз задаешь себе этот вопрос – зачем? Зачем вообще жить?

Одиночество. Ей хорошо известно, что это такое. И никого, никого у нее нет. И больше никогда вы не будете вместе пить кофе на кухне и слушать радио, обсуждать новости по телевизору, читать отрывки из любимой книги, чтобы любимый человек удивился, обрадовался вместе с тобой. Потому что все сходится, все совпадает. Все-все, до последней запятой, до последней точки! Это вас всегда удивляло, восхищало и приводило в оторопь – а так бывает? Оказалось – бывает. А что тут странного? Вы совпадали всю жизнь и почти во всем.

Ты больше не услышишь, как он фальшиво, а оттого безумно смешно напевает что-то в ванной, особенно по вечерам. Вы оба любите вечера, гораздо больше, чем утро, начало дня. Вы оба совы. И здесь вы совпали. Вы оба не выносите духоты, и это облегчает ситуацию – в любую погоду вы спите с открытым окном. Но вам не страшно – если вдруг вы замерзнете, то тут же прижметесь друг к другу. А может, вы специально устраивали ледник в квартире? Чтобы покрепче друг к другу прижаться? С

вас стало бы! Вы оба любите дождь.

И разговоры перед сном – да пусть не разговоры, а просто обмен репликами, немножечко сплетни. А что тут такого? Вы давно одно целое, один человек. Да вы можете и не разговаривать – просто смотреть друг на друга и все понимать. Сколько раз это было!

Почему? Почему, господи? Когда только-только появилась возможность немного расслабиться? Чуть-чуть выдохнуть? Когда, слава богу, как-то устроились, попривыкли и обжились. Обзавелись наконец своим домом. Хотя каким там домом – смешно: квартирка из двух комнат, тридцать два метра. Спаленка в шесть метров – полуторная кровать и крохотная тумбочка под лампу и книги. Но это была их первая собственная спальня. И кухонька – точнее, прилавок с малюсенькой, на две чашки, мойкой и одноконфорочной плиткой. Холодильничек, встроенный в стену, для экономии места. Но спасибо, что так – по крайней мере можно что-то приготовить на своей кухне. Духовки, конечно, не было – пирог не испечь, а вот блины – пожалуйста! Мишка так любил блины – со сметаной, вареньем, медом. Правда, в такой кубатуре от кухонных запахов было не скрыться. Они витали и в гостиной, и в спальне – да везде. Но это не раздражало – наоборот! Запах еды – запах дома.

А ванная? Зайти только боком. Слава богу, они оба худые, не страшно. И никакой, разумеется, ванны – душ под занавеской и дырка для слива в полу. Напротив – максимум сорок сантиметров – унитаз, стоящий наискосок, иначе не влез бы. Да и бог с ним, с унитазом! Зато они смогли купить свою собственную квартиру. Кира, если честно, не верила ни минуты – откуда квартира? Копить они не умеют. Цены – ого-го! Сбережений никаких. Откуда, господи? Смешно. Мишка страдал, она его утешала. Всегда утешала. Все правильно – жена должна утешать. Хорошая жена. А она была хорошей женой. Но квартира появилась – когда не стало родителей.

Как смогли, они ее обустроили. Получилось уютно. Она открывала дверь и замирала от восторга и счастья – какая же красота! Конечно, смешно – все маленькое, как под лилипутов. Но никакого лишнего барахла. Хотя нет, лишним было то, что оставил прежний хозяин, но выкинуть это они не смогли – антик, старина, красота. Собственным барахлом за жизнь обрести не успели – по съемным мотаться с вещами? Глупо. Да и вещизмом они не страдали – все эти вазочки, салфетки, картинки им были до фонаря. Но на новоселье кое-что Кира все же купила – например, сервиз. Молодцы те, кто придумал сервиз на четыре персоны! Не на двенадцать или двадцать четыре, а на четыре – четыре суповые тарелки, четыре под второе. Четыре

десертные – дома, в России, они назывались, кажется, пирожковыми. Четыре чашки с блюдами и даже блюдо – под фрукты или под торт. Салатник – ого! Пригодится. И даже сахарница и заварочный чайник! А, каково? Вспомнила, как нашла это «гороховое» чудо, и руки затряслись: хочу! А рисунок? Темно-зеленый, почти в изумрудный, фон и крупные серебристые горошины – красота! Да и цена подходила вполне – рождественская распродажа. Кира тащила эту коробку и мечтала, как расставит все это. Пришлось под сервиз прикупить еще колонку, узкую, угловую – снова для экономии места. Сервиз разместился, конечно, но еще оставались две пустые полки. Вот туда она и поставила дорогие сердцу вещицы, привезенные из Москвы после маминого ухода: фигурку китаянки в национальном платье и с высокой прической – мамину любимую, пятидесятых годов. И мамину же вазочку – шершавую, нежно-салатовую, с белым барельефом – Вербилки, бисквит. Потом прочла, что это наш Веджвуд, технологии те же.

Коврик еще купила под журнальный столик. Не удержалась и прикупила парочку эстампов на стену – Париж, сумерки. Париж, дождь и фигуры размыты. Париж, туман. И тоже все нечетко, размыто. Поняла – любит смазанное, расплывчатое, пастельных тонов. Да и не очень понятное – завуалированное. Четкие линии и яркие цвета ее утомляли – в Пушкинском, например, зарябило перед полотнами Гогена. Поняла: не ее художник талантливый и прекрасный Гоген. А вот Писсаро и Моне – ее.

Сидя на диване в кабинете давно ушедшего зябликовского отца, она вдруг поняла, что уже соскучилась по дому. Удивилась – ее осиротевший после ухода мужа дом, опустевший и холодный, все равно оставался ее домом, ее пристанищем. И только там можно было укрыться и спастись. Она, ненавидящая толпу, шумные сборища, большие компании, не принимала это и в далекой молодости, а уж теперь, в весьма почтенном, как она говорила, возрасте, старательно этого избегала. Чуралась крупных торговых центров с праздно шатающимися толпами, больших кафе с отдыхающим народом, рынков, кинотеатров и прочего скопления людей – ей сразу становилось зябко, неуютно, тревожно. Она любила гулять по тихим, уютным улочкам, поддевая носком туфли разноцветные кленовые листья. Любила посидеть на лавочке в глубине парка, у озера, недалеко от своего дома. Выпить кофе в крошечной, на три столика, кондитерской возле дома – с чашкой американо и с куском марципанового штоллена или вишневого штруделя. А больше всего любила свою спальню в шесть метров, с неширокой кроватью и настольной лампой с темно-зеленым абажуром. И книгу на тумбочке – вот оно, счастье! И большую, синюю,

тяжелую керамическую кружку с уже остывшим имбирным чаем. Кружка была из той жизни, московской. И тишину, тишину! Улочка у них была тихая, почти непроезжая – выбирали специально. Район был недорогой, но и не самый дешевый – зато тихий, зеленый, очень спокойный. Нет, можно, конечно, было купить квартиру побольше! Но такой тишины и покоя там точно бы не было.

Кира легла на прохладную простыню, а сон не шел – какое там! Десять лет она не была здесь, в Москве. Десять лет. Да и десять лет назад тоже почти не была – так, пробегом. Полдня, кажется, пару часов. Потому что неделю жила в Жуковском – хоронила маму, разбиралась с документами. Да и не хотелось ей ехать в город – совсем не хотелось.

Она долго ворочалась, окончательно сбив жесткую простыню, вставала и поправляла, расправляла ее без конца, но она снова сбивалась, и Кира чувствовала кожей грубую ткань потертого дивана. Привычно заныла спина, и она встала, чтобы размяться. Осторожно, на цыпочках, вышла из комнаты – понадобился туалет. Дорогу туда, конечно же, помнила. Шла босиком, осторожно держась за стену. Темно было – выколи глаз. Туалет нашелся, и, зайдя, она поморщилась – пахло там отвратительно. Никаких домработниц у Зяблика нет. И женщины нет – ни одна бы не потерпела подобного.

Уснула под утро и встала с разбитой головой. Ладно, надо прийти в себя. В конце концов, не валяться же она сюда приехала! Не в постели лежать и не жалеть себя. А зачем она сюда приехала? Вопрос... Нет, ответ, разумеется, был – приехала она по делам. Дела не то что срочные, нет... Но и откладывать их больше нельзя, потому что мучит совесть и скребет на душе. Ну и решила. В конце концов, и так слишком долго откладывала – куда уж дольше? Дела надлежало решить и закончить. Поставив на этом жирную, окончательную и решительную точку. Вот тогда можно было продолжать жить. По крайней мере попытаться.

Зяблик торчал на кухне – пахло пригоревшим кофе. И точно – на плите расплылась кофейная гуща. Впрочем, плите, кажется, это было уже все равно – застывший жир, перемешанный с застарелой грязью, засохшей кофейной гущей и остатками какой-то еды, покрыл ее плотным, непроницаемым слоем. Грязь подгорала и невыносимо пахла какой-то адской смесью. Беда.

Зяблик, нахохлившись, сидел за столом, шумно втягивал в себя кофе и листал газету.

– Привет, – усмехнулась Кира. – А что, газеты еще читают?

– Смотря какие, – смутился он. – Есть и такие, которые вполне себе.

Ну если не правду пишут, то по крайней мере не откровенную ложь.

– Уже хорошо, – вздохнула Кира. – Обнадёживает.

– Завтракать будешь? – любезно осведомился хозяин. И, кажется, тут же об этом пожалел. Потянул жалобно: – Кир, возьми что-нибудь сама, а?

Кира кивнула.

В холодильнике – тоже, кстати, не обошлось без запашка – нашлись твердый сыр, пачка масла и бутылка молока – для завтрака хватит вполне. Кофе, конечно, имелся – Зяблик без кофе? Нонсенс. Села напротив. При свете дня разглядела его окончательно. Да уж... Обычный потасканный пенсионер. Ни красоты, ни лоска. Не очень чистая майка, старые спортивные брюки с вытянутыми коленками.

Что делает время с людьми? Волосы – шикарные волосы, гордость хозяина, зависть женщин – увы, поредели. И поседели, конечно. Где она, золотистая львиная шевелюра красавца Зяблика? Там же, где и он сам – в прошлом, увы.

Серая дряблая кожа, пустой «пеликаний» мешок под подбородком. Тусклые глаза, потерявшие свою ослепительную синеву и яркость. А зубы? Нет, все понятно – никого не минуло. Но – есть же, в конце концов, дантисты? Все как-то выходят из положения. А главное – руки. Кираглянула на его руки и вздрогнула. Длинная и красивая, аристократическая и интеллигентная рука – где она? Ровные ухоженные ногти – где? Кургузая – почему, как? – лапа бедняка с криво и косо постриженными ногтями.

Кира вспомнила их первую с Зябликом встречу и свои ощущения – дрожь в руках и в коленях, запах его одеколона, который преследовал ее несколько дней, как и его тихий, вкрадчивый и очень волнующий голос. Господи, стыдоба! И никому не признаешься, никому. Стыдно даже перед самой собой. Их с Мишкой любовь и... Нет, это было коротко, всего-то на пару дней. Но неловко. И тогда она его невзлюбила, в том числе и за эту свою дурацкую слабость. Сильно, по-глупому, по-дурацки, по-бабски. Какая же дура, господи, он-то в чем виноват?

Кира шумно глотнула кофе, и Зяблик перехватил ее взгляд.

– Вот так, Кирюш! Не вышло, видишь?

– Ты о чем, Леша? – смутившись, осторожно спросила она.

– Да достойной старости не получилась. Жизнь была... Ну более-менее. А вот старость – не получилась. Да и жизнь – если по-честному. – И Зяблик жадно закурил сигарету.

– Брось, – махнула рукой Кира. – Эти мысли, знаешь ли, всех посещают: жизнь не удалась, не сделал того, что мог, что хотел. Мечты не сбылись. А ты – не успел, например. Хотел так – вышло совсем по-другому.

Сам виноват, другие – какая разница? Не получилось, и все. И причины тут не важны, важен итог. Но – смысл? Ты мне скажи – какой в этом смысл? Все равно все закончилось, ничего нельзя изменить. И мы это все понимаем! И будет так, как есть. Не обижайся, прошу тебя! Думаешь, у кого-то не так? Лично у меня – то же самое. Веришь?

Зяблик уныло кивнул.

– Ага, утешаешь... Спасибо.

– Да ну, Леш! Поверь, что нет! Просто все это непродуктивно, бессмысленно и категорически вредно. Надо доживать так, как уж вышло. И не искать виноватых, не мучить себя. Все равно ничего не изменишь. Такая позиция хоть как-то примиряет с жизнью. Ты меня понял?

– Демагогия, Кира. Пустые слова. Как жить и не думать? Не жалеть, не сокрушаться, не искать причины? Не искать виноватых? Не винить себя? Невозможно. Да и не нужно. Всегда надо делать выводы, всегда понимать.

– А для чего? – перебила она его. – Изменить ничего нельзя. Не хватит времени, сил, в конце концов! Да и кому нужны твои выводы и твои ошибки? Даже детям не передашь – все плюют на чужой опыт, как ты понимаешь. А уж нам с тобой, – она накрыла его руку своей ладонью, – ну вообще смешно! И передавать некому – детей у нас нет!

– У меня есть, – тихо ответил Зяблик и, словно извиняясь, тихо добавил: – Так получилось...

Кира охнула.

– Ничего себе! Ну ты даешь, Зяблик!

Хотя у них, у мужиков, все гораздо проще. А уж у Зяблика, бабника и гуляки, тем более. Да при его активной половой жизни у него могло народиться с десятков внебрачных детей!

Но уточнять подробности Кира не решилась – в конце концов, захочет – расскажет. Да и интереса особого не было – подумаешь, тоже мне редкость! Безусловно, Зяблик был женихом завидным – и собой хорош, и богат, и характер вполне: остроумный, заводной, словом, легким человеком был лучший друг ее мужа.

И снова некстати вспомнилось, промелькнуло, как ее взволновал лучший друг мужа при их первой встрече. Да и потом, если честно, бывало... Да ладно, какой же бред иногда лезет в голову! Просто неловко, ей-богу – сто лет прошло с тех времен, целая жизнь. И она уже давно, мягко говоря, немолодая, усталая и не совсем здоровая женщина. А тут воспоминания про половое влечение. Тьфу, ей-богу. Противно и стыдно.

Завтрак закончили, и хозяин поинтересовался ее дальнейшими планами – в смысле, отвезти, подвезти ну и все прочее. Кира вежливо

отказалась:

– Спасибо, но ты живи своей жизнью. А я уж как-нибудь доберусь на метро или такси. Я же в прошлом москвичка, если ты не забыл.

– Ну как знаешь.

Кира ушла к себе в комнату, села на диван и застыла.

Дел, собственно, было не так и много. Самое несложное – съездить на кладбище, к родителям. Убрать могилы, посадить цветы, мама любила настурции и бархатцы и каждую весну выращивала в ящиках на балконе. Дальше найти женщину, договориться, чтобы покрасили ограду. Ну и самое главное – решить с памятником. Памятник на могиле родителей, собственно, был. Так себе, правда. Памятник поставила мама – через год после смерти отца. Был он, конечно, паршивым – серо-сизого грязного цвета, смесь бетона с гранитной крошкой, словом, самый дешевый, для бедноты. «Ну хоть такой!» – словно извиняясь, написала мама, выслав Кире фотографию.

А что Кира могла возразить? Помочь ничем тогда не могла – денег у них не было категорически, еле сводили концы с концами. Пару раз, правда, передала со знакомыми посылочку – пару копеечных кофточек с распродаж, из тех, что валяются при входе в магазин в ящиках – ковыряйся себе на здоровье. Туфли какие-то жалкие, шарфик с шапкой, свитер отцу и ему же три пары носков. Стыдно было, а они радовались как дети: «Кирочка, какая красота! Какие чудесные вещи!» И через пару недель прислали фотографию – оба в обновках, с торжественными и счастливыми лицами.

Как она тогда плакала....

Позже, когда чуть встали на ноги, когда они с Мишкой устроились, стала хоть как-то им помогать – если была оказия, передавала небольшую сумму. Ну и посылки, конечно. Уже что-нибудь поприличнее – даже полушубок маме отправила, хороший такой полушубок, как раз для русской зимы – тонкий и легкий, темно-серого цвета, молодой козлик. Красота. Как мама была счастлива, господи! Правда, целый год все сокрушалась, что дочка потратила «огромные деньги». Какие там огромные деньги? Просто сказочно повезло – зима в Германии была неправдоподобно теплой, и зимние вещи скидывались за бесценок. А мама носила серую шубку до самой смерти. Вот странно: отец почти не вставал и был совсем, как оказалось, плох. Мама от нее все скрывала. Но прожил он в таком состоянии долго и долго, мучительно умирал. А мама, будучи здоровой и крепкой женщиной, скончалась скоропостижно, в один день. Правда, утешало одно – она не болела и не страдала. Это и называется «легкая

смерть».

«Опять грустные мысли лезут в голову. Конечно же, здесь все обостряется. Здесь оставлена целая жизнь. И никуда тебе от этого не деться – как ни старайся и как себе ни приказывай. Просто надо пережить эти семь дней. Пережить, и все, – повторила себе она. – А после ты вернешься в знакомую, такую привычную и даже почти любимую старую жизнь».

Итак, кладбище. Кира оделась и крикнула из коридора хозяину:

– Леша! Я ушла. Когда буду, не знаю. Словом, ты меня не жди и не беспокойся. Если что, позвоню.

Зяблик не ответил – наверное, уснул. Она вспомнила, что он любил поспать утром, приговаривая: «Хорош сон после обеда, но еще слаще после завтрака».

Кира доехала до Казанского вокзала, подивилась чистоте и удобствам: надо же, просто европейский вокзал, честное слово! А был помойка помойкой: бомжи, пьяницы, навязчивые цыганки в многослойных юбках: «Красавица, дай погадаю! Все расскажу – когда и чего. И про мужа твоего расскажу, и про детей!»

Кира, конечно, отмахивалась от пестрой, шумной и навязчивой толпы. Но однажды поддалась: настроение было паршивое, дальше некуда – поссорилась с Мишкой, который в очередной раз не решался поговорить с женой, поругалась с родителями. Была поздняя осень, и она собралась в Жуковский. Тут ее и прихватили цыганки. Тащились за ней по платформе, канючили, гундосили, ныли про голодных детей. Наконец, раздраженная, Кира затормозила и резко развернулась. «Ох, ну и пошлю я тебя сейчас, матушка!» – подумала она, предвкушая. Чувствовала – надо было прокричаться вволю, даже нахамить, и ей полегчает. Резко развернувшись, столкнулась взглядом с цыганкой – она была молодой, несмотря на хриплый прокуренный голос, в уголке рта у нее была зажата тлеющая папироска. На голове, как обычно, цветастый платок с нитками люрекса. Конечно же, длинная и пышная цыганская юбка. Обычная вокзальная аферистка, которых лениво гоняют равнодушные стражи порядка. «Ты их в дверь – они в окно», – как-то услышала слова милиционера.

Возраст ее определить было сложно – то ли двадцать, то ли под тридцать, кто их поймет? Смуглое лицо, морщины у глаз и у рта, пара золотых зубов – все как положено. Но глаза Киру поразили – огромные, синие. Такой бездонной синевы Кира еще не встречала. Она остолбенела. Да и глаза эти невыносимо синие были не наглыми, нет. Скорее просящими, жалобными, жалкими.

– Ну что вам? – смущенно буркнула стушевавшаяся Кира. – Денег я

вам не дам – не просите. Гаданьям не верю. Тоже мне, пророки и предсказатели! – фыркнула она и тихо, неуверенно добавила: – Ищите других клиентов, мадам!

Цыганка, молча и внимательно разглядывала ее.

– Иди с богом! – сказала она. – И ничего мне от тебя не надо. Только запомни – с *твоим* у тебя все получится. Ты обожди, наберись терпения, и все сложится.

Они стояли напротив друг друга и почему-то не могли разойтись. Бодались взглядами – кто кого?

И тут подошла электричка. Кира очнулась, кивнула цыганке и усмехнулась:

– Ага, поняла. Ну что же – спасибо! Прямо надежду вселили! – И сделала шаг к электричке.

Услышала вслед:

– И еще, дева. Уедешь ты отсюда. Навсегда. Дорога у тебя дальняя.

Кира вздрогнула и остановилась. Что еще за бред? Куда уедет, какая дорога? Тем более – дальняя?

– Да ладно вам глупости говорить, – рассмеялась она, – сказки рассказывать! Ладно, прощайте!

Двери поезда со скрипом раскрылись, и Кира шагнула в тамбур.

Но почему-то оглянулась – синеглазая цыганка стояла на том же месте и печально смотрела ей вслед. Увидев обернувшуюся Киру, помахала ей как старой и доброй знакомой. И Кира, неожиданно для себя, тоже махнула в ответ.

В электричке села у окна, прислонилась горячим лбом к холодному и влажному стеклу, прикрыла глаза: «Какой же все это бред, господи! Уеду в другую страну! Большею чуши не слышала!» Но сладко заныло сердце, когда вспомнила другие слова: «С *твоим* у тебя все получится. Ты обожди, наберись терпения, и все сложится – будет твой. Только обожди, наберись терпения!»

Кстати! Вспомнила она о синеглазой цыганке только в самолете, уносившем их с Мишкой в другую страну *навсегда*. Вспомнила и обомлела: «Ну надо же! Вот как бывает».

* * *

Билет на электричку купила в автомате – тоже привычно и удобно, как в Европе. В поезде смотрела в окно – станции, конечно же, были все те же:

«Удельная», «Красково», «Томилино», «Ильинское». Вспоминала, с каким нерадостным настроением всегда ехала туда, к родителям. И как потом за это терзала себя.

На платформе «Отдых», в родном городке Жуковском, не было бабулек, торгующих всякой всячиной, как в старые и не очень добрые для нее времена. Семечки в граненых стаканчиках, по весне – сухие грибы, старая, слегка проросшая и оттого дешевая картошка, расфасованная в потертые, ветхие целлофановые пакеты, лук-севок в пол-литровых банках, репка или свекла из подпола – все, что осталось с зимы. Была еще бабулька с жареными пирожками – кривыми, мятыми, огромными, с тем, что подешевле: кислой капустой и рисом. Кира обожала эти еле теплые пирожки – бабулька держала их в алюминиевой кастрюле, укутанной ватником и старым пальто. От пальто пахло нафталином, от ватника – сыростью и землей. Кажется, запахи проникали внутрь кастрюли, где лежали помятые пирожки. Но Киру это не смущало – покупала всегда два, с рисом и капустой. Медленно шла через пролесок от станции в город и с удовольствием и жадностью жевала этот шедевр кулинарного искусства. И Мишку подсадила на эту «прелесть» – его слова. Только куснул и закатил глаза от удовольствия: «Прелесть какая, а?»

Когда это было!

Бабулька с пирожками сидела всегда – все четыре времени года. А вот ассортимент других торговек менялся в зависимости от тех же времен года. Самое сладкое время – лето и осень: смородина красная, черная, белая, крыжовник всех видов – большущий зеленый, изумрудный, почти прозрачный. Или мелкий, красно-бурый, утыканный мягкими иголочками. И янтарный, желтый, совсем не кислый и с очень тонкой и нежной кожицей – надкусишь, и во рту расплывается мягкая, сладкая, зернистая кашица. Кира обожала крыжовник. Но нигде больше его не видела – только здесь, в России. Малина в августе, яблоки, мелкие подмосковные грушки, похожие на маленькие учебные гранаты, терпкие и почти безвкусные. А вот яблоки были чудесными – коричневые, белый налив, мельба, грушовка.

Где сейчас эти яблоки? Нет, конечно же, есть! Здесь – наверняка! А там, дома... Там, дома, были только ненастоящие, восковые, красивые, ровные, гладкие, как муляжи.

Алкаши торговали свежешелупленной мелкой рыбешкой – карасиками, плотвичкой. Кучка – рубль. Рыбки слабо трепыхались на подмокшей газете.

Как она любила бродить по платформе и покупать снедь у милых бабулек! Стакан ягод, стакан семечек. Малосольные огурчики. «Мне два, пожалуйста! – И подумав секунду, сглотнув слюну: – Ну ладно, три».

Или мороженое – мороженщица в белом халате и белой косынке, с тележкой, стояла возле самых ступенек. Сливочное в вафлях, шоколадное, крем-брюле. Вафельный стаканчик с желтой или розовой розочкой. Твердая эта розочка, которая и была вкуснее всего, как потом выяснилось, делалась из крашеного маргарина.

Кира вышла на станции и огляделась – новые дома теснились друг к дружке, словно каждый мечтал выжить соседа или в крайнем случае – подвинуть и подпихнуть. У станции взяла такси. Машина везла ее по незнакомому городу – почти ничего не узнать. Хотя центр сохранился – спасибо и на этом. «Ну и ладно, какое мне дело, – подумала она. – Уберу у своих, договорюсь с кладбищенской теткой, зайду в гранитную мастерскую и уеду. Главное – договориться в мастерской, чтобы выслали на почту фотографию готового памятника после установки и я могла переправить деньги онлайн. Надеюсь, они согласятся. Полно же таких, как я, живущих не здесь, а за границей. Выходят же люди из положения. Ну, в конце концов, задействую Зяблика. Думаю, он не откажет. Или на крайний случай Катю. Хотя это вряд ли, да и смертельно не хочется к ней обращаться».

Но встреча с Катей была впереди, и это было неизбежно, увы – Мишкин наказ. «Только отложим это на предпоследний день», – успокаивала себя Кира.

На кладбище уладилось все довольно легко и быстро. Кира опять подивилась: да, быстро бывшие соотечественники поняли и приняли капитализм. Вспомнились прежние времена, когда все давалось с трудом и с кровью.

Цивилизованно, четко и грамотно – и никаких мутных деляг и забулдыг. Вполне симпатичный и модно одетый парень толково все объяснил, быстро составил бумаги и попросил небольшой аванс. Что ж, нормально. Сказал, что заодно после установки еще и покрасят ограду. В порядке бонуса, так сказать.

Камень для памятника выбрала, предложенный шрифт одобрила. Аванс отдала и договорилась о переводе денег после установки.

Снова вернулась к могиле. Прежний памятник, тот, что оставила мама, осыпался с углов, покрошился, прилично накренился и выглядел еще более жалко. Ну да бог с ним – скоро все будет нормально! На душе полегчало, ей-богу. Кира положила цветы, провела ладонью по шершавой поверхности камня и попрощалась. Наверное, теперь – навсегда.

Еще один приезд сюда она не планировала. Надо покончить с делами и вернуться в свою жизнь. А ее жизнь там, во Франкфурте. Уже давно, почти двадцать лет. Срок, что уж там говорить.

Никаких дурацких мыслей по поводу «заглянуть в школу» или «посмотреть на наш старый дом» даже не возникло. И слава богу! Что там смотреть? Школу? Она ее не любила. Старый дом? Квартира давно продана, через год после маминой смерти. Да и любила ли она ее, считала ли своим домом? Навряд ли. Слишком рано ушла из него. И слишком много не самых светлых воспоминаний.

И скорее отсюда, скорее! Ничего теперь ее тут не держит.

Приехав в Москву, решила прогуляться по городу – в конце концов, столько про него пишут и хорошего, и плохого, и даже ужасного, кстати! Вот и посмотрим. Да, между прочим, надо поесть и обязательно выпить хорошего кофе. Теперь это уже наверняка не проблема – кафе и рестораны мелькали и зазывали на каждом шагу.

Кира пошла по Тверской вверх, к Пушкинской. Магазины со знакомыми названиями – такие же, как и везде, по всему миру. Сверкающие витрины, модные тряпки и обувь. «Все как везде», – с удивлением повторяла она про себя. Ничего не соврали. Села в кафе, заказала салат, сэндвич с ветчиной, большой эспрессо. Быстро и вкусно. Что же, молодцы.

У Пушкина посидела на лавочке, передохнула.

Возвращаться к Зяблику почему-то не хотелось, но куда деваться? Пришлось. В конце концов, встретил, принял – все законы гостеприимства соблюдены. А то, что ей давно совершенно не хочется ни с кем общаться и разговаривать, – так это ее проблемы. Прошлась еще по Тверской, и домой – устала. Ноги гудели – не девочка, возраст.

В комнате Зяблика горел приглушенный свет – Кира вспомнила, что он не любил яркое освещение, говорил, что страдает странной болезнью – куриной слепотой. Глаза болели даже от снега. Кира не верила, считая, что это очередной выпендрей. Конечно же! Лишний повод объявить о себе как о человеке необычном, редком, отличающемся от других – вот, даже болезни у меня редкие, эксклюзивные, так сказать.

Верхний свет почти не включался – об этом все знали. Зато повсюду были натканы различные светильники в виде торшеров, настольных ламп и настенных бра. Помнится, в спальне хозяина, у самой кровати, прижился даже настоящий старинный канделябр, кажется, с восемью свечами.

Кира разделась и пошла к себе – зачем его беспокоить и лишний раз напоминать, что она здесь. Да и ей категорически не хотелось, чтобы Зяблик ее развлекал. А уж ей развлекать его было бы просто невыносимо. Юркнула мышкой и притаилась. Даже свет не включила – прилегла на диван и в блаженстве вытянула гудящие ноги.

Но минут через десять в ее дверь осторожно постучали.

– Войдите! – с разочарованием выкрикнула Кира.

На пороге стоял Зяблик и улыбался:

– А мы уже на «вы», Кирюша?

Она села на диване, пригладила волосы, оправила свитер и стала оправдываться: мол, задремала, прости, спросонья и ляпнула.

Зяблик задумчиво разглядывал ее. Наконец произнес:

– Совсем не хочешь со мной разговаривать? Нет, я все понимаю – ты всегда была молчуньей, в общие беседы почти не вступала, я это помню. Толпу не любила, компаний, шумных сборищ не признавала. Помню, помню, – повторил он. – А уж теперь... Но мы же друзья, Кир? Или ты так не думаешь? Обещаю и даже клянусь, – Зяблик шутливо и галантно поклонился, – не доставать, в душу не лезть, воспоминаниями не мучить. – Он помолчал и жалобно, просяще добавил: – Пойдем чаю выпьем! Ты же все-таки у меня в гостях. Я и тортик купил, Кир! Ну? Пойдем?

Кире стало неловко. И правда, что она прячется, как крот в норе. Привыкла прятаться от людей. Даже неприлично. Да, страшно неохота делиться проблемами. Еще больше неохота вспоминать то, что было. Не просто неохота – невыносимо больно. А о чем могут еще говорить не очень, скажем так, молодые люди? О здоровье, конечно. Точнее – о подступивших болезнях. Ну так об этом вообще говорить неприлично, тем паче с мужчиной. Кира уверенно считала – попробуй поспорь! – что люди должны говорить о своих болезнях только с врачом. И никогда с близкими.

Вот и получалось – о прошлом нельзя. О проблемах – не стоит. А о болезнях – ни-ни! О будущем? Так его тоже нет! Об одиночестве? Точно не надо – и здесь слишком больно. А! Об общих знакомых! Так Кира почти никого из них не помнит. Значит, о Мишке. А вот здесь не просто табу, здесь череп с перекрещенными костями: влезешь – убьет.

«Что ж, поговорим о погоде», – решила Кира и стала извиняться перед Зябликом: дескать, не хотела тебя беспокоить. Вдруг тебе неохота трепаться? Знаю, как это бывает. Ой, извини ради бога! А чай – это здорово! Тем более с тортиком! И потрепаться, конечно, охота, – здесь душой покривила, но что поделать.

Тортик и вправду был как из детства – фруктовое полено, кажется?

– Ой, угодил! – благодарила Кира.

Зяблик смеялся:

– Старался! Ну не из итальянской кондитерской же тебя кормить – этим тебя точно не удивить!

Пили чай и болтали о всякой чепухе, ни о чем. Захочешь – не

вспомнишь. К опасным темам не подбирались, и Кира была ему благодарна за это.

Отчиталась по кладбищенским делам – Зяблик кивал и соглашался:

– Да, сервис теперь здесь на уровне. Не поспоришь. Правда, и обмана до черта! Сидит это в людях – как объегорить собрата, плутоват наш народ, что уж тут. Да и законы, сама понимаешь. Здесь всегда было «как дышло». И не изменилось. – Зяблик грустно добавил: – Все на грани выживания. И я в том числе.

«Да уж, – подумала Кира, – и это заметно. Этот сор-тир с невыносимой вонью. Грязь на кухне – вековая, как говорила мама. Присохший жир и копоть, чашки с чайными разводами. Заплесневелый хлеб в холодильнике. И это у Зяблика, привыкшего к роскоши и идеальному порядку! Ну и холодильник... На деликатесы денег у него нет. Ладно я – с детства привыкла к экономии и даже лишениям. Мне проще».

Вопросов, конечно, Кира не задавала. В общем, светская беседа закончилась, и разошлись по своим углам.

Кира снова лежала без сна и вспоминала. Никуда от этого не деться – как ни убеждай себя, а отключить голову невозможно. Невозможно приказать сердцу. И вообще – что останется в нашей жизни, если убрать воспоминания? Вот именно – пустота. Черная бездонная дыра. Человек без прошлого – это животное.

* * *

Все оказалось не так, как обещал ей муж, пытаясь ее обнадежить. Он лгал все время, пока они собирались уехать – до самого отъезда. Молчал он и в самолете. И по дороге из аэропорта. И первые два дня в «отстойнике», как называли они свою гостиницу – кому как больше нравится. Вполне приличную, кстати! Маленький отель-чик гостеприимно принимал эмигрантов. В одном из номеров была оборудована кухонька, где женщины умудрялись готовить, иначе было не выжить. Так вот, Кира замечала, что он как-то подавлен – кстати, в отличие от нее! У нее-то как раз настроение вдруг поднялось – сама удивлялась. Ей казалось, что самое страшное и неприятное позади – принятие тяжелейшего, почти невозможного, решения, невыносимый разговор с родителями, попытки найти деньги на отъезд и алименты. Сборы, наконец. Проводы. Ну и сам отъезд. Она наивно считала, что теперь все будет зависеть только от них – от их таланта, работоспособности, силы духа и поддержки друг друга. А уж в этом она ни

минуты не сомневалась – они преодолели такое! Да и вся их прежняя жизнь была сплошным преодолением.

А Мишкино состояние духа? Вполне объяснимо – конечно, страх, а что же еще? Он мужчина, и ему отвечать. Растерялся, оробел. Все-таки новая жизнь. Но язык у Мишки был неплохой – немецкий учил он и в школе, и в институте. Плюс почти год занятий в группе отъезжантов. У Киры с языком было хуже – правда, она и не рассчитывала на работу в серьезном учреждении – понимала, по специальности ей не устроиться, по крайней мере вначале.

Конечно, вся надежда была на мужа, на Семена с его обещаниями.

Она тормозила Мишку, шутила, уговаривала. Удивлялась: «А почему Сеня не едет? Он же обещал нас сразу забрать? А почему ты с ним не созваниваешься? Почему, почему?»

Наконец он признался. Все выдумал, никаких обещаний со стороны Семена не было.

– Зачем? Да чтобы тебя сдвинуть с места, иначе тебя было не уговорить. Да, врал. Безбожно врал все эти полтора года. А что тут непонятного? Тебе ж было легче жить с надеждой. Разве нет? А я устроюсь, Кирюш! Не беспокойся! Конечно, устроюсь! Моя тема, ты же знаешь! Ты не веришь в меня? – последнее он говорил с отчаянием и болью.

Но Кира молчала. Сидела на узкой казенной койке и молчала. Ей было жалко не мужа – себя. Она была не просто озадачена или ошеломлена – она была совершенно раздавлена. Она и представить себе такое не могла: наивный простак Мишка – и навертел такую заковыристую и ловкую ложь? Как это непохоже на него! А как он врал! Как профессиональный аферист. Значит, надо будет – совет еще? Да похлеще? Хотя куда уж похлеще!

Она, наивная дура, считала, что никаких секретов у них друг от друга не было и быть не могло. При их-то степени доверия и откровенности. При их взаимопонимании и честности. Тем более в серьезных вопросах. А вышло?

– Как ты мог? – только и сказала она. Голос сел, и из горла вырывался лишь сип.

В ответ Мишка закричал, что ему тоже было несвойственно. Нет, понятно, он чувствовал себя виноватым, а лучшая защита, как известно, – нападение. Но принять эту ложь и его жалкие оправдания Кира не могла.

– Значит, ты сомневался во мне? – повторяла она. – Получается, если бы ты не соврал и я была бы уверена, что договоренностей никаких нет, то струхнула бы? Испугалась и отказалась? Получается, я не верила в тебя? И

винила только тебя в твоих неудачах? Тебя, а не обстоятельства, известные мне не хуже, чем самому тебе?

Мишка сник – доводы кончились, порох, видимо, тоже. Сел рядом и уронил голову в ладони.

– Прости, – бормотал он. – Прости ради бога! Мне казалось, что тебе так будет проще от всего отказаться. От всего, что у тебя было там.

– А что у меня было, Мишка? – прошептала она. – Что, кроме родителей?

Конечно, простила. Когда прошел первый и самый тяжелый шок. Кажется, дня через два окончательно пришла в себя и стала его утешать, как обычно, – женщина!

Через три дня приехала Надя, жена Семена. Вот тогда Кира и узнала самую окончательную и горькую правду. Поначалу все складывалось у них замечательно – Семен действительно получил работу в научном институте. Действительно хорошо зарабатывал. Действительно занимался знакомой темой. И действительно впереди – и совсем не за высокими горами – маячили приличные перспективы. Все так и было. И в письмах Семен не врал. Но случилось несчастье – инсульт. Конечно, переживаний хватало – и дома, в Москве, и здесь, в Германии. Эмиграция – дело серьезное. Нервничал страшно – как бы не облажаться на новой работе. Да и языка не хватало. К тому же поторопились и взяли в банке ссуду для покупки квартиры, наивно полагая, что уже все сложилось. Работа у него есть, работа перспективная, прилично оплачиваемая. Да и Надя работала, хотя и в полноги – преподавала музыку частным образом, скорее для удовольствия, чем из нужды. Сын оканчивал школу – хороший мальчик, за него они были спокойны.

И тут болезнь. Нет, никто Семена не увольнял – здесь такое невозможно. Пока платили зарплату и работала государственная страховка. Пока была еще надежда, что он восстановится, окрепнет и сможет работать. Но через полгода случился повторный удар, и стало понятно, что он уже не поднимется. Почти отнялась правая сторона – рука и нога. Почти была утеряна речь. Страховка теперь была муниципальной, по сути, для нищих и бомжей. Кредит за квартиру надо было выплачивать или переезжать в жилье для инвалидов – на улицу тебя никто не выкинет, люди защищены, но уровень медицины, жилья и всего остального при этом кардинально меняется.

Конечно, квартиру отдали банку и переехали в дом для пожилых и больных людей – одним словом, для неимущих. Ничего, кстати, плохого и страшного – обычная двушка, в таких счастливо живут миллионы

советских людей. Но рухнули все планы, все мечты. Семен стал инвалидом. За учебу сына платить было нечем. И Надя стала единственным кормильцем в семье.

Она сидела в их казенной комнатке и монотонно рассказывала о своей невеселой жизни. Было видно, что она все давно приняла – все время повторяя: «Вот такая, ребята, судьба». Кира видела, как она постарела – да и понятно, что говорить. Тяжелобольной муж, неустроенный ребенок и постоянная пахота. Теперь она не преподавала музыку для удовольствия – теперь она работала тяжело и нудно в доме для престарелых, сиделкой и нянечкой. Вскоре туда определили и Семена – ухаживать за ним ей стало сложно. Надя считала, что им здорово повезло – и работа, и муж под присмотром. «Такая удача», – твердила она.

Конечно же, это и правда была большая удача – по крайней мере теперь, вернувшись с тяжелой смены, она отсыпалась.

Семен умер через четыре года. Горевала она ужасно.

* * *

Итак, все прояснилось. И надо было жить дальше. Поначалу не жить – выживать. Первый год или даже два было сложно, почти невыносимо, – правда, государство помогало как могло, и за это спасибо. Платили социальное пособие, оплачивали страховку, давали даже деньги на сезонную одежду, было и такое. Жили они по-прежнему в отеле. Встали в очередь на социальную квартиру. Конечно, на съемную, но по другой, меньшей, чем обычно, цене. Мишка подал анкеты во все профильные институты и научные лаборатории, но ответов не приходило. Он снова сник, потерял веру в себя – теперь, кажется, окончательно и бесповоротно. Твердил, что зря затеял «эту историю», вовлек туда ее, вынудил оставить родных и привычную жизнь.

Кира, если честно, устала его утешать и «приводить в порядок». К тому же уставала она и физически – теперь она работала. Надя устроила ее к своей приятельнице, эмигрантке из Саратова, некой Лиле. У той было агентство по уборке квартир.

Конечно, у Лили работали только наши, эмигранты. И это ей было очень выгодно – вновь прибывшие, не успевшие освоиться, плохо знающие или почти не знающие языка, дерганные и перепуганные до полусмерти, были счастливы и этой каторгой, искренне считая ее синекурой. А бесстыжая Лили этим прекрасно и с удовольствием пользовалась. Платила

она копейки, охрану труда не соблюдала, обращалась с нанятыми похамски. Но Киру записала в любимчики – во-первых, подруга Нади, а во-вторых, понимала, где Кира, москвичка с высшим образованием, и где все остальные.

Кира прекрасно отдавала себе отчет в том, что происходит у этой Лили, что она вытворяет и вообще что собой представляет.

Лиля, надо сказать, людей чуяла остро – нюх у нее, как у опытной деляги и аферистки, был острый, собачий, отменный. И была у нее, хабалки и хамки, одна маленькая слабость – Лиля страстно хотела дружить с интеллигенцией. Вот поэтому она и подружилась с Надей, и по этой же причине стала подкатывать к Кире.

Подкатывала осторожно: сначала пригласила в выходной съездить на озеро – конечно же, семьями. Это было ужасно. Лилин муж был младше ее лет на десять. Пустой и туповатый парень, впрочем, кажется, вполне беззлобный. Было видно, что Лиля его страшно ревнует.

День выдался теплый, но без конца начинался мелкий занудный дождик. Время шло к обеду, и Кира начала нервничать: денег – копейки, и те заработанные потом и кровью. Им и в голову бы тогда не пришло зайти в кафе – пусть даже на чашку кофе. Это казалось просто безумием. Один раз позволили себе на улице мороженое и мучились пару дней. Нет, конечно же, эти копейки ничего не решали – смешно. Но это была болезнь – эмигрантская болезнь первых лет: никаких кафе, киношек, мороженого.

С содроганием она вспоминала, как первые лет пять подолгу стояла в супермаркетах, в самых дешевых, для бедноты, в «Алде» или «Лидле», и разглядывала ценники в поисках акций и распродаж.

Как она радовалась, когда удавалось отхватить – какое знакомое слово! – что-то по выгодной цене! Почему-то чаще всего скидки в продуктовых распространялись на курицу. Ее и ели. Мишка шутил, что он скоро закукарекает.

После, когда все более-менее наладилось и они смогли себе что-то позволить, курятину они не готовили еще долго, года три точно.

Еще вспоминалось – о господи! – как она приходила к закрытию фермерских рынков, часам к пяти торговцы начинали продавать все почти даром. Кира, пытаясь скрыть нервную и радостную улыбку, начинала хватать яблоки, сливы, картошку, огурцы, помидоры и прочие радости. Сумки набирала неподъемные, но домой почти бежала, счастливая.

На озере действительно было красиво – какая природа! Сто лет они не были за городом, сто лет просто так, бесцельно, не гуляли. Но вдруг дождь зарядил серьезно – мол, хватит предупреждать и попугивать! Делать было

нечего – только прятаться. И ушлая Лиля углядела кафешку метрах в тридцати от набережной. Побежала к ней, махнув им, зазевавшимся, рукой – догоняйте!

А куда было деваться? Приехали на Лилиной машине, как выбираться оттуда, не знали. Да и ходит ли общественный транспорт? Переглянулись с Мишкой и пошли.

Уже потом, спустя много лет, Кира поняла, что кафешка та была затрапезной – несколько пластиковых столиков, прилавков с банальными кексами и брецелями, чипсы, орешки и кофе – слава богу, из кофемашины. Чай, вода, мороженое из морозильного ящика при входе. В общем, ассортимент бензоколонки. Но им эта забегаловка тогда показалась роскошным рестораном с мишленовскими звездами.

Сняли мокрые ветровки и смущенно уселись за столик. Лиля, надо сказать, дурой уж точно не была – растерянность их просекла моментально. И угостила – берите все, что хотите! Надо сказать, ничем особым она не рисковала – разгуляться не позволял ассортимент. Но «разгулялись» – кофе, кексы, мороженое.

Кира видела Мишкин унылый взгляд. «Еще одно унижение, – прочитала в его глазах». Незаметно взяла его за руку, дескать, ерунда, не бери в голову!

Конечно, больше общаться вне работы совсем не хотелось – пару раз Лиля приглашала их в гости, но Мишка решительно отказывался. Да и Кире это было не нужно. Первый год Кира была «на общих основаниях» – убирала квартиры. А через год Лиля предложила ей должность заместителя – ничего себе, а?

– Карьера! – грустно вздыхал муж.

– Да, карьера – соглашалась Кира. – И для начала вполне неплохая.

В деньгах, конечно, прибавилось. Физически стало легче. А вот морально... Лиля злилась, когда Кира защищала и жалела несчастных теток и всячески пыталась облегчить их нелегкую участь – разумно распределяла участки работы, пыталась заплатить положенные деньги. Короче – по словам хозяйки, – разводила либерализм и демократию. Лиля кричала, что они прогорят с ее благородством. Объясняла, как нужно. Кира упрямо не соглашалась. Лиля злилась, и через два года они расстались. Кира совсем не расстроилась – столько мук и страданий приносили Лилины выверты и обман.

К тому же Мишка уже тогда устроился на работу – с голоду они бы точно не умерли. «Все, что ни делается, к лучшему», – разумно рассудили они. Так, собственно, все и было – через три месяца и Кира устроилась на

работу. Прекрасную, надо сказать, работу. Правда, снова не по специальности. Но все равно – счастье! Работа была в архитектурном бюро, секретарем.

Спустя лет десять она случайно встретила Лилю на улице – была середина декабря, город готовился к Рождеству, сиял и сверкал, утопал в елках и рождественских базарах, лица у людей были озабоченными и радостными. Приближались рождественские каникулы.

Киру окликнули, она обернулась. Напротив стояла высокая и очень худая женщина, совсем незнакомая.

– Не узнаешь? – усмехнулась она. – Так изменилась?

Лиля. Господи, Лиля! Но где та Лиля – полная, розовощекая, с хитрыми и безбашенными глазами? С безбожно вытравленными по российской моде волосами, выглядящими на улицах Франкфурта нелепо, по меньшей мере нелепо. Где яркий макияж, крупные серьги в ушах?

Той Лили не было – перед Кирой стояла старая, измученная, потухшая и несчастная женщина. «Болеет? Скорее всего», – мелькнуло у Киры.

Зашли в кафе, заказали кофе, пирожные. Кира видела, с каким удовольствием Лиля ест. Неужели все так ужасно?

Ела она неаккуратно, роняла крошки, облизывала пальцы. Кира заметила, как дрожат у нее руки.

При свете светильников стало окончательно ясно, что Лиля больна.

Все так и было. Лиля говорила торопливо, как ела: молодой муж бросил три года назад. Она всегда понимала – рано или поздно это случится. Конечно, нашел помоложе. Это не редкость – закономерность.

Переживала Лиля это чудовищно, очень его любила. Вспоминала, как вывезла его из Саратова, практически спасла. Занимался он там чем-то не совсем чистым – кажется, валютой, и ему запросто могли впать срок. И здесь, в Германии, она пахала как лошадь, тянула все на себе. Возила его отдыхать, баловала – тряпки, машины. Надорвалась. Старела, конечно. И ревновала. Ребенка так и не родила – он не разрешал. Сволочь.

Ну и вот. Итог печальный, но предсказуемый.

Ну а потом заболела.

– Догадываешься чем? – спросила Лиля, уставившись на нее.

Кира нерешительно кивнула:

– Наверное.

Бизнес пришлось закрыть – контролировать его Лиля уже не могла. Живет на пособие – большую квартиру продала, купила маленькую. Да и зачем ей большая?

Лиля вопросов не задавала, лишь коротко бросила – кажется, в голосе

ее промелькнула зависть:

– Вижу, что у тебя все хорошо!

Кира смущенно развела руками.

Через полчаса попрощались. Лиля усмехнулась:

– Думаю, телефон мой записывать ты не станешь – это понятно. Зачем я тебе? Ну, все. Прощай, дорогая. – И, не дождавшись ответа, развернулась и быстро пошла прочь.

Кира смотрела ей вслед – вот как бывает. Но как жалко было эту дуреху!

* * *

Кире нравилась пословица – когда судьба закрывает дверь, она всегда приоткрывает окно.

Так всегда и было – когда она ушла от Лили, в том числе. Мишку взяли на работу. Какая это была радость, господи! Он вернется в науку. Хватит ему заниматься ерундой, с его-то способностями! А как был рад он сам! В тот вечер, когда ему подтвердили приглашение на собеседование, она купила бутылку белого, маленький торт и еще кое-какие вкусности – те, что в обычные дни они бы себе ни за что не позволили: баночку гусиного паштета, упаковку швейцарского сыра и триста граммов настоящего итальянского прошутто.

– Гуляем! – объявила она.

Было что праздновать, было.

Мишка, конечно, волновался – как примут будущие коллеги? Достаточно ли его знаний языка? Хотя уже понятно, что нет. Волновался, что нет хорошего костюма, приличных ботинок.

А сложилось все замечательно – собеседование он успешно прошел, коллеги приняли его доброжелательно: ободряли и похлопывали по плечу и тут же пригласили на кофе. Костюм не понадобился – дресс-кода в институте не было, все одевались вольно, кто как хотел. Мишка с радостью влез в любимые джинсы и свитера.

Вот тогда, пожалуй, впервые Кира увидела счастливого мужа. Через год удалось поменять и квартиру – сняли побольше, правда, в Эфенбахе, но близко от Франкфурта, там было дешевле. Две нормальные комнаты, хорошая кухня. Теперь они жили в хорошем районе – не богатом, но соседями их оказался средний класс, служащие различных бюро, мелкие клерки. И вид из окна был прекрасный – на парк и озеро.

Теперь Кирино сердце не екало при виде скидок на куриные грудки, осточертевшие до невозможности. Теперь они покупали и мясо, и хороший кофе, и швейцарский шоколад, и итальянские пирожные. Теперь она заходила в магазины не с целью «поглазеть», а вполне себе присмотреться.

Нет, осмотрительность, осторожность и даже страх, конечно, остались – это, кажется, уже навсегда. Но и уверенности прибавилось, и спокойствия. И исчезли напряженность, тревоги и страхи, терзавшие их почти всю совместную жизнь. Наверное, именно тогда они почувствовали себя счастливыми – все удалось, все получилось.

И Кира была довольна работой. А вскоре появилась и машина. Водила, конечно, Кира – Мишка был не из тех, кто водит машину. «Олух, лопушок, дуралей, простофиля», – с нежностью и любовью повторяла она. И он соглашался – все чистая правда. И даже был рад – что поделать, он был из тех мужчин, кто легко и радостно уступает своей женщине – хочешь рулить? Рули ради бога! Распределять семейный бюджет? Пожалуйста! А я займусь тем, что мне интересно.

Здесь, в эмиграции, их роли окончательно распределились, и Киру это ни на минуту не угнетало, как и его.

Муж-ученый. Она прекрасно знала, с кем связывает свою жизнь. Муж далек от хозяйственных дел? Да и слава богу! Тут же ей вспоминалась закваска капусты и невыносимый стук кухонного ножа по деревянной доске, когда родители делали заготовки.

Нет, ей точно такого не надо – здесь она сама разберется. Муж, заглядывающий в кастрюли, ей совершенно не подходил – насмотрелась, спасибо. Мишку мало интересуют деньги? Тоже слава богу – муж ей полностью доверяет, она хозяйка положения. Покупкам ее только радуется. Ни разу не попрекнул – золото, а не муж. Многие позавидуют.

Отношения с мужем были по-прежнему близкими. Задушевными, как говорила одна из новых, уже «немецких», Кириных приятельниц.

Вот только после того московского тайного аборта больше она не беременела. Конечно, страдала. Но – молча. Видела, что мужа этот вопрос совсем не беспокоит – у него была Катя.

Кира подумывала обратиться к врачам. Но почему-то боялась. Она всегда, кстати, боялась врачей. Но однажды на приеме у семейного доктора, милейшей русской Женечки из Киева, все-таки решилась спросить, можно ли что-то сделать.

Та сказала, что путь это долгий и трудный. Для многих – невыносимый. Риски? Большие. А в Кирином возрасте просто огромные! Но можно попробовать, можно. Положительных результатов – море, океан!

«Знаешь, сколько я видела счастливейших женщин?» – добавила Женя.

Кира сидела, вытянувшись в струну, ловя каждое слово, интонацию. Пыталась уловить движение Жениных бровей, уголков рта. И ощущала, что уже сейчас готова бежать туда, где дадут надежду и, скорее всего, помогут.

Женя внимательно посмотрела на Киру и осторожно сказала:

– Только, Кир... Я вот о чем...

Кира испуганно смотрела на растерянную и смущенную Женю.

– Я вот что хотела сказать. Кир! – Она подняла глаза. – Послушай! Ты должна... Нет, ты обязана все хорошенько продумать! До точки, до черточки! Сначала и до конца! Все предусмотреть, все просчитать – все риски, все осложнения. «От» и «до», понимаешь?

Кира не понимала. Смотрела на нее во все глаза и не понимала. Громко сглотнув, наконец спросила:

– О чем ты, Жень? Честное слово, не понимаю!.. Ты же сказала, что все может быть хорошо!

Женя ее перебила:

– Послушай! Вот именно – может быть! А может и не быть, понимаешь? Я же тебе объяснила – риски большие. Суть вот в чем, Кира: на это стоит пойти только в том случае, если без этого невозможно, ты понимаешь? Просто нельзя – и все, точка! Причем вам обоим – и тебе, и мужу! Если совсем бессмысленна жизнь. А иначе, Кира, не надо. Очень опасно, ты меня слышишь?

Кира вздрогнула, как от громкого звука, как от удара, пощечины.

– Все поняла.

Больше к этой теме они не вернулись ни разу. И старалась об этом не думать – очень болезненно, очень. Понимала – Женя права, все так – и поздновато, и страшновато. И, наверное, ни к чему – как говорится, проехали. Если вдуматься, им и так с Мишкой неплохо.

Но жизнь, как известно, дает возможность сделать только короткий выдох, а потом снова бьет по башке. Так и случилось – через год их счастливой новой жизни умер Кирина отец. Приехать на похороны она не смогла по многим обстоятельствам – во-первых, заболела, и крепко – проигнорировав, как всегда, простуду, получила осложнение, сильнейшее воспаление легких – три дня пролежала в госпитале. Да ладно болезнь – все равно бы сорвалась, как-то бы долетела. Но была и вторая причина – документы и виза. Узнала, что визу специально задерживали, и здесь не помогала даже телеграмма, заверенная главврачом жуковской поликлиники, – въехать в страну она бы все равно не успела. Надо было ехать в любом случае – не на похороны, так к маме: поддержать и просто

побыть рядом. Но сил, если честно, совсем не было. Валялась, как тряпка: бессильная, мокрая от пота, будто пойманная в мышеловку мышь. Решила не ехать. Потом, спустя время, корила себя страшно – надо было, надо. А, как всегда, пожалела себя.

Конечно, говорила с мамой по телефону по два раза на дню. Мама в сотый раз пересказывала подробности похорон и поминок – кто пришел, какие принес цветы и что было на поминальном столе. Кира удивлялась, раздражалась, но терпела, чувствуя свою вину.

Пыталась передать деньги, мама отказывалась категорически:

– Что ты, Кирочка! У нас все есть. Не надо, деточка! Купи лучше что-то себе!

Киру поразило, что мама по-прежнему говорит «у нас», словно отец, о похоронах которого она только что рассказывала, жив. Она понимала, что деньги у мамы действительно есть, наверняка она копила все эти годы. Но совесть по-прежнему мучила – не простилась с отцом, не простилась...

Тогда же начались и сложности с Катей, Мишкиной дочерью. Вроде бы обычные подростковые проблемы, и все вроде это понимали, но все равно Мишка страшно нервничал и почти перестал спать по ночам. Бывшая, Нина, на звонках не экономила – звонила раз в три дня. Рассказывала всякие страсти про наркоманию, выпивоны, ранний и опасный секс и ненадежных друзей дочери. Звонила, что характерно, на ночь глядя – говорила, что так дешевле.

Мишка рвался:

– Может, поехать?

– И чем ты поможешь, – пыталась охладить его пыл Кира. – Что ты сможешь сделать? Разве что поговорить?

Он успокаивался и соглашался, но ненадолго. Нина звонить продолжала. Наконец Кира не выдержала, позвонила ей и, стараясь быть вежливой, попросила ее не звонить с такой регулярностью. «Зачем трепать ему нервы, если он не может помочь, кроме как деньгами?»

Нина молча ее выслушала, а перед тем, как положить трубку, сухо сказала:

– Я тебя поняла. А вот ты меня – нет. Впрочем, чему удивляться? Тебе не понять, что такое ребенок! И вообще, ты не считаешь, что это дело родителей?

Ужалила больно. Кира положила трубку и разревелась – больнее ударить нельзя. Но и она хороша – зачем влезла? Нина права – это дело родителей. А кто она? Жена Катиного отца, все. Какое она имеет право давать советы и вообще вмешиваться? Ну и, конечно, не подумала о том,

что Нина тут же, незамедлительно, об их разговоре доложит Мишке. Тот страшно разозлился. Поссорились и почти неделю не разговаривали.

Кира вяло оправдывалась:

– Да, некрасиво. Согласна. И, скорее всего, неправильно. И тут не возразишь. Но – чем я руководствовалась, не подумал? Наблюдая за тобой? О ком беспокоилась? Вот именно. Было невыносимо жалко тебя.

Через пару недель окончательно помирились – потому, что наступил, увы, пресловутый форс-мажор. О котором походя упомянула Кира – ну чистая ведьма, ей-богу – сама испугалась.

Катерина залетела. Получается, Нина была права. Конечно, аборт – о другом просто не упоминали. И тут она, Кира, законченная, конечно, дура, опять встряла. Имею право, кричала она, больше, чем все остальные, – сама осталась бесплодной. И осеклась, увидев удивленные глаза мужа.

Тут же смущенно поправились: ну, в смысле того, что не смогла родить, понимаешь?

Хорошо, что он, лопушок, так ничего и не понял тогда – пронесло.

Катя рыдала. Нина названивала по два раза на дню. Киру назвала «конченной идиоткой», и Мишка теперь удалялся с телефонной трубкой в туалет – чтобы не услышала Кира. Кира – врагиня.

– Ну и черт с вами, – решила Кира, – разбирайтесь как знаете. В конце концов, Нина права – дочь не моя и не мне советовать.

Да и – если честно – какой ребенок в пятнадцать лет?

Но отношения с мужем подпортились. На эту тему больше не говорили – как там и что. Поняла, что аборт Кате сделали и что Мишка передал им приличную сумму денег. Взял он их из заначки – естественно, общей. Складывали туда то, что могли отложить – он и она. Пересчитывали вместе. Брали, если надо, уведомив друг друга. Советовались. А тут она обнаружила, что деньги изъяты, а ей об этом не удосужились сообщить. Обиделась, конечно. Но – промолчала. Ситуация была неловкой по многим позициям – вот и смолчала.

Отношения налаживали долго – инициатором, была, разумеется, Кира. Ну и бог с ним, что и с кем тут считаться? Столько лет вместе.

* * *

Назавтра решила звонить Кате – не откладывать на предпоследний день. Вполне допускала, что строптивая Мишкина дочь может от встречи

вообще отказаться, скажет, что надо было предупредить заранее, у нее свои планы, ну и так далее. Понятно, что встречаться с женой отца ей не резон – зачем? Отца уже нет на этом свете, Киру она никогда не любила, близости у них не было, а вот обида за мать и за себя – была. Увела мужика из семьи, значит, стерва. Мужей от жены и детей уведут стервы, а не порядочные женщины.

Ах, как не хотелось звонить! Как это мучило и терзало! Но справедливости ради надо признать: Кира никогда не стремилась подружиться с дочкой мужа, никогда не искала к ней подход. Никогда не относилась к ней с теплотой, просто потому, что вообще не умела с теплотой относиться к людям. Даже с собственными родителями это не удавалось. Кира была суховатой, зажатой, внешне холодной. Никто и подумать не мог, что эта молодая и хмурая женщина ради любви и любимого готова на все – на любые подвиги, любые страдания, любые испытания и трудности.

Да, с Катей отношения построить она не смогла – это надо признать. Почему? Да причин было несколько: во-первых, ей не нравилась эта хмурая и неприветливая, грубая девочка. Катя смотрела на нее исподлобья и не собиралась скрывать своего отношения к разлучнице. Во-вторых, Кира ревновала. Конечно, ревновала, видя привязанность мужа, его муки, вечное чувство вины. Обычная женская ревность. Да и сам Мишка не очень стремился их свести, полагая, что это не нужно, совсем ни к чему, лишняя травма для всех. Ну и, в-третьих, если бы она родила, если б у них с Мишкой был общий ребенок, все с Катей сложилось бы иначе. Ну и последнее обстоятельство, окончательно рассорившее их с Катей, – квартира. Чувствовала ли Кира свою вину в той истории? Скорее нет. Но осадочек, как говорится, остался. Вот и получалось, что не только Кире, но и Кате этот разговор, а уж тем более встреча, были в тягость. Два года перед смертью Мишка не мог с ней связаться – трубки она не брала. Информацию – скудную до невозможности – скупно и неохотно сообщала Нина: здорова, поступила в институт, вышла замуж, родила дочку, институт бросила, дура. Но в целом у нее все неплохо.

Пару раз прислала фотографии – Катина свадьба, Катина дочка.

В общем, отношения у Кати и Киры не сложились. Но Кира дала мужу слово, и его надо было держать. Ей необходимо было передать Кате письмо. Она верила, что там, наверху, на небесах, есть жизнь и ее муж, ее Мишка, все знает и видит. Так было легче жить, это примиряло с действительностью.

Зяблика – чудеса! – дома снова не наблюдалось. Интересно, куда он, пенсионер, девается спозаранку? Нет, правда – очень любопытно!

А с другой стороны, хорошо. Разговоры с самого утра – это уж точно не для нее. Раскачивается она медленно, с большим трудом – минут сорок положи как пить дать. Две чашки кофе – она всегда страдала низким давлением, – две сигаретки между этими самыми чашками, просмотр новостей в интернете, тоник и крем на лицо и под глаза. Легкая зарядка – нет, просто разминка, производственная гимнастика, как шутил Мишка. А что, хорошее было дело, между прочим, – заставляли людей подниматься с рабочих мест и разминаться, разогнать кровь.

Вот после всех этих нехитрых мероприятий Кира была готова к каким-то действиям. И к разговорам – в том числе.

Решившись, она наконец набрала Катин номер. Трубку взяли не сразу – Кира уже хотела с облегчением дать отбой. Голос у Кати был недовольный и неприветливый.

– Кира? – Кажется, она очень удивилась. Немудрено.

– Да, я здесь, приехала. По делам? Ну, можно сказать и так. По делишкам, скорее, по мелким.

– Хотите увидеться? – Неподдельное удивление в голосе. Тоже понятно. В том давнем конфликте она, безусловно, винила Киру, а не отца. Своих всегда оправдаешь. – А зачем? – усмехнулась она.

Кира забормотала что-то дурацкое:

– Ну, это необходимо, поверь. Последняя просьба отца, мне надо кое-что тебе передать. Ну и вообще – посмотреть на тебя.

Последняя фраза получилась неловкой, неискренней.

Катя молчала. Потом презрительно хмыкнула:

– А вы в этом уверены? Ну что нам надо увидеться? – Потом снизошла: – Когда мне удобно? Ох, даже не знаю... Ксенька приболела – соплевит. Нет, я, конечно, могу ее оставить одну... Ладно, я вам перезвоню.

– Катя, – напомнила Кира, – я здесь еще четыре дня. Постарайся. Пожалуйста.

И, положив трубку, похвалила себя за этот звонок. Катя, если честно, та еще штука.

Кира встала и решила пройтись по квартире Зяблика. Не очень прилично и правильно делать это без хозяина, ну да ладно, подумаешь! Ничего криминального.

Да. Ту, прежнюю квартиру, со всем ее антуражем, Кира, конечно, прекрасно помнила – картины на стенах, фарфоровые тарелки екатерининских, по словам владельца, времен. Никто в этом, кстати, не сомневался. Подсвечники из витой бронзы, китайские вазы из тончайшего, хрупкого фарфора, старые турецкие или персидские ковры – Кира, конечно, точно не помнила, что по этому поводу говорил Зяблик.

Был еще гобелен – огромный, на полстены: путешествие Синдбада. И странная, на Кирина вкус, аляповатая картина: зимний лес, в золотой раме с виньетками. Автором ее был художник со смешной фамилией Клевер. Кира о таком и не слышала – оказалось, художник известный и картины его висят в Третьяковке.

Еще два канделябра, козетка, канапе, ломберный столик – именно там, у Зяблика, она не только услышала эти слова, но и увидела сами эти предметы.

Она растерянно стояла на пороге гостиной и не знала, что и подумать. Стены, покрытые выгоревшими обоями, были пусты. Полки с посудой, дорогими сервизами и статуэтками, тоже. Не было и персидского или турецкого ковра – старый, разошедшийся и неухоженный паркет стыдливо оголился и зиял зазорами и щелями. Не было и ломберного столика, и бюро с инкрустацией. Сиротливо стоял диван из прежней жизни, книжный шкаф английского образца и потертая козетка – или канапе? А черт его знает. Надо посмотреть в интернете. Хотя какая теперь разница?

Что же случилось? Нет, все понятно – жить как-то надо, желательно достойно, хотя бы отдаленно приближенно к тому, к чему он привык. Но что-то не сходится! Понятно, на пенсию не проживешь. И все-таки... Было незаметно, чтобы Зяблик жил роскошно или просто хорошо – Кира вспомнила и пустой холодильник, и грязь, и запустение, и даже ощущение бедности, скудости, почти нищеты. Как это может быть? Проигрался в карты? Тоже вряд ли. Зяблик был всегда осторожен, играл по малой и никогда не отыгрывался. Ипподром? Да нет, ерунда. И там не просадишь такое богатство.

Зяблик был, безусловно, человеком не просто зажиточным, а богатым – правда, по меркам скудных и скромных советских времен. А сейчас, когда полно миллионеров и даже миллиардеров... И все-таки странно! Всего, что было вынесено и наверняка продано, вполне бы хватило на долгую и достойную жизнь. Ведь даже ей, плохо во всем этом разбиравшейся, было понятно, что весь его антиквариат стоит приличных денег. Кто тогда, в те времена, знал, что такое старинная мебель? Да почти никто – все мечтали и бурно радовались польской или гэдээровской стенке из ДСП, кто побогаче

– рвались за румынской и югославской, из чистого дерева. Кира вспомнила друзей-отъезжантов. Бились за польские светильники и чешские хрустальные вазы. Ценили антикварное единицы – коллекционеры или просто люди понимающие, привыкшие к роскоши. А сколько их было? По пальцам пересчитать.

Еще непонятно, как он смог расстаться со своими вещами. Казалось, это невозможно, этого не будет никогда. Правда, с возрастом человеку вообще нужно гораздо меньше – почти исчезают желания и скромнее становятся потребности. Пропил все это? Да глупость. Зяблик не пьющий – выпивающий.

Ей-богу, загадка! Молодая и капризная любовница, тянущая из старого Зяблика деньги? Тоже вряд ли. И в это не верилось. За свою бурную жизнь Зяблик должен был не только насытиться, но и пересытиться юными красавицами. Или все-таки бес в ребро? У мужиков это частенько случается. Именно когда уходят здоровье и молодость, крышу срывает. Правда, Зяблик был не из тех, кому сносит крышу. Больше всего он дорожил своими покоем, удобствами, привычками, комфортом. Да и человеком он был холодноватым, по-своему расчетливым, как всегда считала Кира. Щедрым, широким, но все же ей всегда казалось, что широта Зяблика, его купеческий размах были показушными, понтовитыми. Для него было страшно важно произвести впечатление. И все-таки Зяблик был отменным эгоистом и хитрецом. Этаким пуп земли, король со своей свитой, центр вселенной. Да и простачком Зяблика не назовешь – не то что ее мужа Мишку, олуха, душа нараспашку.

Куда все делось? Это так взбудоражило нелюбопытную Киру, что она точно решила – вечером спросит. Обязательно спросит. В конце концов, они старинные знакомые, почти друзья. Наверное, она имеет право.

Кира осторожно зашла в святую святых – спальню хозяина. Заглядывала она сюда пару раз на полминуты, не больше, но хорошо запомнила огромную, широченную «графскую» кровать с высоченной резной спинкой – светло-рыжую, чуть пятнистую, из карельской березы. Сейчас кровать стояла незастеленной, белье было откровенно несвежим, даже грязным. И не было роскошного напольного канделябра – его Кира помнила прекрасно.

Она ушла к себе, достала наугад из шкафа книгу – попался Мопассан. Кира улыбнулась – книга из детства. Вспомнила, что прятала Мопассана под кроватью – родители бы ее не поняли: как же, аморальный писатель.

Ну и отлично. Решила: поваляюсь, почитаю, а может, и подремлю. На улицу выходить неохота. Совсем стала ленивой, совсем... А ведь раньше

любила прогулки по любимому городу. Только теперь он не любимый – чужой. Она отвыкла от него, как и он от нее.

Ладно, пусть ленивая и безынициативная – имеет право, пенсионерка. А когда вернется Зяблик... Нет, все-таки непонятно – куда Зяблик шастает? Любовницу отмечаем. А может, все-таки на работу? Да нет, тоже вряд ли. Зяблик и работа? Смешно. Кем может работать Зяблик? Охранником? Глупости. При входе куда угодно стоят крепкие парни или дядьки, посмотришь и испугаешься. И рабочее время – не сходится, нет. Утром он исчезает, к обеду приходит. Чудно. Ладно, спрошу. В конце концов, что здесь такого?

Она подремывала, пыталась читать, переворачивалась с боку на бок – в общем, маялась. И вспоминала, конечно. Почему она так не любила Зяблика? Он сам, его образ жизни – праздный, широкий, купеческий – ей были непонятны и неприятны. Конечно, тут же вспоминала Мишку – талантливый трудяга, выкинутый за борт, сбитый летчик, потерянный и растерянный, сломленный почти окончательно, вечный мытарь, вечный нищий недотепа. И неизменно нарядный и радостный Зяблик, которому все давалось легко. Сын богатых и знаменитых родителей, оставивших огромное наследство. Красавчик и модник. Все ему падало в руки само – только подставляй! Прекрасное образование – тоже родители постарались. Только ему оно не пригодилось. Зяблик где-то числился, немного работал – кажется, в театре администратором, взяли, конечно, из уважения к знаменитой бабке – актрисе. Лучшие женщины, первые столичные красавицы. Про таких, как он, говорят: родился с золотой ложкой во рту. Чистая правда. Всю жизнь Зяблик валял дурака – жил в удовольствии.

Она завидовала ему? Наверное. Только не богатству его, а легкости, беззаботности и беспечности, тому, как он шел по жизни со счастливой улыбкой, беря от нее все самое приятное.

И этот ребенок непонятно от кого, о котором он упомянул. Ничего удивительного – для мужиков это дело обычное. Да и ребенок наверняка взрослый, не нуждающийся во внезапно объявившемся папаше.

И все равно – детектив какой-то, ей-богу!

Дверь хлопнула, и Кира заторопилась подняться. Как-то совсем неприлично все это выглядит – целыми днями валяется, из дому почти не выходит.

Зяблик гремел на кухне посудой. Кира осторожно постучала по дверному косяку:

– Не помешаю?

Он обрадовался:

– Ты дома? Конечно же, заходи, выпьем кофе. Я вот тортик тебе захватил!

На столе стоял вафельный тортик. Кире стало не по себе – все-таки она полная дура. Надо было что-то приготовить – хотя бы почистить картошку. Нехорошо-то как, господи!

– Хочешь есть? – смущенно спросила она.

– Нет, я не голоден, меня покормили, – тоже смущенно ответил он.

– Да? – улыбнулась Кира. – И кто же это, интересно? Кто эта добрая фея? В общем, я поняла. – Она взяла шутливый тон. – Ты где-то столуешься! И судя по всему, фея твоя – хозяйка прекрасная! Не то что я, незваная гостя. – И уже серьезно добавила: – Лешка, прости! За шесть лет совершенно разучилась готовить и обленилась. Да и раньше-то пирогов не пекла – так, на скорую руку. Это, видимо, протест против родителей, с их заготовками, как будто мы жили далеко за Полярным кругом. Мать даже яблоки на компоты сушила – так дешевле, если в сезон. А сухой компот тогда стоил копейки, помнишь? Я вот любила купить граммов триста и есть прямо из кулька, грязным. Руки были от него черные и липкие, а вот вкуснее ничего не было.

– Нет, Кир! Сухой компот я не ел, этой радости познать не случилось! А вот курагу там всякую, дыню сушеную и прочее деду привозили из Самарканда. Помню деревянные ящики, заколоченные гвоздями. Бабушка варила для деда компот из кураги. Говорила, что полезно для сердца. Помню, дед вылавливал разбухшие ягоды из стакана и причмокивал – вкусно. А умер от инфаркта – не помогли эти волшебные фрукты, – грустно улыбнулся Зяблик. Ее слова по поводу феи он словно и не услышал.

Они пили кофе и вяло перебрасывались пустыми фразами. Оба чувствовали неловкость, обоим стало почему-то тягостно. Кира видела, как Зяблик устал – как посерело его лицо и под глазами залегли темные тени. Она заскучала и решила пойти на улицу. Как говорил Мишка, проветрить мозги.

Поблагодарила хозяина и пошла одеваться. Когда стояла в прихожей, подкрашивая губы, Зяблик позвал ее:

– Кир, можешь зайти?

Пришлось скинуть туфли.

Зяблик сидел на кухне, перед ним стояла коробка из-под обуви – большая, когда-то белая, а теперь желтоватая, с треснутыми и разъехавшимися углами. В ней кое-как, в совершеннейшем беспорядке, были навалены фотографии.

Сердце упало. Кажется, Зяблик решил устроить вечер воспоминаний –

то, чего она больше всего боялась. Кира ненавидела перебирать старые фотографии, где все молодые, счастливые, не потерявшие надежду. Где у всех горят глаза и на лицах искренние улыбки, где у всех густые волосы, стройные ноги и никаких животов. Ей было нестерпимо рассматривать ту прежнюю, счастливую жизнь, которая просто прошла. И нечего беречь душу.

– Лешка, – упавшим голосом сказала она, – ты что задумал?

– Да ничего такого! Просто вот...

Она резко оборвала его:

– Леш, извини! Я терпеть не могу рыться в воспоминаниях. Извини.

Зяблик смотрел на нее растерянно и удивленно, хлопал все еще густыми и длинными ресницами и не понимал, чем ее обидел.

Кире стало стыдно – ну он-то при чем? Он разве обязан знать, что ей нравится, а что нет. Она выдавила улыбку и присела на край стула. Взяла себя в руки.

– Ну что там? Показывай. Любишь поворошить прошлое?

– Да нет. Сто лет не смотрел, еле отыскал эту коробку. Но если ты не хочешь...

– Давай, давай! Да и что там такого страшного, верно? Все – занятие, все развлекуха.

Он вроде обрадовался и принялся вытаскивать из коробки чуть смятые, с загнутыми уголками, фотографии, как иллюзионист вытаскивает из ящика за уши кролика. При этом то и дело вскрикивал от удивления – было видно, что фотографии эти он действительно сто лет не смотрел.

Он удивлялся, или восхищался, или, наоборот, хмурил лоб, пытаясь что-то припомнить, и радостно вскрикивал, протягивая фото сучающей Кире.

– Это Сочи! А это Ялта! Таллин! Ох, как же мы тогда...

Кира только молила бога, чтобы не попались и их с Мишкой фотографии.

Выудив очередное фото, Зяблик не поспешил показать его госте – долго и внимательно его разглядывал. Потом все же протянул его Кире:

– Помнишь ее?

На Киру смотрела молодая загорелая женщина с короткими вьющимися темными волосами и очень красивыми, большими, темными и грустными глазами.

– Нет, а кто это?

Зяблик закурил и коротко бросил:

– Сильвия. – И с удивлением переспросил: – Да неужели не помнишь?

Кира развела руками – дескать, прости. И не отказала себе в колкости:

– Разве всех твоих баб вспомнишь, Зяблик?

Но тот настаивал:

– Вспоминай! Вы точно виделись! Они с мужем итальянцы. Он – высоченный такой пузан, брюхо уже тогда из порток вываливалось. Громкий, зычный. Смеялся так, что стены тряслись. Синьор Батисто, не помнишь?

– Кажется, помню, – неуверенно проговорила Кира.

– А это Сильвия, его жена. Ну, вспомнила?

– Вроде да. Но как-то плохо.

Зяблик расстроился.

Кира вгляделась в фотографию смуглой женщины и наконец вспомнила.

– Точно! Такая маленькая, худенькая до невозможности, прямо подросток! Очень смуглая, черноглазая. Лицо такое живое. Немножко похожа на обезьянку, верно?

Зяблик обрадованно закивал:

– Точно, точно! Я так ее и звал – Мартышка! Она и не обижалась – сама веселилась. У нее было прекрасное чувство юмора. – Он взял из Кириных рук фотографию Сильвии и погрузнел: – А ты знала, что у нас был сумасшедший роман?

Кира покачала головой:

– Нет, не знала. Или не помню, прости. Вся эта карусель твоих баб... Извини, Лешка! Я и имен их запомнить не успевала! Нет, вру – Алену помню, рыжую такую, высокую. Кажется, с телевидения.

Зяблик небрежно махнул рукой, дескать, не о ком говорить – Алена и Алена.

– А Тамара? Красивая девка, кажется, южных кровей.

– Грузинка, – коротко бросил Зяблик.

– Ну да, – сказала Кира и добавила: – Не обижайся! Я и этих-то двух запомнила только потому, что мы в то время у тебя жили. Да и память на лица у меня отвратительная.

Зяблик вглядывался в фотографию Сильвии, словно пытался что-то там отыскать. Кира видела, что это его взволновало и ему хочется об этом поговорить.

– Так что твоя итальянка? – из вежливости осведомилась она. – Тоже потеряла от тебя голову? Что, впрочем, неудивительно, – засмеялась она.

– Да, потеряла. Но здесь другая история, Кир. У нас вправду была любовь. Она даже решила уйти от мужа, ты представляешь?

– Вполне, – ответила Кира. – А что здесь такого, если любовь?

– Что такого? – усмехнулся Зяблик. – Да так, ничего. Только муженек ее был богат как Крез. И при разводе... Словом, ты ж понимаешь. И вообще, она хотела остаться здесь, со мной. И это после виллы в Тоскане, где у нее было полно прислуги, личный повар, лимузины и все остальное.

– И что же? – уже заинтересованно спросила Кира. – Чем дело кончилось, почему не срослось?

– Я ее отговаривал. Боялся за нее, если честно. Она была вообще впечатлительная и даже нервная. Такой темперамент! Да и он бы ей устроил – сволочь был еще та!

– А синьор этот был в курсе? – удивилась Кира. – Все знал, говоришь?

– В курсе, – кивнул Зяблик. – Она вообще ничего не скрывала. Я же говорю тебе – экспансивная была, нервная, чувства все через край. Ну и прямая.

– И вот тогда ты испугался? – догадалась Кира.

– Да, испугался. Такие женщины, знаешь, до добра не доводят. Сами горят и тебя в огонь тащат. Я тогда совершенно не был готов. И вообще, – он усмехнулся, – я никогда не был готов! Лет в сорок задумался – вроде пора. Нагулялся от вольного. Все видел, ничем не удивишь. Ну и стал осматриваться, поглядывать – кто бы, так сказать, подошел для этой нелегкой роли. – Он засмеялся.

– И что? – поинтересовалась Кира. – Кандидатки на роль верной жены не нашлось? Не присмотрел никого? Может, не там искал, Лешка?

– Не в этом дело, – убежденно ответил он. – Искал везде, веришь? Но передумал. Понял, что закоренелый и окончательный холостяк, и тему эту оставил.

– Не пожалел? – осторожно поинтересовалась Кира.

Зяблик задумался:

– Кажется, нет. – Но в его голосе звучало сомнение.

Он улыбнулся. И в эту минуту Кира увидела того, прежнего Зяблика – с яркими синими глазами во все еще густых и длинных ресницах, легкого, веселого и немного грустного – такая смесь Арлекино с Пьеро.

– Так, а что же твоя Сильвана Помпанини? – Кира вспомнила известную итальянскую актрису давних времен. – Расскажи, интересно!

Ей и вправду стало интересно – такие страсти, гос-поди! А Зяблик ей всегда казался слегка равнодушным, пресыщенным, холодноватым.

– А дальше все как обычно. Она рвалась ко мне. Он вылавливал ее, караулил. Грозил, пару раз избивал. Она боялась обращаться в милицию. Умоляла, чтобы я оставил ее у себя. А я, как жалкий трус, все искал

причины этого не делать. Мечтал, чтобы муж увез ее и эти страсти закончились. Так и получилось – через год они уехали. Потом я узнал, что она резала вены. Слава богу, спасли. Он тогда здорово перепугался.

– А ты откуда узнал? – удивилась Кира.

– Она мне звонила. Долго звонила. Писала письма. Я их даже не открывал – понимал, что там. Просто рвал или сжигал. Трус, я же тебе говорю. Ну а потом синьор Батисто скончался, и Сильва снова стала рваться сюда. «Поженимся и уедем в Италию. Мы свободны», и все такое. Но ты ж понимаешь! К тому времени многое изменилось. Нет, я ее вспоминал, только жил своей жизнью. – Он замолчал, встал и прошелся по кухне. Завозился с чайником: – Кофе будешь?

Кира машинально кивнула.

– Ты не любил ее?

– Не знаю. Мне трудно ответить на этот вопрос. Но если я кого и любил, то точно ее. Ох, какие искры между нами летели!

– И что с ней сейчас? Ты не знаешь?

– Она умерла не так давно, – после недолгой паузы ответил Зяблик. – Ей было всего пятьдесят два. Совсем молодая – сердце, наверное. В одну минуту – легко.

– Думаешь? – усмехнулась Кира.

Он не ответил.

– Зяблик, – тихо сказала Кира, – а ты потом пожалел? Ну, что пропустил любовь?

Не оборачиваясь, он тихо ответил:

– Знаешь, есть такое душевное уродство – неспособность быть преданным, верным. Не изменять. Видимо, я из этих уродцев. Не всем дано, понимаешь? Хотя, наверное, было чувство. Во всяком случае, тогда я страдал. В первый раз в жизни, сам удивился. Только не говори, что все впереди! – Он обернулся, и они рассмеялись.

Кира вспомнила эту Сильвию. Конечно же, виделись, и не раз! В который раз она посетовала на свою память, что та убирает ненужное, незначительное. Лица моментально стираются, фамилии исчезают, телефонные номера навсегда вычеркиваются. Это было и в молодости – кто-то ее мог окликнуть, а она вглядывалась и не узнавала. Ужасно неловко бывало, ужасно.

Но Сильвия эта, как ни странно, четко предстала перед глазами. Она не была красавицей, нет. И даже совсем наоборот – мелкая, без привлекательных форм, кажется, абсолютно безгрудая, с мальчиковой

сухой попкой. Словом, разительно отличалась от роскошных, длинноногих и грудастых Зябликовых девиц. Волосы у этой Сильвии были чудесными – темно-каштановые, почти черные, густые, крупными кольцами. Лицо худое, скуластое, очень смуглое. И уже тогда щедро расцвеченное мимическими морщинами – вокруг глаз и губ. Мимичное, подвижное лицо хохотушки. Весь спектр эмоций на лице – радость, гнев, сострадание и печаль. Кира вспомнила, что тогда у нее промелькнула мысль: «Как быстро состарится эта женщина!» А еще она подумала: «Ох, тяжело ей, наверное, жить – так реагировать на окружающий мир».

По-русски Сильвия говорила легко и почти без акцента. Одевалась неброско, но сразу всем было понятно – иностранка. Узкие брючки и джинсы, мокасины – тогда у нас их еще не носили. Маечки, свитерочки – все простое, но сразу понятно, что не отсюда и недешевое. А вот украшения при всей этой скромности, видимо, обожала – на худых и жилистых кистях звенели золотые браслеты, в ушах висели крупные тоже золотые кольца, а тонкие и длинные пальцы были усеяны кольцами и колечками – узкими «дорожками» с мелкими бриллиантиками, крупная камешка с головой горгоны Медузы и несколько колец с крупными, наверняка дорожными камнями.

Удивительно, что при всем ее несерьезном, детском облике, при всей скромности одежды и полном отсутствии косметики все эти женские радости, все эти сверкающие и брякающие, звонкие цацки ей очень шли.

Вот если все это добро нацепила бы, к примеру, завсекцией ГУМа, нарядная, с соломенной «башней» на голове, в тщательном и обильном макияже, в дорожном костюме и туфлях на каблуках тетенька, был бы кошмар. А здесь все гармонично: иностранка, другая культура.

Кажется, была она болтушкой, эта итальянка. Но вдруг замирала как застывала. И на лице отражалась вся скорбь мира. Нет, Зяблика можно понять!

А вот мужа «обезьянки» Кира припомнила с трудом – да, что-то большое, широкое, важное, пахнувшее душистым и сладким одеколоном. У Киры был отличный, просто собачий, нюх. Кажется, муж Сильвии курил сигару и всегда держал в волосатых руках тяжелый стакан с чем-то темным – виски, коньяк? Эта пара как-то странно выглядела – они совсем не подходили друг другу.

Кира не заметила, не учуяла их страстный роман, хотя женщины так наблюдательны! Наверное, они с Мишкой жили тогда в Жаворонках и появлялись в высотке нечасто. А вот как, оказывается. Зяблик пережил страстный, тяжелый, долгий трагичный роман.

Кире показалось, что он все-таки жалеет о том, что у них с Сильвией не сложилось. Или ей показалось?

* * *

Фотографии рассматривали долго, еще часа два. Слава богу, их с Мишкой фото не попадались – фотографироваться они не любили и в кругу Зябликовых друзей и гостей робели.

Кое-кого Кира вспомнила, кого-то нет. Но очевидно было одно: все те люди, что улыбались в фотокамеру, были тогда всем довольны – счастливая молодость. А Кира? Вряд ли она выглядела беззаботной – у них с Мишкой была совершенно другая жизнь.

Но на самом дне коробки все же оказалось то, чего Кира боялась. Зяблик вытащил несколько фотографий и испуганно глянул на Киру – Зяблик и Мишка, совсем пацаны, лет по пятнадцать-шестнадцать. Невысокий, худой Мишка в задрипанной куртяшке и сбитых ботинках и величавый широкоплечий Зяблик в модных, явно привозных куртке и джинсах. И это в те годы! Ого! На лицах улыбки, в глазах плещутся радость и легкость. Рука Зяблика покровительственно лежит на Мишкином плече.

Кира долго и молча рассматривала фотографию, вглядываясь в лицо смешливого пацана, ее будущего любимого мужа.

– Смешные, – грустно сказала она. – Особенно он, – и кивнула на Мишку.

Зяблик молча протянул ей другую фотографию, и Кира узнала квартиру Зяблика, круглый стол, уставленный бутылками и тарелками. Вокруг стола – молодые люди, все с сигаретами, и девочки, и мальчики. И все нарядные – на парнях светлые рубашки, галстуки. Девчонки с прическами и накрашенными губами. Мишка стоит с бокалом в руке – скорее всего, говорит тост. Смешной, вихрастый, губастый Мишка. Нарядный и радостный, лучший друг хозяина и наверняка именинника.

– Что празднуем? – дрогнувшим голосом спросила Кира. – Твой хеппи бездэй?

– Угу. Мои восемнадцать. Важные уже такие – студенты. Стол еще мама накрывала – пироги там, салаты всякие. В последний раз. Через семь месяцев мы ее хоронили. Плакали вместе с Мишкой. Да если б не он, я бы тогда чокнулся. Всякие мысли были – отец ушел, когда мне было тринадцать. Дед и бабушка раньше – я был совсем маленьким. А потом

мама. Я думал – за что? Все и почти сразу? Все ведь были хорошими людьми – дед был талантлив как бог, бабушка тоже. Отец тоже был умницей. Столько всего успел добиться! Не то что я. И мама... Такая красавица! Сейчас найду, покажу! Подожди!

Зяблик поспешил в комнату и быстро вернулся с альбомом. Получается, что фотографии мамы все же хранились в альбоме, а не в старой картонке из-под сапог. С фотографии на Киру смотрела красавица. Какое лицо, какие волосы, какие глаза! Зяблик, кстати, был вылитая мать. Вот откуда эта красота – гены. Только почему эта прекрасная молодая женщина такая печальная? Предчувствие скорой смерти?

– Как ты похож на нее! – Кира старательно вставила фото в прорезь альбома. – Просто одно лицо!

– Куда мне до нее! – отмахнулся Зяблик. – И вообще до всех них!

Помолчали.

– А через год ушла Ольга Сергеевна, Мишкина мама, – нарушил молчание Зяблик. – И тоже совсем молодой. Так мы и остались с ним – два сироты. Он да я. И мы друг у друга.

– А Мишкиного отца, – спросила Кира, – вы не пытались найти?

– Как же, пытались, и довольно долго искали. Нашли. Жил он в Кронштадте, служил в военной части. Рванули туда на майские – да, точно, на майские, – уже было довольно тепло, и мы поехали в одних рубашках. Очень было тепло, – повторил он. – Ну и приехали. Нашли этого... дядю. Все объяснили ему: Ольга Сергеевна умерла, Мишка, его родной сын, остался один на всем белом свете. Папаша этот... Смотрел на нас как баран на новые ворота. И молчал, брови хмурил. А потом выдал: и чего вы приехали? Говорите сразу, чего вам надо. Ну мы переглянулись и пошли себе прочь. Мишка, правда, тогда... Прости, может, мне не надо тебе это говорить... Мишка тогда разревелся. Прости, – повторил он.

– Какое «прости», Леша? – удивилась Кира. – Правда, я ничего об этом не знаю. Нет, про маму, конечно, знаю, про Ольгу Сергеевну. А вот про папашку Мишка мне никогда не рассказывал. Наверное, сильно болело.

– Болело, – кивнул Зяблик. – А как ты думаешь? Родной отец – и такая вот сволочь. В общем, стали мы выживать. Вдвоем. Правда, Мишка скоро женился на этой Нине.

– Ты ее знал? – спросила Кира. – В смысле – хорошо знал?

– Да что там было знать? Нина и Нина. Пригрела его, накормила. Создала, так сказать, иллюзию. Замуж очень хотела. Да, ждала из армии, было такое. Письма писала, поддерживала. За это, конечно, спасибо. Что говорить. В загс они пошли после того, как она объявила о своей

беременности. Мишка не хотел. Говорил, что не любит ее. Но пришлось – куда денешься. А Катьку свою обожал, это правда. И мучился очень, когда... Ну, когда появилась ты. А я ржал, что его негативный опыт навсегда отвел меня от женитьбы. Спасибо ему говорил. А он обижался, дурак. Потому что был очень несчастлив, страдал – из-за дочки.

– Да, все у нас было непросто, – грустно сказала Кира.

– В Мишкиной жизни вообще все непросто, – подтвердил Зяблик. – Не то что у меня.

– Слушай, Леш, – решила Кира, – ты меня извини ради бога, конечно, это совсем не мое дело. Но на правах старого друга... Леша, что у тебя происходит? Ну, эта квартира... – Кира смущенно и растерянно обвела комнату глазами. – В смысле, где всё? Все твои вещи? И куда ты – снова прости – исчезаешь по утрам? Нет, я не из любопытства, просто переживаю за тебя. Ты заболел? Или долги? Не хочешь – не отвечай, ты не обязан.

Зяблик встал, прошелся по комнате, постоял у окна. Раскурил новую сигарету и наконец ответил:

– Долги. Долги, Кира! И какие долги! Не расплатиться. Но я честно пытаюсь. – Он повернулся и внимательно посмотрел на нее. – А ты уверена, что хочешь послушать? Готова?

– Готова, – неуверенно сказала Кира, она уже была не рада, что затеяла этот разговор.

Зяблик по-прежнему стоял у окна.

– В общем, так. У меня, Кира, есть сын. Да, мой родной и единственный сын. Откуда? Ну ты ж понимаешь, в молодости наследил. – И он безнадежно и обреченно махнул рукой. – Мать его родила парня, как ты догадалась, не сказав мне ни слова. Просто взяла и родила «от любимого мужчины» – это ее слова. И никогда, ни разу, ничего не потребовала. Ни внимания, ни любви, ни денег – никогда, повторяю. Родила для себя. Это, кажется, так у вас называется?

Кира вздрогнула: «родила для себя», «это, кажется, так у вас называется». Зяблик ее реакцию не заметил и продолжил:

– Родила, сама принесла из роддома. Нет, кто-то, конечно, встречал: мама, подружки. Мать у нее, слава богу, была – тащили этот нелегкий воз вместе. Материально им было нелегко, конечно. Но повторяю – ни разу она не пришла ко мне за деньгами. Когда парень вырос и стал требовать правды, она рассказала, и была, думаю, права. Сын имеет право знать, кто его отец. Ну и потом, знаешь, я на всю жизнь запомнил Мишкины слезы – тогда, в Кронштадте, – на всю жизнь. Как мы обратно ехали в поезде и он рыдал – в подушку, конечно. Стеснялся. Даже меня, представляешь?

В общем, одним весенним деньком мой сын ко мне пришел, и мы познакомились. Как я был счастлив, Кира! Невероятно счастлив, поверь, просто разрывался от счастья. Мир, известный до самых гадких и отвратительных мелочей, давно неинтересный и мрачный, снова расцветился разноцветными красками – я снова стал чувствовать запахи: вот сирень расцвела, вот жасмин. А вот пахнет в лесу грибницей и прелыми листьями. Счастье, кругом одно счастье! И все тут. Я снова стал жить. Мне было для кого, Кира. У меня появился сын. А я тогда уже отлично знал, что такое одиночество и усталость. – Он резко развернулся и посмотрел на нее.

– Да, да, Лешенька! – поспешила его поддержать Кира – Конечно же, я все понимаю! Такое счастье, господи, – обрести сына! Ты ведь уже не надеялся, не рассчитывал. А тут сын!

Зяблик молча кивнул и повторил:

– Да, сын. Спасибо.

– За что же спасибо, господи? Я за тебя так рада, Зяблик!

– Ну, еще кофе? Или чаю?

Кира нетерпеливо отмахнулась:

– Да потом! Давай, рассказывай дальше! Делись своим счастьем! А мама его? Твоего мальчика? Вы... подружились?

– Подружились, можно сказать. Зла она на меня не держала. Это был ее выбор, я же ничего не знал. Нет, я себя не оправдываю, сволочью я был еще той! Бросил ее и все тут же забыл. Да и романа у нас особого не было – так, пару раз всего встретились, и все, разошлись как в море корабли. И никогда больше не пересекались. Она меня простила, конечно. Да и сколько воды утекло! Умница она была, все про меня понимала, про баб моих, про мою жизнь. Словом, все у нас с ней сложилось – по-дружески, по-соседски. И она была счастлива, что мы теперь есть друг у друга – я и ее сын. Мой сын. Я тебя не утомил? – спросил он. – Ты не устала?

– О чем ты, ей-богу? – горячо возразила Кира. – Давай продолжай!

И Зяблик продолжил:

– С парнем моим у нас сложились хорошие отношения. Не сразу, конечно. Шли мы тихонько и осторожно – боялись спугнуть. Но в конце концов мы подружились. Два раза вместе ездили на море – он захотел. Ох, как я ненавижу эти переполненные народом пляжи, эти тела, эти курорты! Но стойко терпел – ради сына. В Карелии были, сушили грибы, собирали ягоды – бруснику, клюкву. Он говорил – мама любит. А я и не знал, что она любит, его мать... А на море, в Алуште, он искал ей подарки – и радовался, когда покупал.

Женился он рано, едва исполнилось двадцать один. Говорил, что страшно влюбился. Мать его отговаривала, а я поддержал: сам прожил бобылем, остался одиноким – слишком долго раздумывал. Да и девочка оказалась хорошая, из Питера. Правильная. Сыграли свадьбу, и они зажили. Я подарил им машину – продал тут кое-чего и подарил. В общем, все было нарядно. – Зяблик замолчал и нахмурился. – А потом, Кира... А потом они поехали в путешествие. В Ригу. И по дороге разбились. Она умерла сразу, не приходя в сознание. А он... Его, слава богу, спасли. За три года девять операций.

Мы привезли его в Москву. Я поднял всех, как понимаешь. Вызвали лучшего хирурга из Склифа. Собирали его по частям. – Зяблик снова замолчал и закурил сигарету.

– И? – не удержалась Кира. – Как он сейчас? В порядке?

– В порядке. После того, что случилось, он в полном порядке. Потому что живой. Только не ходит – позвоночник. Руки работают плохо, но ложку мы держим! Он все понимает – мозг не пострадал, интеллект полностью сохранен. А ноги... Ног нет. В смысле, мертвые ноги.

Кира молчала, не находя слов. Чем утешить? Банальным «держись»? Какие там слова, когда такое беспросветное, бездонное горе! Господи боже! Бедный Зяблик, бедная мать его сына! И бедный парень! Кошмар.

– Ну и еще его вечная вина за жизнь жены. И моя, – за то, что я купил эту чертову машину, будь она проклята!

– Зяблик! – Кира погладила его по руке. – Ты герой, Зяблик! Знаешь, я ведь всегда считала тебя человеком... – Она запнулась, подыскивая слова. – Прости – облегченным, что ли? – равнодушным... немного. Считала, что ты из тех, кто не заморачивается, не берет ничего в голову. Была уверена, что всякие там сопли, сентиментальность ты считаешь лишними. Словом, живешь для себя и во имя себя.

Зяблик горько улыбнулся.

– А в чем ты ошиблась, собственно? За что извиняешься? Дорогая моя, все так и было! Скотиной я был порядочной, чего уж там. Оставлял своих женщин, жил в свое удовольствие, плевал на всех, кроме себя. Нет, намеренно зла не делал, по крайней мере мне так казалось. Но и добра, кстати, тоже, увы...

– Что ты! – возмутилась Кира. – Как же – не делал добра? А нам с Мишкой? Да если бы не ты! – Она махнула рукой. – Ты и представить себе не можешь, что значили тогда для нас твои деньги! Не просто помогли – они нас спасли! А то, что ты нас приютил, дал нам кров?

– Перестань. Какой там «спасли»? Дал кров, говоришь? А что я,

уступил вам свою квартиру? Нет. Меня это как-то задело и ущемило? Ни разу. Я был вынужден потесниться? Разумеется, нет! Так в чем же мой подвиг? Ну а про деньги... Кира, девочка! Разве ты не поняла, что эти несчастные пара тысяч рублей для меня были просто не деньги! Две тыщи рублей! Да я мог проиграть их за день в карты или на ипподроме! И не дать их лучшему другу? Как ты думаешь? И это было мне легко и уж совсем не больно, поверь! В чем мой подвиг, Кирюша? А, молчишь! Вот и правильно. Не смущай старика и не приписывай ему героические истории. Смущаюсь, ей-богу. – Он помолчал, помял в пальцах сигарету и тихо добавил: – Твой Мишка... И мой Мишка – это лучшее, что было в моей жизни! Самое верное, самое чистое и самое светлое.

Кира молчала. Понимала, если продолжать сыпать благодарностями, Зяблик ее перебьет – лести он никогда не любил, что правда, то правда. Восхвалять его и восхищаться его героизмом по поводу сына? Да тоже как-то... неправильно. Что тут такого уж героического? Поддержал родного ребенка? Ребенка, попавшего в страшную, непоправимую беду? В чем тут героизм? Мысли ее перебил голос Зяблика:

– И вообще, Кир... После того, как нашелся мой парень, и после того, как случился весь этот ужас, я словно очнулся – как мелко и дешево я проживаю свою жизнь. Да, собственно, почти прожил... Что я сделал хорошего? Ничего. Ну да, кому-то помог. Устроил куда-то – в институт, на работу, в заграничную командировку. Дал кому-то денег – было. И что? Это было проще всего. Жениться я не хотел, боясь, что потеряю свободу. Детей не хотел – по той же причине. И знаешь, еще: я искренне думал, что все это, – он сделал жест пальцами в воздухе, – бесконечно. И навсегда! А оказалось, что нет. Иссякли желания, пропал интерес ко всему, что я любил. От людей я стал уставать. От удовольствий тоже – наверное, обожрался. Мне стали неинтересны мои любимые увлечения: карты, лошади, бабы. Прости.

Наверное, это была депрессия – я отключил телефон, вырубил дверной звонок, плотно задернул шторы и валялся целыми днями один, вспоминая и обдумывая все. Да, конечно, это был кризис среднего возраста. Хотя какой уж там «средний» – мне было за сорок, почти к пятидесяти. Совсем взрослый мальчик. Я никого не хотел видеть, ты представляешь? Чтобы я и без компании? Без лучших баб города, клоунов и шутов, богемы и богачей, дельцов и фарцы? Я возненавидел их. Но еще больше возненавидел себя. Нет, даже не так – я стал себя презирать, а это хуже, поверь! Я ощутил себя мелким ничтожеством, рабом своих прихотей и желаний. Такая навалилась тоска – высасывающая душу, тягучая, черная и горькая тоска по

профуканной жизни. Хотя ты ж понимаешь – у меня была репутация удачливого, золотого мальчика, которому все падает с неба. И никто не знал про мое детство, про мою мать, со смертью которой я так и не смог смириться. Про отца, который бросил меня и тоже вскоре ушел навсегда.

Я устал от себя и от своей никчемной жизни. Устал так, что перестал ее, жизнь, ценить. Все обесценилось, понимаешь? Я понимал, как одинок. И понимал, что виноват во всем сам. Сам выбрал такую жизнь. Сам, сам...

И вы с Мишкой уехали. Ты и представить не можешь, как я по нему тосковал! Так тоскуют по матери, это мне отлично знакомо. Так тоскуют по ушедшей любимой. Мишка был самым близким мне человеком. Только с ним, только ему... Понимаешь? А потом Сильвия и наша любовь. Словом, все как-то подряд, друг за другом.

В общем, я даже подумывал... Ну, ты поняла. И это меня совсем не пугало – меня! Такого любителя жизни! Просто мне все опостылело, все. Я совершенно спокойно подыскивал способы, чтобы полегче и как-то поэстетичнее.

Кира кивнула. Она была так ошарашена и так взволнована, что ей стало трудно дышать. Она слушала Зяб-лика, боясь пропустить хоть слово, не поднимала глаз от смущения и растерянности, пораженная не только его откровением, но и своим открытием – как она, оказывается, была слепа! Она крутила в руках изящную, случайно оставшуюся от прежних времен серебряную кофейную ложечку с витой черненой ручкой и боялась поднять на него глаза.

– Ну и... – Зяблик осекся, закашлялся и глотнул остывший кофе. – Тут мне послал бог Сережу.

Наконец Кира решила поднять глаза.

– Сережа? Твоего сына зовут Сережа? Мое любимое имя! Мою первую любовь звали Сережей – Сережа Краснов, представляешь, я помню фамилию! А это, между прочим, было в четвертом классе! – Она тараторила, боясь остановиться, и боялась продолжения этого тяжелого и страшного разговора.

– Сережа. Сережа, – повторил Зяблик. – Это и спасло меня, понимаешь? Вытащило за волосы из черного омута, прости уж за пафос. И я вдруг понял, что все это неспроста! Почему он появился в моей жизни именно в этот момент? Бог послал? И я ринулся в их жизнь, бросился наперерез. Его мать просто обалдела, с такой прытью и страстью я туда ворвался! Она даже испугалась, и это понятно: я оставался в ее памяти беспечным и нагловатым богатеньким Буратино, тем же равнодушным прожигателем жизни, а тут она увидела измученного, почерневшего,

заросшего и нелюдимого человека... Ей стало страшно от того, с какой яростью я набросился на них, пытаюсь вписаться в их жизнь. Кажется, она пожалела, что все рассказала сыну. Я приезжал к ним почти каждый день и просто сидел на их скромненькой бедненькой кухне. Сидел и смотрел на Сережу. И любовался.

– Он тебе сразу понравился? – тихо спросила Кира.

– Конечно! А он не мог не понравиться, понимаешь? Ну во-первых, – Зяблик оживился и разругмняился, – он красавец! Высокий и стройный, с правильным и хорошим лицом. Моя бабушка так говорила: хорошее лицо! Я понял позже, что это значит: доброе, милое, интеллигентное. Он был сдержан, корректен, вежлив.

Мать хорошо его воспитала, и я был так ей благодарен! Она дала мальчику прекрасное образование – он много читал, замечательно разбирался и в живописи, и в музыке.

Я был счастлив. Я летал. Жизнь обрела смысл. Сережа спас меня, и я стал суетиться. Мне хотелось отдать то, что я не отдал. Я уговаривал их сделать ремонт – хороший и крепкий ремонт, с импортными материалами, красивой кухней, ну и всем прочим. Они отказались. Решительно отказались, без вариантов.

Я пытался купить Сергею одежду – одет он был бедно. Какие у них были возможности? Он снова отказывался. Но здесь было проще – я купил все сам и притащил. Целый ворох – от белья и носков до костюма и дубленки. Он страшно смутился, а его мать возмущилась и яростно потребовала, чтобы я все это унес. Еле уговорил! Но надевать подарки он не торопился. А я его мучил: «Сережа, где куртка и новые джинсы?» Он страшно смущался.

Конечно, я таскал мешками продукты – все лучшее, самое-самое. Сережина мать раздражалась и ссорилась со мной. Вечно скандалили по этому поводу. Но я настоял. Я купил им путевки в Италию – Венеция, Флоренция, Рим. Она хлопнула дверью, почти выкрикнув мне в лицо, что сын пришел ко мне не за этим. Я постоянно, все время оправдывался перед ними. Но не уступал – ни пяди! В конце концов мы договорились, что мои «наступления» станут потише. Я согласился. Но в Италию они все же поехали и были, конечно, счастливы – это было их первое путешествие за границу.

Потом мы съездили на рыбалку под Ахтубу. Сережка оказался заядлым рыбаком. Нет, ты представь – я и удочка. Я и рыбалка! Я и палатка на берегу – комары и шершни, жара и духота. Кошмар и ужас, но я все выдержал. И снова был счастлив. Веришь, я повторял про себя: «Я на

рыбалке со своим сыном. Я со своим сыном. У меня есть сын. Господи боже, какое счастье!»

– Верю, – отозвалась Кира. – Конечно же, верю! А его мать, извини? Как у тебя с ней? Сложилось? Ну и вообще, – совсем растерялась она.

– Не сразу сложилось, если по-честному. Но сложилось. Так, кое-как. Она меня терпела, я ее терпел. Мне было легче – я чувствовал свою вину и со всем соглашался. Хочешь – так, не хочешь – о’кей. Все будет по-твоему. Потом она стала ревновать сына ко мне. Но это тоже понятно и вполне объяснимо. Только знаешь... – Он на минуту задумался. – Мне было на все наплевать! На ее обиды, на ее претензии, на ее ревность. Я не обращал на это внимания. Я был счастлив, и мне было все равно, что там и как. Главное – это мой сын, мой Сережа.

Кира кивнула.

Зяблик снова прошелся по кухне. Зачем-то открыл холодильник и обернулся к ней:

– Слушай, ты, наверное, проголодалась?

– Нет, нет! Продолжай!

Он снова прошелся по кухне, встал у окна и спустя пару минут глухо сказал:

– А дальше... Дальше тебе все известно. Дальше была авария и все остальное. Все, Кира, – неожиданно твердо подытожил он. – Закончили.

Долго, минут десять, молчали.

– Зяблик, – вдруг вскинулась Кира, – а если нам куда-нибудь рвануть, а? В крутой ресторан, например! Или еще куда? Гульнуть широко, а, Лешка? Я угощаю! Засиделись мы с тобой, закисли совсем.

– Прямо сейчас? – Он, кажется, испугался. – Вот прямо сегодня?

– А что нам мешает? Мы ведь с тобой свободные люди!

Зяблик неуверенно произнес:

– Пожалуй, да. У *своих* я уже был и на сегодня свободен.

Ну и разошлись по своим комнатам – собираться. Кира оделась мгновенно – вспомнила, как Мишка всегда удивлялся: «Ты словно отслужила срочную, Кирка – готова по команде «подъем»!»

Да что там собираться? Пустяк. Брюки и блузка, нитка любимого серого жемчуга на шею – Мишкин подарок. Кольца она не снимала – тоненькое, копеечное обручальное, дороже всех бриллиантов мира, и серебряное с крупным желтым цитрином – ей всегда нравился желтый цвет. К этому кольцу присматривалась долго – лежало оно на витрине и при солнечном освещении вспыхивало золотистыми искристыми всполохами. Стоило, кстати, немало. А однажды собралась с духом и купила. И как радовалась,

господи! И тоже не снимала – казалось, кольцо приросло к ней и никогда не мешало.

С прической было совсем просто – в молодости Кира носила короткую стрижку, знала, что у нее красивая, длинная шея. Как говорил Мишка, беспомощная. Глупости, Кира никогда не была беспомощной или слабой. А с возрастом волосы отрастила и закалывала на затылке. Гладкая прическа ей шла – худощавое лицо, высокие скулы, прямой нос, неяркие, но правильные черты лица. Да и возни с ними меньше и уж точно дешевле – не надо думать о парикмахере. Косметикой она почти не пользовалась, даже в молодости. Понимала, что тип лица ей дан такой, что боевой раскрас точно не для нее. Мишка говорил, что ее внешность олицетворяет среднерусскую мягкую, неторопливую, интеллигентную красоту. Нет, красивой она себя не считала, но миловидной – пожалуй.

Подкрасила ресницы – совсем чуть-чуть – и мазнула светлой помадой по губам. Все, достаточно. Покрутилась перед зеркалом. А что, неплохо! Моложавая и вполне себе стройная женщина с небольшими мимическими морщинами возле глаз, сероглазая, светловолосая – словом, на все времена. Заметить трудно, но никогда не устанешь смотреть – никаких раздражающих факторов. Ну и со вкусом, надо сказать, порядок: ничего лишнего или кричащего – женщина, осознающая свой возраст и, самое важное, относящаяся к нему терпеливо, с достоинством.

Вышла в коридор и окликнула хозяина:

– Лешка! Ты готов?

– Закопался! – ответил он. – Кир, подойди, а?

Ох уж эти мужики!

Дверь в комнату Зяблика была приоткрыта. Растерянный и удрученный, он крутился перед овальным зеркалом в серебристой витой раме.

– Кир! – виновато протянул Зяблик. – Вот, не могу подобрать! – и он кивнул на гору брюк и рубашек, сваленных на кровати. – Мне кажется, все как-то не очень.

Кира мгновенно оценила ситуацию и вытащила из кучи сваленного тряпья серые, в мелкую полоску, брюки и голубой свитер.

– Леша! Вот это! – уверенно сказала она. – Это – на все времена.

– Да? – неуверенно протянул он. – А мне кажется, все такое... немодное.

– Винтаж! – засмеялась Кира. – Сейчас это – самое-самое! А если по правде, Зяблик, классические серые брюки в полоску и классический свитер еще никто не отменял! Ну, мне-то ты веришь?

– Сто лет ничего не покупал. Или двести, – оправдываясь, виновато улыбнулся он. – Чучелом тоже не хочется выглядеть. Все-таки в ресторан иду! И с шикарной, заметь, женщиной!

– Давай, балабол, одевайся! – с напускной строгостью сказала Кира. – Шикарная, кстати, готова давно! Стыдитесь, мужчина!

Оба засмеялись.

Кира стояла в прихожей, терпеливо поджидая закопавшегося приятеля, и думала: «Странно! Мне вдруг стало с ним так легко и просто, как не было никогда! Ведь я всегда с ним робела, стеснялась его, понимала, что мне далеко до его женщин. Да и он меня, скорее всего, просто не замечал – принимал как приложение к Мишке, лучшему другу. Ну есть и есть, хорошо. Мишка со мной счастлив – отлично, что еще надо? Мы, кажется, никогда не разговаривали, даже оставшись наедине».

Как долго она раздумывала, стоит ли ей останавливаться у Зяблика! Как сомневалась! Верх, конечно, взял банальный расчет – гостиницы в столице стоили о-го-го! Выложить подобную сумму для скромной пенсионерки было почти невозможно. Решила, если будет неважно – найдет себе что-нибудь скромненькое и съедет.

Но Мишке точно было бы страшно приятно, что она остановилась у Зяблика.

Наконец он вышел в прихожую, и Кира ойкнула. Зяблик был гладко выбрит, подтянут, вполне прилично одет и источал запах одеколона.

– Ох, Зяблик! Ну ты как всегда! Такой же красавец, ей-богу!

– Ага, – смущенно отозвался он. – Ален Делон, не иначе. Ты это хотела сказать?

Вечер был теплым и тихим. Весна наконец окончательно укрепилась в своих правах. Распустилась сирень, и вовсю зазеленели деревья.

Кира уверенно взяла Зяблика под руку и шепнула:

– Спину! Выпрями спину и расправь плечи! – И с усмешкой добавила: – Делон!

Выбранный ресторан был далек от шикарного и пафосного – и слава богу. Но при этом был вполне милым и уютным. В полутемном углу тихо наигрывал гитарист – что-то спокойное, знакомое, умиротворяющее и расслабляющее.

Заказали закуску и красное вино.

О чем они говорили в тот вечер? Кира помнила плохо. Да обо всем, господи! Кира была оживленной и разговорчивой – болтала без перерыва. Конечно, сказывалось выпитое – пьянела она моментально. К горячему взяли еще бутылку – гулять так гулять.

Им было легко друг с другом. И, кажется, очень приятно.

Гитарист – на удивление – не раздражал. А когда он запел «Под музыку Вивальди», Кира расплакалась. Их с Мишкой песня. Пели они ее часто, когда собирались – всегда. Чудесная мелодия, чудесные слова. Все – по сердцу, все понятно и знакомо. И все про них – не очень удачливых, но точно счастливых. Одними губами, неслышно, она подпевала. Зяблик погрузился и притих, нахмурился.

Гитарист закончил, и Зяблик, грустно усмехнувшись, повторил:

– «И все мы будем счастливы когда-нибудь, бог даст». Да, именно так, когда-нибудь. Только когда – вот вопрос!

Кира, незаметно утерев глаза, повторила:

– Когда-нибудь. Бог даст, Лешка.

И они грустно, очень грустно, почти через силу, улыбнулись друг другу.

Только на улице, споткнувшись при выходе, она поняла, как здорово набралась. Зяблик подхватил ее под руку и укоризненно поцокал языком. Кира кокетливо вскинула голову: дескать, бывает, извини.

Долго бродили по почти пустым улицам – идти домой совсем не хотелось. Чудесный был вечер, чудесный. И все же устали и поймали такси. А вот в машине Киру сморило.

Дома, перед тем как попрощаться и разойтись по своим комнатам, Кира, смущаясь, повернулась к нему:

– Зяблик, прости, что я так напилась.

Он вскинул на нее удивленные глаза:

– О чем ты, господи? Подумаешь, дело! – И, чуть помолчав и отведя глаза, тихо добавил: – Спасибо тебе, Кир! Сегодня я ненадолго вернулся туда, где так давно не был, – в нормальную жизнь.

Кира промолчала, ей стало как-то неловко.

Улегшись в постель, обнаружила пропущенный звонок от Кати. Конечно же, не услышала в ресторане! «Балда», – отругала она себя. Глянула на часы – полдвенадцатого, даже для Москвы поздновато. Вспомнилось, что дома, в Германии, звонить принято до девяти вечера максимум, а после ни-ни. Решила перезвонить утром, но очень расстроилась – так ведь ждала этот звонок и на тебе, пропустила.

Ну и Катин характер. Теперь вообще может отказаться от встречи. Она такая, дай только повод. Да и эта квартира, камень преткновения, яблоко раздора. Они с Катей чужие. Только чужая бы так поступила. Правда, Мишка дочь изо всех сил выгораживал, всю вину взял на себя, дескать,

Кира ни при чем. Но Катя не поверила. И правильно сделала. Это Кира настояла на том, чтобы ей отказать. И всю жизнь, кстати, была уверена, что была абсолютно права. Мишка сомневался, а вот она – нет! И после конфликта, а затем и разрыва с Катей, когда Мишка сходил с ума от чувства вины перед дочерью, именно Катя перестала с ними общаться. То есть разорвала отношения окончательно.

После выпитого Кира не уснула. Такое было у нее свойство организма: после алкоголя – бессонница. А Мишка наоборот – выпивал бокал вина и тут же хотел спать. Кира ворочалась с боку на бок, подтыкала сбившуюся простыню, закутывалась в одеяло и понимала, что бесполезно – она не уснет. Ну, дай бог, к рассвету, и то в лучшем случае.

Конечно, дело было не только в алкоголе – вспомнился тот давний скандал с Катей, из-за которого, собственно, все и произошло.

Все случилось после смерти Кириной мамы. Мама ушла внезапно, если вообще так можно сказать о сильно пожилom человеке. Нет, все же внезапно, ничем таким страшным и затяжным она не болела. Кира приехала на похороны и, конечно, позвонила Кате. Та скупно выразила соболезнования и сказала, что на похороны приехать не может – дела. Ну, дела так дела – Кира не обиделась, все понятно: кто Кате ее мама? Никто. А вот то, что она не захотела повидаться, пусть ненадолго, Киру слегка удивило.

– Не сможешь? – уточнила она. – Я буду здесь еще неделю. Точно не сможешь? Знаешь, я все понимаю, я тебе не нужна. Но папа... Папа будет расстроен. Может, ради него ты все-таки выберешь время?

Катя ответила коротко:

– Подумаю.

Ну и ладно, в конце концов ее право.

Через два дня, поздно вечером, после похорон, созвонились с Мишкой. Мужа своего знала отлично. Улавливала все по малейшим интонациям, по молчанию, по вздоху, по взгляду. И сейчас чувствовала: он что-то недоговаривает.

– Мишка, что-то случилось? – допытывалась она.

Он довольно долго отнекивался, ну а потом раскололся. Оказалось, все просто – Катя попросила его отдать ей квартиру. Нет, конечно, не подарить – что она, сумасшедшая? Отдать на время. Пожить. Потому что с мамой жить невозможно, невыносимо. Мама лезет во все, буквально во все: все контролирует, комментирует, во все сует нос. Мужа Катиного она возненавидела сразу, с первой минуты. Ну и пошло-поехало. В доме

сплошные скандалы – ни дня без строчки, как говорится. Жить невозможно. Не разъедутся с мамой – разойдутся с мужем, все к этому идет. А мужа Катя любит. И если он уйдет... Нет, не дай бог! Катя этого не перенесет. Да и ребенок, Ксенька! Ребенок останется без отца. В общем, ситуация безвыходная – на съемную квартиру денег нет.

Мишка почти выпалил все это, скороговоркой, одним предложением. И испуганно замолчал. Молчала и Кира. Ну а потом все сказала, как говорится, начистоту, без утайки и реверансов. Как Катя никогда не любила ее, как отказалась увидеть ее, Киру, – даже сейчас, когда ей так тяжело. Могла хотя бы по-дружески, по-человечески поддержать ее в такой тяжелой ситуации. Да бог со всем этим, в конце концов Кира взрослая женщина и это переживет. Но отдать квартиру? Да с какой, собственно, стати? Когда сейчас впервые у них наконец появилась возможность обрести свой собственный угол? Продать квартиру в Жуковском и купить что-то во Франкфурте? Им уже хорошо под пятьдесят. И никогда – никогда! – у них не было своего угла. Всю жизнь по чужим квартирам, на чужих кроватях и кухнях. Как Катя могла такое предложить? В конце концов, Мишка оставил ей и ее матери квартиру – свою, между прочим, свою! Пусть разъезжаются, размениваются. Да что угодно! Нина приезжая, но всю жизнь прожила в собственной квартире в прекрасном районе. А они с Мишкой? Нет, ни за что и никогда. Кира была настроена решительно и безапелляционно.

– Никогда, слышишь? Да и наглость это, прости, просить о таком! Мало мы намучились, мало надергались, мало настрадались. Нет и нет, все, точка. Точка, ты меня слышишь?

Мишка слышал и – молчал. Ну а потом что-то промямлил, вроде:

– Ты права, но... Может быть, на время? Ну на полгода хотя бы? А там что-нибудь придумаем, а? Нет, я все понимаю! Да и квартира твоя...

«Как всегда, – со злостью подумала Кира. Как всегда – миротворец. Ни с кем неохота ссориться, всегда ищет компромисс. Всегда по-хорошему – это его постулат. Но здесь «по-хорошему» не получится – уж извините! У меня своя жизнь и свои проблемы. И я буду их решать. И мне кажется, я имею на это полное право».

Киру колотило от возмущения. Во-первых, просить об этом Катя должна была Киру, хозяйку квартиры, а не действовать через отца. Во-вторых, она должна была с ней повидаться. Или хотя бы позвонить. Ну а в-третьих, решать свои проблемы за счет других некрасиво и подло. Да и потом, Кира понимала, что полгода могут растянуться на много лет. Только запусти! А как потом выгнать, как попросить? Да никак. Будет еще хуже. Это наивный Мишка так думает, а на деле так не бывает. Попросили –

пустили. Родня! Что такое полгода? Да миг! А как быть потом? Нет и еще раз нет! Она этого не допустит.

Катя ей так и не позвонила. По возвращении Кира боялась разговора с Мишкой, но никакого разговора не было – стало понятно, что на эту тему муж говорить не хочет. И, конечно же, понимает, что Кира права. В общем, замяли. Но больше Катя с отцом не общалась. К телефону не подходила и на письма не отвечала. Обиделась сильно и, видимо, надолго. Спустя несколько месяцев Кира ей написала, Мишка об этом не знал. Все разложила по полочкам, по крупинкам. Получилось доходчиво и, кстати, честно – как есть. Просила не обижаться на отца – он очень страдает. Вину взяла на себя. Но Катя ей не ответила. Ну и ладно. В конце концов она попыталась исправить ситуацию. Почти извинилась. Но ее извинения не приняли. Вот так банальнейшая житейская ситуация разорвала отношения отца и дочери.

Мишка, конечно, страдал, но виду старался не подавать – ему было неловко. О своем письме Кира ему не сказала. Может, и зря. Но не хотелось его в очередной раз огорчать.

Изредка он позванивал Нине, Катиной матери, узнавал, здорова ли дочь. Нина отвечала скупой и короткой. Обида ее так и не прошла.

А через восемь месяцев квартиру в Жуковском продали – им повезло, кстати: цены тогда были неоправданно высоки. А еще через полгода они купили квартиру. Свою первую квартиру. Свою! И были, конечно, счастливы.

Мишка говорил, что у них снова начался медовый месяц. А Кира, смеясь, отвечала, что у них медовая жизнь. Правда, мед бывает разный – и горький в том числе. Кажется, горный? Или каштановый? Она точно не знала.

Мишку она жалела, Катю осуждала и злилась на нее – да кто она ей, в самом деле? Положа руку на сердце, Кира переживала не по поводу Катиных неудач, а за мужа. Но переживания ее быстро закончились – радость от новой квартиры затмила все.

Как тщательно они подбирали свое первое в жизни жилье! Как не ленились ходить на просмотры – полгода почти ежедневно, без капли раздражения или усталости. Ну и наконец выбрали – Остенд считался недорогим, но вполне приличным районом.

Была осень, и под окнами их квартиры густо желтели и краснели клены – резные листья можно было тронуть рукой, только открой пошире окно!

Прежний хозяин оставил и кое-какую мебелишку – например, деревянный комод голландского производства, несколько стульев, обитых потертым зеленым бархатом, и узкий, высокий книжный шкаф, небрежно заваленный книгами на немецком – куча пособий по квантовой механике и, как ни смешно, пособия по кулинарии. Книги, конечно, вынесли – что с ними делать? Квантовая механика не входила в число их увлечений, как и кулинария на немецком.

Кира тогда совсем перестала спать по ночам – кружила, бродила по квартире, как призрак отца Гамлета. Не включая света, проводила ладонью по поверхностям мебели, по подоконникам, подолгу стояла у окна, вглядываясь в темноту улицы. И гулко стучало от счастья сердце.

И всего этого ее хотели лишить? Нет, господа! Нет и нет. И ни за что!

Когда Мишка заболел и врач честно предупредил Киру, что времени осталось совсем немного, месяца четыре, не больше, она, конечно, позвонила в Москву.

Было жаркое лето – Европа горела и подыхала от зноя и засухи. А в Москве лили бесконечные дожди. Трубку взяла Нина и сухо, совершенно без эмоций, выслушав Киру, ответила, что Кати и внучки в Москве нет, они отдыхают.

– Далеко? – допытывалась Кира. – Но с ними же должна быть связь?

Помолчав, Нина ответила, что да, далеко, где-то на Северном Кавказе, у бабушки подружки. Кажется, в Осетии или в Дагестане, нет, в Дагестане – на море. В Осетии же моря нет?

– Но мы, – Нина запнулась, – мы не созваниваемся. Плохая связь. Горное село и все такое.

Кира поняла, что отношения у Нины и Кати по-прежнему плохие. Ничего не поменялось за эти годы. Так и грызут друг друга, словно мыши в тесной норе. Впрочем, нора, оставленная бывшим мужем, не была так уж плоха – по крайней мере, куда просторней, чем их квартирка в Остенде.

– Приедет – конечно же, сообщу, – неуверенно пообещала Нина и, помолчав, все-таки спросила: – А что, все так серьезно?

Кира, еле сдерживая рыдания, выдавила скупое «да» – без подробностей. Да и зачем им подробности, скажите на милость?

Был июль, и впереди, по уверениям врача, оставалась еще осень. Последняя осень в их жизни.

Но к концу августа Мишке стало хуже, и его увезли в бургер-госпиталь. Двадцать второго сентября его не стало, общей осени у них не случилось.

Катя позвонила в начале октября и, услышав короткую Кирину фразу:

«Ты опоздала», с нескрываемым раздражением буркнула что-то по поводу дочки – корь или ветрянка, какая-то ерунда по сравнению с тем, что отца больше нет. Разговор окончился ничем. Катя не спросила подробности о смерти отца, Кира не задала ни одного вопроса о жизни Кати.

Казалось бы, все было закончено. Мишка ушел, и отношения с Катей оборвались окончательно. Кира была уверена, что Кати, Нины и Ксении в ее жизни больше не будет. Но нет, все оказалось не так. Оставалось еще то, что муж просил непременно сделать – выполнить его последнюю волю, передать Кате его прощальное письмо и колечко с гладким и мутным темно-зеленым изумрудом. Кольцо его матери, Катиной бабки Ольги, с которой встретиться им не довелось.

Колечко было так себе, красоты никакой. И ценности наверняка тоже. Старинное? Наверное. Но ерунда, а не колечко, это было понятно. Ценность оно представляло только для Мишки – кольцо его матери, доставшееся той от ее бабки.

Кстати, он спрашивал, знает ли Катя о его болезни? Конечно, Кира врала – нет, Катя не знает, они с дочкой в отъезде, черт-те где, без связи, сообщить ей невозможно. Да так и было на самом деле.

И Мишка тогда успокоился – ему было легче принять то, что дочь ничего не знает, чем то, что она отказалась приехать. В августе он еще спрашивал про дочь, а в сентябре уже нет – сознание его было плавающим, нечетким и спутанным.

Катя, удивив Киру, позвонила утром следующего дня, спросила, не может ли Кира подъехать к ней. Да, домой! А что тут такого? Ксюха болеет, и оставить ее нельзя, невозможно – температура под сорок.

Кира ее перебила:

– Да, Катя! Конечно! – И, чуть помолчав, осторожно спросила: – А ты считаешь, что это... Удобно?

Катя усмехнулась:

– А, вы про маму? Не беспокойтесь – ее нет в городе.

Ну и договорились – к часу дня, к ним домой. Хорошо.

Кира торопливо выпила кофе – Зяблик, кажется, спал. Написала ему записку, удостоверилась, что колечко и письмо в сумочке, на самом дне, и вышла из дому.

По дороге купила фруктов, коробку конфет и коробку пирожных – красивых до невозможности, похожих на глянцевые пасхальные свечи.

Квартира находилась в хорошем районе: золотая миля, кажется, это так здесь называется? Малая Грузинская, когда-то там жил Высоцкий. Восьмой этаж, налево от лифта – Кира помнила. Была она здесь дважды – конечно,

оба раза ни Нины, ни Кати дома не было.

Зашли они по каким-то делам – кажется, Мишка искал документы. Ничего у них там не было и быть не могло. Но все равно осталось отвратительное чувство, что она без спроса, по-воровски ворвалась в чужую жизнь.

У двери Кира перевела дух и позвонила. Удивилась, что колотится сердце. «Волнуюсь?»

Дверь открылась, и на пороге квартиры возникла Катя.

Она, конечно, изменилась, а что удивительного? Прошло много лет, Кира знала ее почти ребенком, потом строптивым подростком, а сейчас перед ней стояла взрослая, много чего повидавшая женщина – разведенная и имеющая дочь.

Катя была явно смущена и отводила глаза.

Кира прошла, разделась.

– Куда, Кать? На кухню?

Катя кивнула. Наша вечная привычка – на кухню! На кухнях нам определенно уютнее и как-то проще – и чайничек под рукой, и банка с кофе. Советская кухня церемоний не предполагала. «Воистину кухня для русского человека – все!» – подумала Кира.

Кухня была небольшой и запущенной, неухоженной. Холостяцкой. Старая мебель – еще с тех, давних времен. Кира помнила этот пластиковый гарнитур – кажется, из семидесятых годов, купленный еще Мишкиной мамой. Потертый линолеум, почти потерявший свой цвет, старая плита и маленький холодильник – наверняка ровесник всему остальному.

«Странно, – подумала Кира, – неужели все так печально? Ну хотя бы раз в жизни люди меняют кухонный гарнитур? Или плиту? А холодильник? Конечно, меняют! Неужели такая беспросветная бедность? Или просто равнодушие к быту, неряшливость и нежелание что-то улучшить?» Кира вспомнила, что Мишка смеялся над ее неуклюжими хозяйственными потугами: «Не волнуйся, я привык! Нина тоже меня не баловала. Ну, если только вначале». «Не повезло тебе с женами», – шутила Кира. Мишка искренне удивлялся: «Что ты, Кирюша? Мне сказочно повезло – уж с тобой точно!»

Наивный и смешной был ее Мишка, ее некапризный и непритязательный муж.

Катя включила чайник и открыла коробку с пирожными и конфетами, хмыкнула, удивившись их искусственной красоте. В глазах ее читалось: «Такое бывает?»

– Чай? – спросила она.

Кира кивнула. Почему-то она подумала, что кофе в доме может не быть.

Неловкость и смущение висели тяжелым туманом, как в сильно накуренной комнате.

Катя по-прежнему не смотрела Кире в глаза, Кира покашливала, крутила на пальце кольцо, и разговор не клеился, не начинался.

«Скорее бы это закончилось! – думала Кира. – Зря я все это затеяла. Надо было сделать умнее и проще – все передать через Зяблика. Ну или просто накоротко встретиться у метро: здравствуй, Катя. Это тебе от отца. Сунуть конверт и тем самым облегчить жизнь и себе, и ей».

Ну да ладно, время не течет – бежит. Чашка чая, разговор ни о чем, например, о погоде, и все. До свидания. Точнее – прощай навсегда.

Никогда больше она не увидит эту угрюмую и нелюбезную молодую женщину, не усядется напротив, не станет пыжиться и подыскивать фразы, источать любезности и «делать вид». Сегодня и все, все. Все!

Но зато на свободу с чистой совестью. Последнюю Мишкину волю она исполнила.

Но как поскорее хотелось вырваться из этой захламленной и душной квартиры!

Наконец Катя налила чай, и Кира начала разговор.

– Ну, как вы живете? – осторожно спросила она.

– Да как-то так... как все, наверное. Ну, или как большинство.

– Работаешь? – осведомилась Кира.

– Куда деваться? – усмехнулась Катя. – Есть что-то надо.

Где и как – Кира не уточняла: понимала, что вряд ли услышит хорошее.

– Как Ксюша?

– Тяжело, если честно. Переходный возраст – тринадцать лет. Сейчас они такие... Кошмар.

– Ну и мы тоже подарками не были, – улыбнулась Кира, – и я, и ты!

Сказала и испугалась. Как суровая Мишкина дочь воспримет ее слова? Поймет ли шутку? Вот начнет сейчас вспоминать свою детскую травму и безотцовщину!

Но этого не случилось. Катя, как ни странно, улыбнулась.

– Ну, а как вы? – спросила она и слегка покраснела.

Кира махнула рукой.

– Что я, Катя? Пенсионерка. Практически списанный материал. Живу как-то. Ковыряюсь, копаюсь. Все незначительно, мелко – и заботы мои, и привычки. Знаешь, возраст, усталость. Да и после смерти Миши мне

многое стало неинтересно.

Она снова испугалась своих слов и коротко глянула на Катю.

Та побледнела.

– Я понимаю. Знаете, всем как-то невесело. Мне вообще кажется, что люди сейчас мало радуются, что ли? Я вот на лица смотрю – а на них написано: не подходи. Не подходи – мне и так плохо. Мне тяжело, у меня проблемы, мне все надоели. Я устал. Нет, не так? Я не права?

Кира смутилась.

– Ну... я не знаю. Разные люди, разные лица. Но в целом, – она спохватилась, – ты, кажется, права. Мир немного, увы, перевернулся и стал тревожным и беспокойным.

«Про отца не спрашивает, – мелькнуло у нее. – Боится или неловко? Чувствует свою вину или по-прежнему в большой обиде на него?»

– Послушайте! – вдруг оживилась Катя. – А давайте с вами выпьем? Ну так, по чуть-чуть? У меня есть коньяк! Еще с дня рождения. – И она опять покраснела.

Кира обрадовалась: вот и выход! Конечно, после пары рюмок станет проще.

Катя торопливо выскочила из кухни и вернулась с початой бутылкой. Выпили быстро и как-то обрадованно. Катя наливала уже по второй.

Неужели любит выпить? Вполне может быть. Жаль. Но похоже – серая кожа, потухшие глаза. Бедный Мишка! Слава богу, он ничего не узнает.

После двух рюмок Катя порозовела и оживилась.

Нет, про отца она по-прежнему ничего не спрашивала, но Кира за это ее не осудила. А говорить начала торопливо, словно боясь пропустить что-то важное:

– Мама? Да ее давно нет в Москве! Да, да. Четыре года назад она уехала. Куда? В монастырь. Вы не ослышались, нет, мама ушла в монастырь. Сначала послушницей. К вере пришла лет семь назад. Говорила, что осознала свои ошибки. Мне поначалу не верилось, если честно. Мама и осознание? Мама и чувство вины? Нет, невозможно. Знаете, – Катя запнулась, – я ведь тогда ее ненавидела. Началось все с того, как ушел отец. Она всегда его поносила, когда еще он жил здесь, с нами. Мало денег, ни на что не хватает – это вечный рефрен, по жизни. Она ничего про него так и не поняла: он другой! Он вообще с другой планеты, ей недоступной. Все ведь у них получилось случайно – приезжая девочка, тихоня и скромница, совсем одинокая в огромном городе. И он сирота, никого. Вот и встретились два одиночества. А единым целым так и не стали – слишком разными были. Несовместимыми. Нет, я потом и ее

поняла – после всей ее бедности, голода в селе и лишений: пара сапог на трех сестер – в школу ходили по очереди – вдруг столица! Машины, дома. Нарядные люди. И голова закружилась. Как и ей всего этого хотелось, можно понять. И поначалу ей показалось, что все получилось: хороший, непьющий и образованный муж, прекрасная квартира. Даже свекровь отсутствовала – вот ведь сvezло! Никто не запилит до смерти, никто не попрекнет, что приезжая. Да, муж зарабатывал мало, но, может быть, позже что-то изменится? Но не изменилось. А хотелось ей многого – вокруг сплошные соблазны! А у него одна работа на уме, одна наука. Ничему не завидовал, ни к чему не стремился. «Какая машина, Нинуль, когда есть метро? Ремонт? А зачем нам ремонт? И так все хорошо и даже отлично!» Отлично, ага! Нет, вы посмотрите! А ему все хорошо, его все устраивает – и мебель эта, старая и вонючая. Нет, правда – пахло от нее каким-то лежалым старьем, как в ее отчем доме, в деревне. Обои эти. Мать от них тошнило. Прямо настроение портилось, когда падал взгляд на всю эту рухлядь. А ему опять хорошо: «У нас так уютно, а, Нин? Да и мама... Мама так это кресло любила!» А кресло это... Да мрак! Нет, он точно блаженный. И увлечения у них были разные – гитару его дурацкую она ненавидела. Как только он брал ее в руки – врубала пластинки. Всякие там «Песняры», «Голубые гитары». Отец морщился и уходил. А книги? Как она ненавидела его книги, этот самиздат, пачкающий пальцы. Последние деньги ведь тратил на это дерьмо! А знаете, что она однажды сделала? Нет? Отец вам не рассказывал? Стеснялся, понятно. И я бы не рассказала, с каким монстром живу. Так вот, отец принес в дом Солженицына, перепечатку, конечно. Дали ее ему на несколько дней. А Нина Ивановна... Ну, вы догадались? Ага, порвала. Порвала и сожгла, как вам, а?

Я помню, как отец плакал, назвал ее чудовищем. А она злорадно смеялась. Слава богу, не грозила донести на него. Хотя, если честно, я бы не удивилась. Они не просто были разными – они были невозможно противоположными, несовместимыми, нестыкующимися. Во всем. И как они прожили почти семь лет? Не понимаю.

Он мучился, страдал – из-за меня в том числе. И она страдала. Конечно, страдала – думала, что ничего в жизни не вышло, ничего не сложилось. И я страдала – все понимала. А потом появились вы. И это отца спасло. Иначе... – Катя замолчала и махнула рукой.

Кира вздрогнула. Уж чего-чего, а этого она точно не ожидала! Господи, какой поворот! Нет, невозможно.

А Катя жарко продолжила:

– Да, да! Я была почти счастлива, когда вы появились! Честное слово!

Да потому что все понимала – останься отец с нами, случится что-то ужасное. Я страшно тряслась за него. Но когда он ушел и мы с мамой остались одни, стало еще ужаснее. Мама совсем слетела с катушек. Истерила, сводила меня с ума, пробовала поддавать, правда не получилось. У нее была странная для деревенского человека реакция на алкоголь – после первой рюмки ей становилось плохо. Работу свою она ненавидела, отцу посылала проклятия, ну и на мне отрывалась по полной. А в общем... Несчастливая глупая и одинокая баба. Это я потом поняла.

Естественно, я ее ненавидела. И, конечно же, ни в чем себе не отказывала. Подростком была дерзким, непредсказуемым. Хлестала словами, как пулями: «Это ты, это из-за тебя! Ты сумасшедшая, психопатка! Он правильно сделал, что сбежал от тебя. И я бы сбежала, только куда?» Ну и так далее.

И замуж я выскочила, чтобы избавиться от нее – мне казалось, что после замужества она оставит меня в покое. Но как бы не так – какой, к черту, покой, если мы продолжали жить вместе? Муженька моего она кляла похлеще отца: и ленивый, и бессовестный, и наглец, и бедняк. И свинья безответственная.

Я, конечно, тут же, как Матросов, на амбразуру. Мужа своего защищала, отстаивала – как же, жена! Но на самом деле, – Катя грустно посмотрела на Киру, – мама была права. Именно таким он и был – ленивым и безответственным, наглым и неряшливым. Чистая правда. Открылось это почти сразу, но я продолжала его защищать – наверное, назло матери, только чтобы ей насолить.

Катя молча раскуривала сигарету.

– В общем, жизнь у нас была... Ад, а не жизнь, если честно.

Вот тогда я и... Ну, вы поняли. Это насчет квартиры.

Кира кивнула.

– Я, дура, все списывала на мать. Дескать, съедем, и начнется райская жизнь. Ага, как же. Ничего бы не изменилось, поверьте. Из хама не сделаешь пана. Но я упорствовала. Скорее всего, мне нужно было найти виноватых – сначала мать, ну а потом... вас. Вас и отца. Но мне не стало легче. Сплошная тоска.

– Столько лет прошло, Катя, – тихо сказала Кира, – что вспоминать? Все мы, знаешь ли, ошибались. Все давно быльем поросло, успокойся.

– Поросло, это верно. Только с отцом своим я перестала общаться. И даже не попрощалась. Да и вообще, сколько же тогда во мне было злости – мировой океан! Я ненавидела всех – ее, свою мать. Мужа своего ублюдочного. Отца, бросившего меня. Ну и вас – заодно.

– Нормально! – отозвалась Кира, желая как-то утешить эту несчастную, так и не выросшую девочку. – Это нормально. Знаешь, как я в таком возрасте презирала своих родителей? А у меня, между прочим, была вполне благополучная семья! Никто никому не изменял, никто ни от кого не уходил, детей не бросали, пьяницами не были. Типичная, среднестатистическая советская семья, даже почти образцовая. Папа – военный, мама – училка. Компоты там всякие, соленые огурцы. Капуста ведрами – витамины! А меня трясло от них, как будто подключили к розетке. Просто колотило, веришь? А что, спрашивается, они делали плохого? Да ничего. Жили убого? Так все так жили. Честные, порядочные трудяги. Обыватели, мещане? Конечно. И что? За что их было так презирать? За то, что я хотела жить иначе? Знаешь, я их очень стеснялась, а теперь вот стыдно, казнюсь. Всегда считала их скрягами, а они просто боялись. Всего боялись: обмена денег – такое ведь было, – увольнения, пенсии.

Но когда мы собрались уезжать, отдали нам почти все, что собрали. При том, что отец был коммунист и ничего не хотел замечать: «Все у нас в стране хорошо! Да, есть какие-то сложности, неполадки, но в целом все замечательно». И уж, конечно, эмигрантов, «предателей родины», презирал от души. А вот меня, изменницу, удерживать не стал... и почему, интересно? Загадка.

Катя, уткнувшись в столешницу, молча водила пальцем по клеенке.

Кира увидела, какие неухоженные, совершенно неженские у нее руки – мальчишеские, подростковые, с коротко остриженными ногтями, с заусенцами и цыпками.

Эта молодая и, кстати, довольно хорошенькая женщина по-прежнему казалась хмурым и нелюдимым подростком – недолюбленным, обманутым, использованным и преданным.

Эх! Привести бы ее в божеский вид – подкрасить, сделать хорошую стрижку, маникюр, научить пользоваться косметикой и кремами, привести в порядок кожу на руках. Чего уж, господи, проще? Ну и приодеть, конечно же, – эти безразмерные портки, эта линялая майка. Эти тапки – нет, все понятно, домашний вид. Но Кира не сомневалась, что и уличный вид ее падчерицы мало чем отличается от домашнего. А выражение лица? Кто посмотрит на женщину с поджатыми губами, сведенными бровями и недобрым взглядом? Никто. Жаль. Очень жаль. У Кати приличная фигура, хорошее лицо и прекрасные волосы. Но ведь не скажешь об этом! Тем более – ей, Кире! Какое она имеет право учить Катю жизни? Чужая тетка.

И вдруг ее сердце заволокло необъяснимой жалостью к этой угловатой

и нелепой женщине-подростку, одинокой, обиженной и не очень счастливой. Чужой и сейчас почти незнакомой.

Чужой?

Но это была не только жалость – это была еще и... – Кира вздрогнула. – Нежность?

Ее обдало жаром, и она резко расстегнула дрожавшими пальцами пуговицы на блузке.

– Катя, Катечка! – хрипло сказала она. – Девочка! Да все нормально! Вот видишь, мы с тобой все-таки встретились! И даже поговорили! И все у нас хорошо, правда? И папа, – Кирина голос дрогнул, и она с трудом проглотила сухой и твердый комок, застрявший в горле, – и папа все это видит! Ну или чувствует – я не знаю. Не понимаю, как там все это... устроено, как происходит! Но то, что там, наверху, что-то есть... – От волнения она закашляла и смутилась от своих нелепых и несурзных фраз. Такие рассуждения были ей совсем не свойственны.

Катя всхлипнула и кивнула:

– Я тоже... не знаю, что там. Но хорошо бы, чтобы он знал. Кира, скажите, он тяжело уходил?

– При такой болезни уходят всегда тяжело, – горько вздохнула Кира. – Там, у нас, все гуманно, страдать от болей не дают. Но все равно тяжело.

Катя молча кивнула.

– Чаю еще хотите? – не поднимая глаз, спросила она.

– Да бог с ним, с чаем. Ты мне про Ксению расскажи, что она, как? Ну и про маму, если ты, конечно, не против!

Оказалось, что с дочкой отношения были хорошими – Катя отлично помнила все свои детские комплексы и обиды и очень старалась, чтобы это не повторилось с ее дочкой. Бывший муж был вычеркнут из жизни раз и навсегда – денег не приносил, дочку не видел. Дерьмо, а не человек.

Мама... Вот с мамой вообще приключилась странная история.

Пять лет назад Нина серьезно заболела – вернулась старая, казалось, давно отступившая болезнь. Ну и, как часто бывает, болезнь привела ее в церковь. Катя относилась к этому скептически – ну, во-первых, сама она в бога не верила и все отрицала, а во-вторых – это касалось именно матери, – она категорически не верила ни в ее искренность, ни в какой бы то ни было положительный результат. Нина стала ездить на богомолье, паломничала, завела новых друзей, по воскресеньям выстаивала долгие службы и даже взялась работать при храме – с усердием мыла полы и чистила овощи в трапезной.

Кате, конечно, так было спокойнее – мать, что называется, при деле и

от них с Ксенькой почти отстала. Да и из дому стала частенько отлучаться – тоже приятно. Ну а через два года Катя заметила, что мать начала меняться. Даже не так – Нина стала другим человеком. Не было больше претензий и скандалов, она сделалась тихой, задумчивой, мягкой – словом, блаженной.

Катя и Ксенечка иногда испуганно переглядывались, когда Нина выдавала такое, что они просто терялись.

Слава богу, болезнь отступила, и врач отпустил Нину на год.

И вот однажды она позвала дочь на разговор. Нина просила прощения – у дочки, у бывшего мужа, у внучки. Она не плакала – взгляд у нее был чистый и ясный, почти безмятежный. Плакала Катя – от неожиданности, от удивления, от перемен в матери. А от ее просьбы ее *отпустить* совсем растерялась.

– Отпустить? Куда? – испуганно бормотала Катя. – Как это – отпустить? Навсегда?

– Да, навсегда, – спокойно и радостно ответила Нина. – Отпустить в монастырь.

Конечно, придя в себя, Катя ее не отговаривала – какое она имела на это право? Осторожно спросила, хорошо ли та подумала.

Нина, увидев понимание дочери, расцвела, расслабилась и принялась с жаром рассказывать дочери о Коробейниковском монастыре, о своем «новом доме», куда она так стремилась.

– Алтайский край? – удивилась Катя. – А почему так далеко? Неужели не было ничего ближе?

Оказалось, что мать там была в паломничестве и там, в Богородице-Казанском, в Коробейникове, на нее *сошла благодать*.

– Мое место, мое, доченька! – с жаром рассказывала она. – Как вошла туда, так почувствовала!

Оказывается, решение было принято давно.

– Только все не решалась сказать тебе, отпроситься. Боялась, – торопливо и смущенно призналась она.

– Боялась? Чего? – удивилась Катя. – Как я могу тебе запретить?

И Нина, расплакавшись, снова начала просить прощения и сетовать, как много она дочке должна. Вот что ее мучает – имеет ли она право? Имеет ли право оставить дочку и внучку и уйти?

– Впервые, – тихо сказала Катя, – впервые мы разговаривали. Просто разговаривали, и все – обо всем. Просто о жизни. И я впервые относилась к ней как к матери, а не как к врагу. Без опаски, понимаете?

Я никогда не верила, что человек может так измениться. Церковь и все прочее вызывало у меня опаску. А уж что касается моей матери... Нет,

невозможно. Тогда я думала так: ну да, болезнь. Тяжелая болезнь. Одиночество. Нужны какая-то соломинка, нить, чтобы удержаться на этом свете. Вера во что-то. Но чтобы человек так изменился? И не просто изменился – стал совершенно другим? Да бросьте! Тем более моя мать. Я смотрела на нее во все глаза, слушала торопливый рассказ про ее детство, юность, молодость. Про приезд в Москву, знакомство с отцом, мое появление. И в моем сознании что-то переворачивалось, вставало с головы на ноги. Я видела несчастную, одинокую приезжую девчонку, растерянную и испуганную. Почти наяву видела комнатку в общежитии парфюмерной фабрики – с тараканами и клопами, с вечно холодными батареями, на которых не сохли даже трусы. Ее соседок по комнате, ушедших и хорошо поживших лимитчиц, без стеснения приводящих в общую комнату, на скрипучую кровать, кавалеров. И ужас матери, затыкавшей ватой уши, чтобы, не дай бог, не услышать.

И бесконечный портвейн по выходным – девчонки *отмечали*. Что? Да какая разница? Все подряд – День колхозника, День учителя, ноябрьские, Женский день, выходные, Люськины месячные – общую радость. Я словно услышала пьяные песни и увидела пьяные ссоры и вечные кухонные разборки. И почувствовала зависть и ревность, которыми был буквально пропитан воздух в убогой комнатенке. Все человеческие пороки проявлялись здесь одновременно, потому что когда жизнь убогая и нищая, все всплывает на поверхность, как дерьмо.

И тут отец – скромный, симпатичный, москвич, воспитанный, интеллигентный. Такой никогда не станет распускать руки, как парни из общежития. Конечно, она влюбилась. А кто б устоял? У отца к тому же была квартира. Как же ей завидовали подружки! Но – как его *обженить*? Он не торопится – зачем ему торопиться? Ну и, послушав разговоры ушедших подруг, она решилась. Попалась довольно скоро – дело нехитрое – и предъявила ему эту новость. Правда, дрожала как осиновый лист: а вдруг не получится? Но получилось. Правда, будущий папаша растерялся и онемел, но в чувство скоро пришел: так – значит так. Пошли подавать заявление.

Сказано это было, надо заметить, без особой радости, но разве дело в этом? Дело в результате, вот в чем.

Через месяц их расписали по справке.

И Нина Кожухова, уроженка деревни Горохово, из общаги на улице Павла Андреева въехала в собственную двухкомнатную квартиру в центре и окончательно стала москвичкой.

Задумывалась ли она о том, любит ли он ее? Кажется, нет. Так глубоко

не копала. Да вроде бы любит. Отчего ее не любить? Симпатичная, стройная, светлоглазая. Печет пироги, чистюля: вон как сарай этот, квартиру его холостяцкую, отдраила – и не узнать!

Жить да жить бы и добра наживать. Но почему-то не получалось...

Скоро Нина поняла – Миша не из тех, кто заботится о семье. А заботу Нина понимала так: налаженный и сытый быт. Денег он приносил мало, а вот книг покупал много. Отдых на море, например, не понимал – куча народу, несуетная жара, на пляже некуда приткнуться и положить полотенце, комната душная и убогая, а уж про общепит и говорить нечего – в столовку очередь часа на два, есть расхочется. Мишка не был капризным, но в этом случае сопротивлялся. Для него лучшим отдыхом были палатка на берегу реки или озера, грибы и рыбалка, гитара и книга – все как всегда. Словом, расхождения у них были по любому поводу и даже без. Скоро Нина поняла, что мужчина ей нужен попроще. А куда деваться? Ребенок, квартира. В общем, терпела. Жили они, как плохие соседи. Правда, ребенка Мишка любил да и от нее, Нины, ничего не требовал.

А потом у него появилась женщина. Нина сразу поняла: что-то нечисто. Поначалу в голову не брала и ревновать не ревновала – подумаешь!

А когда поняла, что там все серьезно, здорово испугалась – конечно же, из-за квартиры! В лучшем случае придется разменивать. Ну и достанется им, тоже в лучшем случае, однушка в дальнем районе. А Катька растет. И как Нине устроить жизнь в однокомнатной квартире? С Катькиным-то характером? Да никак. Эта уж точно никого не потерпит – папашу любит до смерти! И в кого уродилась такой? Стерва просто.

Но вышло все иначе. Квартиру муж разменивать не стал, а просто в одночасье ушел. Да, благородство его она оценила, но понимала – это сейчас, на сегодняшний день. А что будет завтра? Ну допустим, та баба родит? Или просто начнет требовать размена? Нина на ее месте действовала бы именно так.

Но снова ничего не произошло. Ни та баба, ни бывший муж по-прежнему ничего не требовали. И Нина наконец успокоилась. Правда, несмотря на наличие двух комнат, личную жизнь устроить так и не удалось – не везло. Были пара романчиков – так, ни о чем. Один был женат, а второй поддавал.

С дочкой отношения не складывались, и чем дальше, тем хуже. Ругались по-страшному. В уходе отца из семьи дочь, конечно, обвиняла ее.

Нина прекрасно понимала, что с каждым годом она превращается в окончательную неврастеничку. Ну и в конце концов заболела – не даром

говорят, что все болезни от нервов. А когда услышала свой диагноз, накрыло такой беспросветной тоской, таким горем и ужасом, что решила: жить больше не хочет. И бороться не хочет – пошли вы все! Даже про дочку не думала – проживет! К тому же Катька давно выросла, сходила замуж, родила дочку, развелась, но по-прежнему скандалила с матерью. А разве Нина была не права, когда говорила, что Катькин муж – сволочь?

По ночам Нина раздумывала, как бы попроще уйти из этой постылой жизни. Да, грех – понимала. А сотворить с ней такое? Не грех? На нее все наплевали, и она наплюет.

А однажды в феврале, в разгар страшных, до тридцати, морозов, она шла мимо церкви. Первая мысль – зайти, чтобы согреться. В бога никогда не верила, над бабкой своей деревенской, когда та молилась, насмехалась – как же, пионерка, а потом комсомолка.

И зашла – правда, подумала пару минут, засомневалась. Даже споткнулась на пороге. Встала тихонечко, сбоку. Шла служба. Неуверенно зажгла тоненькую, самую дешевую свечку.

– На что ставишь? – шепнула ей какая-то бабка.

Нина совсем растерялась и пожала плечами.

– Да не знаю... Не понимаю я в этом.

Бабка посмотрела на нее пристально, с прищуром:

– Болееешь, дочка? Бледная вон! Тогда ставь Пантелеймону-целителю, за здоровье. – И подвела ее к иконе, с которой строго смотрел темный лик. Ничего доброго Нина в нем не увидела. Помочь ей поправиться? Окончательно выздороветь? Бред и ерунда.

Но службу достояла, хоть и было тяжело. Но когда слушала пение хора, размеренный голос батюшки и уловила тонкий запах воска и ладана да и вообще согрелась, стало ей впервые спокойно и хорошо.

Вышла из храма и медленно пошла, не замечая мороза. Шла долго, не обращая внимания на озябшие руки, – даже варежки не надела. И думала. О чем? Трудно сказать. Шла как заторможенная, сама не своя. Доехала до дому и в ту же ночь в голове что-то перевернулось.

Нина стала ходить на службы.

Катя видела перемены в матери и пугалась – присматривалась к ней, но ничего не спрашивала. Кстати, о диагнозе своем Нина ей не сказала – зачем? Начнет уговаривать лечиться. Спустя два месяца Нина легла на операцию. Операция прошла успешно. Дальше было долгое лечение, реабилитация, ей объявили, что она почти здорова. И вот тогда на ошарашенную Нину нашло прозрение – как она жила все эти годы? Как относилась к бывшему мужу? Как упустила его? Почему не смогла

действительно полюбить и понять? Почему не понимала, за что, господи, презирала его? Как относилась к дочери, зачем так скандалила с ней? Зачем требовала развода, не давала им, молодым, жить? Как могла она требовать, чтобы Катя сделала аборт? Как смела злиться и проклинать все и всех и саму жизнь? Единственную и неповторимую, дарованную господом жизнь! Она страшная грешница, прожившая большую часть жизни в проклятиях и обидах!

А ведь господь ей снова даровал жизнь!

Окрепнув, Нина ездила в паломничество по монастырям и святым местам. И окончательно поняла, как хочет жить дальше. Это открытие ее ошеломило и потрясло, а еще и напугало. Неужели уйдет из мирской жизни? Оставить внучку и дочь? Думала долго. И наконец решилась на разговор.

Боялась, даже была почти уверена, что дочь над ней посмеется. Но вышло не так – дочь, как ни странно, ее поняла. Сказала, что это – ее решение и ее право. И впервые за тысячу лет они обнялись и расплакались.

Через несколько месяцев после того разговора Нина уже жила в монастыре. И надо же, несмотря на все трудности и сложности, на тяжелый физический труд, на суровую и аскетичную, незнакомую и пока не очень понятную жизнь, она была счастлива – пожалуй, впервые в жизни.

С дочкой они переписывались и перезванивались, и Катька с Ксенькой раз в год приезжали в Коробейниково, хотя путь был неблизкий. И недешевый, надо сказать.

Катя закончила свой рассказ, вытерла слезы и посмотрела Кире в глаза.
– Вот так у нас получилось. Но за маму я рада.

Кира глянула на часы – как пробежало время! А она-то была уверена, что встреча их продлится от силы полчаса.

И тут на пороге возникла сонная Ксения, Катькина дочь и Мишкина внучка.

– Мам! – жалобно сказала она. – Ты совсем обо мне забыла?

Кира во все глаза смотрела на девочку. И сердце ее падало куда-то вниз – Ксения, Мишкина внучка, была точной копией своего деда!

«Господи, так не бывает! – думала Кира. – Просто одно лицо – карие круглые глаза, смешные брови домиком, чуть вздернутый, с красивыми ноздрями нос и выющиеся легкой волной светло-каштановые волосы.

Катя перехватила ее растерянный и удивленный взгляд.

– Похожа?

Кира в волнении сглотнула слюну и кивнула:

– Да, да! Катя! Ну невозможно просто! Такое бывает?

Катя впервые рассмеялась.

– Видимо, да.

А Ксения, маленький Мишка, по-прежнему стояла на пороге и хлопала сонными карими Мишкиными глазами.

– Катя! Она босиком! – с испугом выкрикнула Кира.

Катя тут же отправила дочь в кровать, но Ксенька сопротивлялась:

– Пирожные! – Глаза у нее загорелись. – Мама, хочу! – И тут же добавила жалостливым голосом: – А колбаски у нас нет?

«Господи, какая я дура – сладкого натащила! А надо было еды. Деликатесов каких-нибудь – ветчины, хорошего сыра, колбасы, фруктов. Надо исправлять ситуацию».

Ксеньку усадили за стол, налили ей чаю, и она с важным видом принялась чаевничать, осторожно поглядывая на незнакомую гостью.

– Это Кира, – сказала Катя, – жена твоего деда.

И обе, и Кира и Катя, смутились.

Наконец Кира сказала, что ей пора. Как ей хотелось погладить эту кареглазую девочку по головке! Как хотелось прижать к себе! Но оробела, не посмела.

Катя пошла ее провожать. В прихожей, пока Кира одевалась и подкрашивала губы, повисла неловкая тишина – обе снова молчали, не понимая, не зная, как все закончить и распрощаться.

Это было тягостное и затянувшееся молчание. Первой начала Кира.

– Катя, – смущаясь, сказала она, – я так рада, что мы поговорили. Это тяготило меня. Мы должны были с тобой перешагнуть и это сделать в память твоего отца, согласна? Это так, как я чувствую. Нет, я счастлива! Мне кажется, – она на секунду запнулась, – что Мишка, то есть твой папа, тоже был бы счастлив!

Катя молчала.

– Ну мне пора, – сказала Кира. Катя ей не возразила – было понятно, что и она устала, к тому же дочка.

Катя пошла отвести Ксеньку в кровать, а Кира, оглянувшись на дверь, аккуратно подложила четыреста евро на подоконник, под цветочный горшок с засохшей фиалкой.

Когда Кира вышла за порог, Катя, закрывая за ней дверь, тихо сказала:

– Простите меня!

Киру душили слезы, и она только кивнула.

И только на улице она позволила себе разреваться. Но слезы эти были не печальные и не тяжелые – это были слезы облегчения, освобождения. Радости. Бывает же, что люди плачут от радости?

Зяблик был дома, и по его встревоженному виду было понятно, что Киру он ждал и беспокоился.

Она была страшно голодна и опять укорила себя, что не купила ничего по дороге. Зато купил Зяблик – стол был накрыт, и на нем в пластиковых контейнерах и коробочках стояли готовые салаты, пирожки и даже горячее – жареное мясо с гарниром.

– Ну, Зяблик! Ты даешь! – рассмеялась Кира и тут же подумала, что прежде эстет Зяблик никогда бы не позволил себе есть из пластиковой посуды.

За поздним обедом или ранним ужином Зяблик торжественно сообщил, что вечером они идут в театр.

– Ого! – воскликнула Кира. – Вот это сюрприз!

Зяблик скромно ответил, что должен «гулять» гостью – если уж не по карману кабаки, то театр он как-нибудь потянет.

Спектакль оказался так себе, но Кира не пожалела – как она соскучилась по московскому театру! Запах театрального занавеса, деревянная, немного скрипучая сцена, буфет с вечным ситро и ароматом свежесваренного кофе, пирожные эклеры и бутерброды с копченой колбасой – все как из детства и далекой юности.

Зяблик, кажется, был не только доволен, но и страшно горд собой. Галантно ухаживал, подавал плащ и поддерживал Киру за локоть. Вечер был теплым, совсем весенним, и они с удовольствием шли пешком.

– А завтра уезжать, – вздохнула Кира, – а что-то не хочется.

– Вот как? – Зяблик удивился ее заявлению. – А мне казалось, что для тебя это вынужденная и не очень желанная поездка.

– Так и было, – согласилась Кира, – ехать сюда мне совсем не хотелось. Знаешь, так странно – у меня остались только воспоминания последних лет. Нет, правда, странно! Наша неприкаянность, бездомность, вечный поиск чужих случайных углов. Нищета, подсчет копеек. Скандалы с Ниной, хмурость Катки и ее полное, тотальное неприятие меня. Ну а потом Мишкино увольнение и снова одни проблемы. Проблемы, проблемы – они накручивались как снежный ком и никогда не кончались. И мы захотели все изменить, поменять и уехать, понимая, что здесь ничего не изменится. Нам нечего было терять. И я согласилась, думая, что спасу его, себя и нашу семью. И в общем, спасла. Нет, я не жалею. В итоге у нас все сложилось. Конечно, там тоже было полно дерьма – не сомневайся. И все-

таки мы выстояли. И Мишка снова работал по специальности. И снова был счастлив. Ты же знаешь, что для него была работа и как ему тяжело было без нее. Нет, не жалею! – твердо подтвердила она. – Мы много поездили – объездили всю Европу. Мы отдыхали. Да, позволяли себе кое-что: кафе, магазины. Хотя и привыкли довольствоваться малым – ты знаешь.

– Ну что ты оправдываешься? Ты все сделала правильно. И, думаю, Мишка был счастлив.

– Да, я не хотела ехать сюда, – повторила Кира. – Боялась встречи с Катей, не хотела напрягать тебя. Мы же близкими с тобой не были, правда? Ты не замечал меня, я, уж извини, немного презирала тебя. Ну и Жуковский, кладбище, воспоминания. Вечная, непреходящая вина перед родителями за то, что оставила их. – Кира замолчала, а потом продолжила: – А вот сегодня как-то все поменялось, что ли? Вот чудеса! Не ожидала, если честно. Наверное, после встречи с Катей и Ксеньей. Ну и ты... Постарался! – Она улыбнулась. – Спасибо, Лешка! Вот, праздник устроил!

– Да брось, ты о чем? – засмутился Зяблик.

Кира с благодарностью и нежностью погладила его по руке и повторила:

– Лешка, спасибо!

Они шли по вечернему городу, освещенному и нарядному, незнакомому и даже чужому. И все-таки своему. Пахло свежим липовым цветом и распустившейся сиренью.

Кира думала, почему этот город вызывал у нее такую тоску и отторжение. Разве было только плохое? И почему помнится только плохое – темное, тяжелое, беспросветное? Разве она не была в нем счастлива? Разве не здесь, в этом городе, она встретила Мишку, свою единственную любовь? Разве не было поцелуев в стылых подъездах, поездок за город в набитых электричках? Зеленой поляны и красных прозрачных сосен, сквозь высокие кроны которых просвечивало розовое солнце, нагретой солнцем травы, запаха сена, доносящегося с поля поблизости? И протяжный звук электричек... И остывший чай из помятого термоса, и чуть подтаявший сыр на бородинском хлебе. И потертое одеяльце, на котором они валялись, обнявшись и прижавшись друг к другу. И даже те чужие, случайные комнаты? И их сиротливые скитания... Разве им было плохо тогда? Разве они не были счастливы? Они были вместе.

И их утренний кофе, наспех сваренный в чужой кастрюльке. И вечера – долгие, зимние, протяжные, немного печальные и очень светлые. С бесконечными разговорами, не кончающимися никогда. И случайный

билетик в театр – самый дешевый, конечно же, в бель-этаж. Но – праздник! И новая книжка, из-за которой они почти дрались: «Ну когда же ты, поросенок, наконец дочитаешь?» И даже поездки к Зяблику, которого она не очень любила. И его узкий диван в кабинете, и музыка за стеной – джаз или блюз, у Леши всегда был прекрасный музыкальный вкус. И его помощь – всегда, при любых обстоятельствах, о таком нельзя забывать. Почему же она все забыла? Наверное, потому, что так было легче. Как боялась она этой поездки в Москву! Как заставляла себя, как сомневалась! Как в последний день хотела порвать билет.

А как все окончилось? Как быстро все окончилось. И завтра она уезжает. Все, все. Теперь уже – все.

* * *

С утра Зяблик был дома и даже неловко возился на кухне – готовил отъезжающей гостье горячий завтрак. На стол торжественно были поданы глазунья, ветчина и отличный кофе – в час дня он должен был везти Киру в аэропорт.

– Надоела я тебе? – поинтересовалась она. – Любой гость – это хлопоты и перемены в привычной, устоявшейся жизни.

Зяблик горячо и, кажется, искренне стал возражать:

– Что ты, о чем? Господи, я хоть в театре побывал и в кабаке! Мы с тобой от души потрепались! Ты, Кирка, разбавила мою скучную жизнь. Вот, прогулялся по улицам – сто лет пешком не ходил, ей-богу!

Кира кивнула.

– И я. Сто лет не была в театре, сто лет не гуляла по улицам и сто лет не была в ресторане.

После второй чашки кофе решила спросить:

– Леш! А почему ты их... ну, Сережу с матерью, не перевезешь к себе? Так было бы проще. И легче, мне кажется... Извини, что лезу не в свое дело.

– Ты права. Я думал об этом и даже предложил это Сережиной матери. Но она отказалась. И ее тоже можно понять: там она хозяйка, а здесь? На правах гостии? Она гордая, одалживаться не станет. Да и там все привычно и все под рукой. Ну а Сережа... Без матери он не поедет.

– А ты? Не думал продать эту квартиру и переехать поближе, к ним? Да и деньги. Ты наверняка выручишь хорошие деньги с этого обмена.

– Ты права, я думал об этом. Скорее всего, так и сделаю. Правда, очень

хотелось оставить эту квартиру Сережке. Но, скорее всего, не судьба. Да и деньги... Понимаешь, они нужны постоянно – врачи, массажисты, реабилитологи, лекарства. В санаторий хотим с ним поехать, на грязи, в Мацесту. А еще лучше – куда-нибудь на источники, ну или на Мертвое море. Говорят, помогает...

Знаешь, некоторые обнадеживают, говорят, что в таких случаях бывают чудеса и спинальных больных поднимают. На костыли, конечно, или на вокеры. И, разумеется, не здесь, не у нас, а за границей. Но снова деньги, деньги. Без них никуда. Но я, знаешь, надеюсь! И это решу.

– Так, – жестко сказала Кира и прихлопнула ладонью по столу. – Я все поняла! Давай документы. Все до одного, все ксерокопии. Обследования, анализы, снимки – все, что в наличии! Ну а я там разберусь! Во-первых, у меня есть знакомые. Во-вторых, язык у меня приличный, найду клинику, доктора. В общем, Зяблик, обещаю, что сделаю все, что смогу и что не смогу. Все, хватит трепаться, иди собирай документы. А я пойду собирать чемодан – нам через два часа ехать.

Зяблик кивнул, и Кира увидела, что глаза его полны слез.

– Спасибо тебе, – тихо сказал он и вышел из кухни.

Кира собирала чемодан. Да что там собирать – ерунда. Две пары брюк, одна юбка и пара кофточек. Подошла к окну.

– Прощай, Москва. И спасибо. Я так боялась тебя! Но ты меня обняла и успокоила. Спасибо.

Она смотрела на улицу, по которой шел поток бесконечных машин. На маленькие фигурки торопящихся, как всегда, людей. В Москве всегда все спешили. Смотрела на Садовое кольцо, на знакомое желтое здание музея Чайковского – аккуратно напротив Зябликовых окон. И вспоминала, вспоминала, как была счастлива здесь, в этой квартире. Оказывается, очень счастлива, очень. Несмотря ни на что.

Пора было ехать в аэропорт. И домой. Да, домой.

По дороге молчали. Не потому, что говорить было не о чем, нет. Просто хотелось помолчать. И это было не тягостно, а совсем наоборот.

Зяблик припарковал машину и достал из багажника Кирин чемодан.

– Ну, Кирка! Давай! Может быть, когда-нибудь... Ну всякое же бывает! И спасибо тебе. – Зяблик отвернулся.

Кира обняла его и чмокнула в щеку.

– Это тебе спасибо, Лешка. За что – знаешь сам.

В самолете Кира уснула, и слава богу. Слишком много печальных мыслей, слишком много воспоминаний. И слишком много открытий и откровений. Вот так.

Дорога из аэропорта была знакомой и привычной. И она радовалась, что вернулась домой. «Как он хорош, мой Франкфурт! – подумала она. – Какой чистый и зеленый! Мой...» – Она удивилась своим мыслям. Теперь у нее было два своих города – Москва и Франкфурт. Да, именно так! Открыла дверь в квартиру, почувствовала привычные и родные запахи, и сердце радостно забило. Все, она дома.

Разобрала чемодан, поставила чайник и, не включая верхнего света, села пить чай. Она смотрела в окно и видела знакомый пейзаж – булочную на углу соседнего дома, где она покупает любимый хлеб – всегда теплый, присыпанный мукой и пахнущий тмином. Китайскую закусочную напротив, крошечную, на два столика, с едой навывнос. И густые вязы под окном, и канадский клен с острыми листьями, недавно зазеленевший. И соседку фрау Мейер, крохотную старушку в голубых букольниках, прогуливающую маленькую и визгливую собачонку. И высокого тощего парня – психолога, всегда любезного и улыбающегося, снимающего квартиру под офис на первом этаже. И светящуюся вывеску магазина натуральной косметики, мешающую спать по ночам.

Все было знакомым и родным.

Пора ложиться. Завтра предстоит непростой день. Во-первых, магазины. А их Кира ох как не любит! Но надо. Шмотки Кате и Ксенечке, обязательно. Девчонок надо приодеть непременно – скоро лето! А здесь все можно купить по грошовой цене, не сравнить со столицей – ей прекрасно известны недорогие магазины с очень приличными тряпками. А после этого начнется другое дело, куда более важное, – клиники, консультации по поводу Сережи, Лешкиного сына. Вот здесь надо разбираться основательно и серьезно, чтобы попасть в цель, чтобы помогли. Чтобы все получилось. А медицина здесь, что ни говори, замечательная – сколько врачи тянули ее Мишку...

Кира легла в кровать и почувствовала, что страшно устала.

Звякнула эсэмэска – Зяблик: «Кирюш, как долетела? Без тебя уныло и скучно – такие дела... И еще – спасибо тебе! Не пропадай, а? Я правда скучаю...» После многоточия – смайлик со слезкой.

Она ответила Зяблику и наконец уснула.

А утром пришла эсэмэска от Кати: «Кира Константиновна! Как вы долетели? Все ли нормально? Как самочувствие? У нас все хорошо. Ксенька уже не температурит и начала трепать нервы. Спасибо вам за то, что позвонили и доехали до нас! Я вам очень благодарна за все! Пишите, не пропадайте, а? Катя и Ксения. Две бестолковые дуры».

Кира улыбнулась и быстро набрала ответ. А потом долго сидела на кухне и размышляла. Впервые за несколько лет со дня смерти Мишки она стала кому-то нужна. Впервые у нее появилось ощущение, что она не одна на всем белом свете и – может кому-то помочь. Может и очень хочет! И кажется, ее пустая и холодная жизнь снова наполнилась смыслом.

Кира заплакала, но быстро взяла себя в руки. А может, ей показалось, что у нее появилась семья? Да нет, какие глупости! Кто ей Зяблик, друг мужа из далекой юности, или дочь мужа? Так, знакомые – как говорится, волей судьбы. Да нет, не так! Совсем не так, знаете ли. Жизнь, вечно готовая на сюрпризы, непредсказуемая и странная, подкинула ей очень близких и, как оказалось, родных людей. Без которых она, кажется, уже не сможет.

Кира вышла на улицу и столкнулась с тощим психологом. О, фрау Немировски! Вы вернулись? Не надо ли вам чем-то помочь? Кира улыбнулась.

– Нет, спасибо! У меня все прекрасно! И еще куча дел.

На другой стороне улицы ее увидела фрау Мейер, прогуливающая свою брехливую собачонку, и радостно замахала ей рукой.

Кира махнула в ответ и тут же заспешила. Не дай бог сцепиться с фрау языками – живой не отпустит.

На улице было ясно и свежо. Под утро прошел короткий весенний дождь, прибивший дневную пыль. Пахло липой и сиренью, совсем как в Москве. «Откуда у нас сирень? – удивилась Кира. – Ее, кажется, раньше не было».

Она шла и мечтала, как к ней приедут Катя и Ксения, и они обязательно поедут на озеро, и в Висбаден, и будут бродить по булыжной мостовой Старого города, и пить кофе в старинной кофейне. Да мало ли куда еще – Европа большая, а Кира, слава богу, водит машину! А впереди лето и вообще – целая жизнь!

И будем все мы счастливы! Когда-нибудь... Бог даст!

Жить

В поездах Никитин никогда не спал. Разве что в молодости – беззаботной, веселой. Тогда спал, да еще как – беспробудно, как сурок. Так, что будила его проводница: «Эй, парень! Вставай! Не ровен час проспичь остановку».

С возрастом все изменилось.

Но главное, по чему Никитин так тосковал, – давно позабытая легкость. Легкость во всем. Легкое ко всему отношение. И еще – только в молодости, далекой и безвозвратно ушедшей, было сказочное ощущение перманентного нескончаемого праздника. Праздника, который будет всегда с тобой, – тогда, в молодости, он считал себя везунчиком. А это было сказочным ощущением, надо сказать.

Все прошло. Конечно, пятьдесят два для мужика не возраст – в пятьдесят два еще круто можно повернуть и изменить свою жизнь. Так круто, что наверняка закружится голова. В пятьдесят два можно начать все сначала – прожить вторую, новую жизнь. В отместку той, первой, увы, не самой удачной.

Но обнулить ту, прошлую, жизнь почему-то не получалось.

И еще страшновато было осознавать, что та, прошлая, жизнь – черновик, а вот на беловик сил почти не осталось.

Из Москвы Никитин уезжал поздно вечером, в одиннадцать. Расстояние до Н. пустяковое – всего-то четыреста верст! Но новомодные удобные и быстрые «сапсаны» в его городок не ходили – пассажиров не набиралось и получалось невыгодно. Вот и приходилось тащиться всю ночь. В это время спокойно, почти без привычных пробок, он быстро доезжал до вокзала, ставил на паркинг машину – оплату за два дня он точно переживет – и шел на перрон. Когда-то он любил поезда, с их вечным запахом уголька и мазута, с теплым купе, со стаканом крепкого чая в металлическом подстаканнике, мелодично позвякивающим в такт колес. С тихими полустанками со слепящими прожекторами, городки и поселки с короткими, в минуту, остановками и ровным, безразличным голосом диспетчера, монотонно объявляющего о прибытии поезда.

Никитин любил приезжать в свой город ранним утром, когда еще клубился, стелился над крышами неразтворенный молочный рассвет и утренняя прохлада не отменяла пешей прогулки до отчего дома. Всего полчаса размеренным шагом и, разумеется, с пользой для здоровья. Как у

всех москвичей, его обычные перебежки были короткими – машина, офис, подъезд.

Он шел по знакомым улочкам, и каждый раз его накрывала счастливая мысль, что тогда он сделал все правильно.

Да, да, он все сделал правильно! Его поспешный побег был оправдан, и мысль эта грела и придавала ему сил. В плохую погоду пешком идти не хотелось, и он подходил к стоянке такси. Хотя какая там стоянка – громко сказано. На небольшом грязном, заплеванном пяточке крутились местные привокзальные бомбилы, похожие на всех бомбил нашей необъятной родины – жуликоватые, наглые, развязные и беспардонные.

Жадным взглядом они шарили по толпе, выискивая среди вновь прибывших «жирных» клиентов – возможно, командированных или просто залетных.

Но командированных было мало – когда-то известный и крупный завод приказал долго жить. Правда, в нулевые он был выкуплен каким-то олигархом, но мощи своей не возродил – работала там всего пара цехов. Был завод – и не стало. А на небольшом, тоже почти умершем, камвольном комбинате работали одни женщины. Больше промышленности в городе не было. И как следствие не было работы. Ситуация эта была обычная, рядовая. Так жила почти вся Россия. И небольшой, тихий городок хирел день ото дня. Грустно было смотреть на полупустые и пыльные улочки, на жалкие магазинчики со скудным дешевым ассортиментом, на плохо одетых людей, на покосившиеся заборы и давно не крашенные крыши, на хмурые, тоскливые пятиэтажки, построенные в семидесятых и казавшиеся тогда верхом совершенства и предметом сладких, почти недоступных грез. Квартиры в «городских» домах давали только работникам и служащим завода. Были еще два дома «для белых людей» – так называли в народе дома для начальства: заводских инженеров, начальников цехов, комсorghов и парторгов. К этим пламенным ловкачам присоединялись и слуги народа – деятели райкома и городского совета. Вернее, заводское начальство присоединялось к верхам и сливкам.

Два дома для «белых людей» были шестиэтажными, из простого силикатного серого кирпича, но на общем фоне пятиэтажек и частного сектора выглядели буквально дворцами. Квартиры в них были тоже не «ах» – Никитин потом это понял. Бывал он там часто – в одной из таких квартир жил его закадычный школьный дружок Пашка Панфилов, сын главного инженера завода.

Скромная трешка с восьмиметровой кухней казалась Никитину замком, волшебным теремом, сказочным палаццо. В Пашкиной квартире

стояла полированная румынская стенка и «тройка» – два бархатных кресла с диваном, красота неземная. В зале висела большая хрустальная люстра, а на полу лежал зеленый, в завитушках, ковер.

У Никитиных ничего такого не было – квартиру им дали двухкомнатную. «И то счастье! – повторяла мать. – Ничего, разместимся! Мальчишки в одной комнате, мы в другой». А отец был недоволен – растерянно ходил по квартирке, и было видно, что душа у него не лежит: «В доме, мать, было лучше! Простор! Да и сад...»

Мать злилась: «Простор! А печка? А вода из колонки? А мусорка за три километра?»

Печка и колонка были, чистая правда. А вот мусорка стояла рядом – метров за сто. Но сад действительно был! Да какой – яблони и сливы, груша и густой, разросшийся малинник у самого забора. Были и грядки с огурцами, редиской и клубникой, на которую они втихаря совершали набеги.

Отец страдал, а мать была счастлива. Без конца включала газовую горелку и, как замороженная, смотрела на сине-красную шипящую розу. А потом, присаживаясь на край ванны, включала горячую воду и счастливо улыбалась.

После переезда из старого дома отец погрузился и притих. Громко вздыхая и крикая, бесцельно слонялся по квартире, не находил себе места, а по выходным торопился на «родину» – так он называл свой старый район и дом, где провел свое детство. Но домика уже не было – вскоре после их переезда его снесли, построив на этом месте новую городскую больницу.

Однако какие-то старые дома на окраине еще оставались. В них жили приятели отца и соседи. В садах по-прежнему стояли сбитые из досок покосившиеся столы, и мужики в майках и трениках все так же громко стучали костяшками домино и пили жидкое светлое разливное пиво.

Мать злилась на отца, но тот еще долго бегал на «родину».

А братьям Никитиным, Ваньке и Димке, все было по барабану – в новом районе они тут же влились в дворовую компанию и так же гоняли в футбол, так же играли в расшибалочку и так же кадрились с местными девчонками. Какая же разница где?

Братья были погодками – старший, Иван, Ванька, и младший, Дмитрий, для друзей и брата – Димыч.

Между собой жили дружно – никаких разборок и драк. Друг за дружку стояли горой – попробуй-ка тронь!

Несколько раз родители возили их в Москву. И младший, Димка, затосковал. В Москву он влюбился с первого взгляда. Ошарашенно

оглядываясь, шарахаясь от проезжавших машин, задирая голову, разглядывая высоченные дома, он завидовал, завидовал спешащим по делам местным жителям, торопливым и невежливым москвичам. Вот же счастливики! А в девятом классе твердо решил, что уедет. Он не хочет прожить свою жизнь в родном Н., в этом тухлом болоте, в этой тихой убогости, в этой скудности и вечной тоске.

Уехать, уехать. Вырваться. Мозги есть, руки-ноги на месте. Он точно знал, что прорвется, выстоит, устроится и победит.

Но ни матери с отцом, ни даже брату Ваньке ничего не говорил – знал, что за этим последует. Решил так: скажет накануне, перед самым отъездом.

Старший брат после десятого пошел к отцу на завод – сначала учеником мастера, а потом и рабочим. А через год ушел в армию. А он, Дима Никитин, сразу после выпускного объявил близким, что решил ехать в Москву поступать в институт.

Мать заохала, заголосила, отец угрюмо молчал. Но вдруг остановил материнские причитания и жестко сказал:

– Езжай, Димка! Хоть один в семье будет ученый!

Мать охнула и медленно опустилась на диван.

– Ты в своем уме, Степа?

Но тут же притихла и стенания свои прекратила.

На брата Ваньку Димка боялся смотреть – понимал, что это предательство. Даже не то, что он решил ехать, а то, что ничего не сказал. Но навсегда запомнил глаза брата – удивленные и растерянные. В них затаилась обида.

Дима Никитин вышел на перрон Казанского вокзала и замер от восхищения – он здесь, он в Москве, и он будет студентом! Будет здесь жить! Зацепится за этот прекрасный город двумя руками – не разожмешь. Да что там руками – зубами! А зубы у него крепкие и здоровые, будьте уверены! И хватка как у бойцовой собаки. Он станет столичным жителем, москвичом. Он твердо знает, как идти к своей цели. И будьте спокойны – удачу свою он не упустит!

Но не срослось, не получилось. Экзамены он завалил. Глупо срезался на математике, которую знал на «отлично».

Из общежития его погнали. Пару ночей перекаптался у нового знакомого, москвича. Но быстро понял – хозяину это в тягость. Ночевал на вокзале – несвежие булочки из буфета, несладкий чай – денег копейки. От спанья на жесткой скамейке болела спина, затекали ноги. Гигиенические процедуры в вонючем и грязном вокзальном туалете, питьевая вода с устойчивым запахом хлорки из-под крана. Он зарос щетиной. Устал. В

голову ничего не приходило – в смысле, ничего путного. Возвращаться домой? Нет, ни за что. Стыдно было вернуться проигравшим, но делать нечего – пришлось. Пришлось смириться и с тем, что столица отвергла его, не приняла, дала коленом под зад. Больно, обидно, да ладно! Впереди целая жизнь! Правда, прежде всего впереди была армия – аккуратно через год. Ну не бегать же от военкомата, не скрываться – позор. Да и с поступлением на следующий год будут проблемы. И по всему выходило, что надо возвращаться. Ну что ж, позор он переживет – не он один. Год перекантуется у отца на заводе, отслужит два года, а там... Он от своего не отступится.

Вернулся. Как ни странно, встретили его радостно и без насмешек. Отец похлопал по плечу – дескать, все в жизни бывает, а мать повисла на нем и не отпускала и все приговаривала: «А дома-то лучше, Димочка! Лучше, сынок!»

Брат Ванька ничего не сказал – гордым был, в отца. Но видно было, что рад: вернулся любимый братан! Они снова вместе!

Вечером напились – отец поставил бутылку и первый раз в жизни пил с сыновьями. Мать делала большие глаза, но молчала, не возражала – чувствовала важность момента.

А ночью, когда наконец улеглись, братья долго не могли уснуть, и Ванька вдруг выдал:

– Димыч, здесь тоже жизнь! Ты не думай.

Но Никитин его перебил:

– Нет, Ваня. Здесь для меня удавка. Отслужу и все равно сбегу. И не уговаривай! Не могу я здесь, понимаешь! Душно мне и хреново. Прости, брат!

Ванька обиженно засопел и ничего не ответил.

Через две недели Димка Никитин работал на заводе грузчиком. Работа была не дай бог. Но что делать? «Перекантуюсь, – утешал он себя. – Это временно. Переживу, перетерплю – выхода нет».

В сентябре он вышел на завод, а в октябре, в самом конце, когда уже почти облетели листья с деревьев и подступала самая паршивая пора поздней осени, серый и мрачный ноябрь, самый тоскливый и нудный месяц, он познакомился с Тасей.

Она была приезжей – окончив педучилище, отработывала по распределению три года учительницей начальных классов.

Круглая сирота, она выросла в детдоме – мать умерла от порока сердца, не дожив и до тридцати. После смерти жены отец начал пить, пострашному, по-черному. Ну и утонул в одночасье в мелком, заросшем тиной

пруду.

Тасе уже было двадцать, Никитину только исполнилось семнадцать. Была она худенькая, высокая, почти ему в рост. Кареглазая и светловолосая, с нежной, прозрачной кожей, высокими скулами и тонкими, темными, словно нарисованными бровями. Стесняясь своего роста, она сильно сутулилась, почти не поднимала при разговоре глаза. Быстро и густо краснела и говорила полушепотом. Никитин посмеивался над ней: «Как ты ведешь уроки? Тебя же не слышно!»

Тася жила «на квартире» – на самом деле снимала комнатуху в шесть метров в частном доме у глухой старушки Семеновны, невредной и тихой. Они ладили.

Никитину нравилась Тася, его первая женщина, хрупкая, красивая, нежная. Семеновна, хозяйка квартиры, не возражала против его ночевок, хитро щуря подслеповатые глаза и приговаривая, дескать, дело молодое, помню ешшо!

Тася тут же краснела и опускала глаза. Родители все понимали и молчали. Все понятно, молодость. Только мать волновалась: Тася приезжая, своего жилья нет, а это означало, что после свадьбы она придет с ним. Только, спрашивается, куда? В комнату к Ваньке? Но успокаивала себя одним – если Димка женится на Тасе, то не уедет! Пусть погуляет, пусть оторвется! А вот сыграем свадьбу, родит Тася детишек, и он успокоится.

Что еще матери надо? Но подступала армия, и ее беспокоило, будет ли ждать его Тася. Не загуляет ли, когда жених будет в армии? Всякое бывает, дело-то молодое. Но, случайно встретив Тасю на улице или в магазине – город маленький, все носом сталкиваются, – успокаивалась: нет, эта точно не загуляет. Эта будет ждать сколько понадобится, на ней написано. Но и слава богу! Да и пережила девка не приведи господи! Смерть матери и отца, детский дом. «Буду ей матерью, – решила она. – Приму как родную. А видно, что хорошая! Скромная, тихая – уживемся».

К Тасе Димка приходил после заводской смены – усталый, замученный тяжелой физической работой, черный от пыли. Она ждала его и спать не ложилась. Вода в ведре была нагретой, теплой. Тася поливала ему голову из кувшина, вытирала ее полотенцем и торопилась его накормить. А он, голодный, есть не спешил – спешил утолить другой голод. И поскорее. И, умывшись, тут же тащил смущенную и упирающуюся Тасю в комнату.

Торопился, спешил – первая женщина, первая страсть. И никак не мог ею насытиться – все ему было мало. Потому что было так сладко, что останавливалось сердце, когда он ее обнимал, когда целовал. Когда смотрел

на ее спину – тонкую, изящную, белую, словно фарфоровую, с проступающим рядом выпуклых позвонков. В горле пересыхало от любви и от жалости к ней. Почему? Да потому что понимал – не судьба. Не судьба этот город и не судьба эта женщина. Он твердо знал, что все равно уедет отсюда. Все равно сбежит. И никакая женщина его не остановит – пусть самая желанная и самая сладкая.

Да и жениться он не собирался – какое? Ему только будет восемнадцать. Тоже мне, жених! Без профессии и угла, армия на носу! А потом – потом будет Москва! Ну не со своим же самоваром ехать туда? Смех, да и только. Да и столько красивых девчонок в Москве – глаза разбегались.

Может, и ходит там, совсем рядом, его судьба? Но это точно не Тася – в этом он был твердо уверен.

Она ни о чем его не спрашивала, не задавала ни единого вопроса – придешь, не придешь? Даже про пустяки не спрашивала, что уж говорить про все остальное? Это его вполне устраивало. Значит, она без претензий и планов на совместную жизнь. Ну и прекрасно.

К весне он к Тасе слегка охладел, но по-прежнему ходил в дом на окраине. Она все так же ждала его с нагретым ведром воды, с отваренной картошкой, завернутой в десяток газет и укутанной одеялом. Со свежесваренным чаем и только что испеченным печеньем, накрытым белой салфеткой. Это печенье, рассыпчатое и нежное, прокрученное через мясорубку и вытекающее оттуда длинными веревками, он называл печеньем из червяков. А она обижалась и спорила, что название ему – «хризантема».

Любил ли он ее? Да нет, вряд ли. Да что он, мальчишка, тогда понимал в любви? А вот когда встретил Тату, будущую жену, тогда буквально сошел с ума, за очень короткое время.

Но до Таты было еще далеко – несколько лет. А пока была тихая Тася, металлическая кровать, узкая и скрипучая, с пружинным матрасом, марлевые занавесочки, накрахмаленные и подсиненные, облезлый столик, выдаваемый за туалетный, на котором стояла рассыпчатая пудра «Белый лебедь» и духи со странным названием «Быть может». И пластмассовая расческа, на которой светлел золотистый и легкий волос хозяйки.

Но ночью он шалел от Тасиной страсти и ее ласк – ярких, отчаянных, словно прощальных и обреченных. Шалел и вздрагивал от ее слов – шептала она такое, что даже ему, мужику, было неловко.

А утром она снова была тихой и молчаливой скромницей, согласной на все.

Перед армией он уже тяготился ею – по вечерам хотелось рвануть к приятелям, попеть под гитару с братом или просто погонять мяч во дворе – пацан, что с него взять. Она это чувствовала, но снова молчала. Только ее прекрасные карие глаза были полны печали. Но какое ему дело до ее планов и до печалей? У него впереди армия, нелегкая служба. Как там все сложится? Ну а потом – потом Москва! И он был совершенно уверен, что вот на этот раз у него там получится! Эти мысли поддерживали его – конечно, идти и служить было совсем неохота.

Проводы устроили во дворе. Тесная квартирка ни за что не вместила бы желающих. А желающих было много – соседи по дому, школьные приятели, знакомые родителей.

Май был душистым и теплым, и очень не хотелось уходить из этой знакомой и привычной жизни в жизнь другую – возможно, даже опасную. А вдруг Афган? «Не дай бог», – причитала мать и потихоньку от отца ходила в церковь, молиться.

На столах, накрытых прозрачными клеенками, – что подешевле, покупалось на метраж, ну не скатерти же выносить! – стояли тазики с винегретом, тарелки с подтаявшим холодцом, блюда с селедкой и толстые пироги с капустой. Поди накорми такую ораву! Соседки поделились закрутками – солеными помидорами и огурцами, оставшейся с зимы квашеной капустой, уже подкисшей, пригодной только на щи. Но все сошло и все пригодилось.

Тут же, во дворе, приятели разводили костер, жарили шашлыки. С трудом достали свинину – отец наездился по селам, упрашивая зарезать свинью. По весне скотину не резали. Было много водки и домашнего вина, но, как обычно, кончилось все очень быстро и догоняли наливками и даже лечебными настойками тетки Насти – соседки напротив.

Потом были гитара и непременно пьяные разборки, без которых еще не обходилось ни одно застолье. Парни хватали за руки девчонок, девчонки хихикали и делали вид, что сопротивляются. И все топтались под музыку. Никитин, конечно, напился. Сидел, уронив голову в руки, и, кажется, плакал. Рядом плакала мать, глядя сыночка по волосам и приговаривая:

– Береги себя, Димка! Не дай бог – уйду следом, сынок!

Раздраженно отмахивался от матери и звал брата, дескать, спаси.

Тася на проводы не пришла – отговорила, что там и без нее обойдутся. «Да и мама твоя... Непонятно, как среагирует. Нет, не приду. Простимся, Дима, здесь, у меня. Да и не люблю я все это – пьяные и шумные компании, тосты дурацкие, перегляды и перешептывания».

А он был этому только рад: Тася на проводах – лишняя обуза. Будет

вздыхать, как корова, и смотреть на него со щенячьей тоской.

Накануне, перед проводами, он ночевал у нее. И снова отчетливо понял, что нестерпимо хочет вырваться из ее горячих объятий, разомкнуть ее тонкие, но крепкие руки и забыть, забыть ее лицо – дело, увы, уже прошлое. Вот она, рядом, в сантиметре от него. Он слышит ее горячее и частое дыхание, ее волосы касаются его щеки, и он чувствует их земляничный запах, рука тянется к влажной от пота ложбинке, идущей от ключиц к груди, и это все еще волнует его. Но он понимает, что это прошлое. Уже прошлое, даже сегодня, сейчас, в их последнюю ночь. И закончится все это скоро, когда за окном затеплится, зарозовеет рассвет и он заторопится домой.

Утром Тася видела, что он спешит, понимала, что это побег, но не удерживала его. Рук не заламывала, не причитала. Только на крыльце, расшатанном и ветхом, в самые последние минуты их прощания чуть подольше, чем всегда, задержала объятия. Но быстро, поспешно отстранилась, почувствовав, что он уже далеко и что ему все равно.

По-братски, совсем по-братски, он чмокнул ее в щеку, с натужной неловкой и смущенной улыбкой пробормотал какую-то чушь, вроде держи хвост пистолетом и не скучай!

Она глубоко вздохнула.

– Я постараюсь.

Попробовала улыбнуться – не получилось, улыбка вышла жалкой и кривой. Он быстро пошел к калитке, но на выходе обернулся – на душе все-таки было погано. Задержался на секунду – только махнул рукой.

Тася снова кивнула, поежилась, поддернула платок на плечах и тоже махнула в ответ.

На следующий день он о ней забыл.

В Афган, он, слава богу, не попал – служил под Москвой. Да и служба оказалась короткой. Через год и два месяца его комиссовали – язва. Мать и отец от счастья рыдали. Брат тоже был рад:

– Ну здорово, Димка! Вернулся.

А мать еще долго причитала:

– Живой! С руками, с ногами. А язва – да бог с ней, справимся!

И тут же горячо включилась в лечение: картофельный сок по утрам, льняное семя, склизкое, как медуза. И диета, диета: пюре, паровые котлеты, отварная курятина – словом, сплошная тоска. Хотелось махнуть к друзьям, выпить пива, наестся жирных шашлыков. Но нет, держался. С трудом, но держался. Правда, здорово похудел.

– Кощей Бессмертный, – вздыхала мать. – Но ничего, отъешься!

Главное – выздороветь.

К Тасе он пошел через недели три после возвращения, когда немножко пришел в себя. Увидев его, она ойкнула и залепетала:

– Дима! Вернулся!

И ее глаза, как всегда грустные и печальные, загорелись счастливым огнем.

Ну и снова пошло-поехало. Правда теперь он ночевал у нее редко, раз в неделю, не чаще. И каждый раз, уходя, давал себе слово, что это в последний раз. Не нужно это ему, совсем не нужно. И уже неинтересно. Но опять возвращался. Молодой – куда денешься. Физиология!

Мать понимала, что он ходит к Тасе, и однажды решилась на разговор. Страшно робела, что было совсем на его языкастую и бойкую мать не похоже.

– Жениться не собираешься, Димка? А что? Пора. Хорошая женщина эта твоя Таисия. Я узнавала. Скромная, тихая. Свадьбу сыграем – мы с отцом кое-что подкопили!

Он обалдело посмотрел на мать.

– Мам, ты чего? Совсем уже? Какое жениться? Какая свадьба? Какое подкопили, мам? Ну вы даете! – Он никак не мог успокоиться. Возмущению не было предела. – Нет, вы совсем, мам! – повторял он. – Подкопили они!

Мать испуганно смотрела на него и пыталась оправдаться:

– А что здесь такого, сынок? Хорошая женщина, скромная, – повторяла она. – И симпатичная, кстати! К тому же учительница! А что из детдома, так даже хорошо, Дим! Никаких родственников, а то мало ли что? Всякие ведь бывают, и пьянь, и... – Мать осеклась и испуганно посмотрела на сына.

– Все, мам! – резко ответил он. – Все, дело закрыто! И вообще, большая просьба: больше таких разговоров не заводить, поняла?

Мать икнула от испуга и мелко закивала:

– Да, Дима! Больше – ни-ни! Просто я думала... Ну мы с отцом думали...

Громко хлопнув дверью, он вышел из комнаты. Была зима – снежная, метельная, морозная. А он впал в тоску – ничего не хотелось. На работу не устраивался, но мать и отец молчали, не спрашивали ни о чем – пусть отлежится и придет в себя после болезни и службы.

Валялся на диване, брэнчал на гитаре, вяло пролистывал книжки – читать не хотелось. Даже любимого Конан Дойла взял с полки и бросил – тоска. Много спал, отъедался – словом, ленился, балдел. Тунеядствовал.

Иван вернулся из армии и снова пошел на завод.

Брат приходил со смены грязный, усталый, но довольный. Много рассказывал про работу, перечислял какие-то фамилии, часто мелькало имя Петрович – начальник цеха, Павел Петрович, учитель, мастер и друг.

Этим Петровичем он восхищался. Отец поддерживал разговор, радостно переглядывался с матерью. Хотя один из парней нормальный – все у Ивана складно и ладно. Не то что у младшего, Димки. У того все не так и не эдак – и что с ним делать? А ничего – переждать. Это было их совместное решение. Авось к весне все поправится. А куда деваться? Жизнь-то идет, продолжается.

К Тасе он тогда не ходил – неохота. Вообще ничего неохота и снова сплошная тоска.

Закреть бы глаза и никого не видеть – ни мать, ни отца, ни брата Ваньку. Подолгу стоял у окна и смотрел на двор – ничего интересного, все старо и знакомо, одни и те же лица. И опять накрывала тоска.

Те же бабки – соседки на лавочках покрикивают на внуков и сплетничают. Те же соседки, в небрежно, наспех накинутых на плечи пальто, в грубых шерстяных носках и тапочках, развешивают на морозе белье. А из-под пальто топорщатся и нагло вылезают ночные рубахи и байковые халаты.

Медленно бредут усталые и равнодушные школьники, размахивая портфелями.

Кто-то тащит из магазина неподъемную сумку, откуда бесстыдно вываливается хвост мороженой рыбы или еще хуже – страшная оскаленная рыбья морда. Тоска. Вдалеке торчат, мозолят глаза, выплевывая сизый вонючий дым, темные заводские трубы.

Детвора катается с ледяной горки на самодельных картонных ледянках.

И самое главное, что все это будет всегда – без изменений! Те же бабки, та же детвора, та же рыбья морда из сумки. И те же трубы завода, вокруг которого крутится жизнь городка.

Но пришла весна, а за ней и лето, и Димка стал мало-помалу приходить в себя. Но тут начались бесконечные поездки на огороды – мать разводила картошку, свеклу и морковь, и ему было стыдно отказывать ей: сидит здоровый балбес на их шее и валяет дурака.

На огороде поставили сарайчик. «Домик дядюшки Тыквы», смеялся он. Кое-как втиснули их старый детский диванчик, стол и пару стульев – перекусить, выпить чаю да и просто прилечь отдохнуть.

Он часто оставался там ночевать, ехать домой не хотелось. Лежал на

диванчике, закинув руки за голову, и смотрел в маленькое, подслеповатое окошко. На черном небе горели белые звезды. Висел узкий и острый серп молодого месяца. Ну все, ждать больше нечего – он уезжает. Вывез из дома учебники и стал заниматься, готовиться в институт. Родителям пока ничего не говорил – зачем расстраивать их раньше времени? А вот брату сказал, помня его старую обиду. Ванька, конечно, расстроился и принялся его отговаривать. Но не помогло. Настроен Димка был решительно, и чужие доводы не принимались.

С той поры, когда он принял твердое и окончательное решение, он снова стал бодрым, веселым. Тоски и печали как не бывало.

Родители радовались и вопросов не задавали – молча переглядывались и осторожно улыбались: ну наконец-то! Пришел парень в норму. А он отводил глаза – было стыдно. Стыдно скрывать, стыдно обманывать. Но ничего, переживут как-нибудь, он их одних не бросает – с ними остается Ванька, надежный, серьезный, заботливый.

В июле Димка собрал вещи, собрался с духом и решился на разговор – тянуть было нечего, подступало время отъезда.

Вот тогда-то он и встретил Тасю – совершенно случайно, на автобусной остановке, лицом к лицу. Не укрыться и не сбежать. Увидев его, она побледнела и дернулась. Обернулась, ища укрытия. Какое там!

Он, тоже смутившись, немного скривился и подошел.

Разговор был дежурный, обычный:

– Как ты? Ну и вообще – какие новости?

Тася стояла с опущенными глазами и монотонно, тихим голосом повторяла:

– Все нормально, все по-прежнему, все хорошо.

Он старался говорить бодро, но был смущен и здорово робел, даже струхнул. Понимал, что поступил с ней некрасиво.

Увидев у ее ног сумку – большую, видимо, тяжеленную, перехватил ее смущенный взгляд.

– Учебники, – объяснила она. – Вот, заказала, с почты несу.

Он тяжело вздохнул.

– Ну давай помогу. Нехорошо как-то женщине тащить такую тяжесть.

Тася пробовала возражать, пыталась вырвать сумку, но не получилось. И она засеменила за ним. У ее дома остановились.

– Может, зайдешь? – одними губами спросила она, жадно разглядывая его лицо.

Он растерялся и что-то замямлил. Но она, на удивление, была настойчива. Не просила, а даже требовала.

Ну и зашел, что уж там.

Потом он курил и смотрел в потолок, а она лежала рядом, уткнувшись мокрым от слез лицом в его плечо. Молчали. Наконец она сказала. Не спросила, а именно уверенно сказала:

– Уезжаешь. Я понимаю. Нет, правда, я все понимаю! Я бы сама... уехала. Сбежала отсюда. К черту на кулички бы сбежала!

Он почувствовал, как напряглись мышцы – спина, руки, ноги, живот.

– Сбежала бы? – удивленно, дрогнувшим от волнения голосом повторила он за ней.

Она закивала.

– Странно, – пожал он плечом. – А я думал, ты всем довольна.

Про себя он так и не ответил. Ничего не сказал, ни слова – не подтвердил и не опровергнул. И с собой ее не позвал.

Она легко выбралась из-под тяжести его руки, встала с кровати, накинула халат и делано улыбнулась.

– Чаю хочешь, Дима? Или что-то поесть?

– Нет, – коротко бросил он и тоже поднялся с кровати, – спасибо.

Быстро оделся и вышел в сени. Увидел, как она стоит на кухне и смотрит в окно.

Не подошел. От двери бросил:

– Ну, я пошел!

Она ничего не ответила.

Через восемь дней он уехал в Москву.

С родителями, кстати, обошлось – сам не ожидал. Мать собрала его в дорогу, напекла пирожков: «С картошкой, Дим! И с капустой. Утром поешь, не испортятся!»

Вообще в те дни разговаривали мало. Молчал отец, молча вздыхала мать, вытирая украдкой слезы. Молчал и Ванька, отводил глаза.

А Никитин мечтал об одном – поскорее сесть в поезд и помахать им рукой. «Поскорее, пожалуйста», – торопил он словно застывшее время. Слишком тягостно все это было. И слишком больно.

В проводные вызвались отец и брат. Мать осталась дома.

На перроне обнялись – всё молча, отведя глаза. Последние слова отца: «Не забывай. Пиши. Или звони».

Брат похлопал его по плечу и подхватил чемодан.

Никитин шагнул на ступеньку вагона. Войдя внутрь, задвинул чемодан под койку и подошел к окну. Отец и брат жадно вглядывались в мутноватое вагонное окно. Увидев его, обрадовались, словно он не уезжал, а только приехал. Помахали друг другу, и поезд, злобно пыхнув паром и сурово

лязгнув колесами, медленно тронулся.

«Наконец то! – выдохнул Никитин. – Наконец все закончилось. И все начинается! Вот сегодня, здесь, в поезде, в убогом и грязном плацкартном вагоне».

В этот день, двадцать пятого июля, начинается новая жизнь. Он свободен.

В институт он поступил довольно легко – правда, для начала узнал, в каком из московских вузов поменьше конкурс. Вторая попытка должна быть точно успешной. Прошел во втуз, при заводе ЗИЛ – попасть туда было несложно. Провал невозможен, как говорил Штирлиц. Ванька, брат, добрая душа, подкинул немного денег – из тех, что скопил на отпуск.

Никитин взял, но твердо дал обещание, что деньги вернет. Ванька отмахнулся:

– Давай уж! Не подведи.

Деньги тратил с крестьянской осторожностью, экономя на всем, – в обед в дешевой рабочей столовой позволял себе только первое. Помогал хлеб с горчицей. «Ничего, перекантуюсь, – утешал он себя. – Вот стану получать стипендию и заживу! А дальше найду подработку». Работы он не боялся.

Институт был непрестижный, но какая разница? Понятно, что в модные и престижные МГИМО и университет его не возьмут. Главное – устроиться потом, после диплома. А уж он постарается, будьте уверены.

При поступлении помогла и Советская армия, спасибо ей: отслуживших принимали охотнее, выделили комнату в общежитии. Располагалось оно на самой окраине, у Кольцевой. Да и ладно, какая разница? Главное, что есть угол. Или точнее – койка и тумбочка.

Здание общаги было старым и страшно обшарпанным. Со стен и потолков свисали клочья штукатурки – не дай бог рухнет на голову. В туалетах текли бачки, в раковинах навечно застыли ржавые дорожки, а на кухне коптила газовая плита и пахло дешевой едой.

На первом этаже жили парни, а на втором – девушки. Так было задумано – наивная администрация считала, что на второй этаж молодым и похотливым самцам будет труднее залезть. Но все равно залезали – попробуй останови!

В комнате, выделенной Никитину, стояли три койки. Его и двух парней – абитуриента Володьки Соколова из далекого Ижевска и третьекурсника Саида Валямова, жившего раньше в селе под Саратовом.

С Володькой контакт наладили сразу, а вот с хмурым Саидом быстро не получилось. Но жили мирно, без скандалов. По вечерам Саид уходил на

халтуру – разгружать машины на овощной базе. Приходил под утро и со стоном падал в кровать. Конечно же, просыпал первые пары. Соседи думали, что он просто жадный – иначе зачем так ломаться? Ночным грузчикам платили хорошо, от семи рублей до десятки. Раз в неделю вполне достаточно – тридцатка плюс стипуха, живи не хочу! А этот? Ломается, надрывается, ходит злой как собака и на всем экономит. Наверное, копит.

Но все оказалось не так – через полгода узнали, что Саид отправляет деньги родне в деревню – больной матери и инвалиду отцу. Вот и думай о человеке плохо. Устыдились. Иногда Саид брал их с собой. Разгружали картошку, капусту, морковь и свеклу. Капуста гнила и отвратительно, нестерпимо воняла. Завязывали шарфы на лицо – и вперед. Пару раз попадали на фрукты, и это был праздник. Яблоки, груши – все недозрелое, мелкое, но все равно радость. Ими набивали карманы и сетки-авоськи. Начальство на это закрывало глаза: все понимали, что студенты, ясное дело, едят не досыта. Да и чего жалеть-то – все не свое, государственное.

С учебой справлялись легко. После стипендии позволяли себе поехать на ВДНХ, развлечься и съесть шашлык. Кадрились к девчонкам, провожались до ночи и до синих губ целовались в подъездах.

Володька отвалился первым – на втором курсе у него появилась девушка Наташа с соседнего факультета. Ну и пропадал Володька у своей любимой.

Никитин звонил в Н. редко, примерно раз в месяц. Разговор с матерью или отцом был сухим и коротким:

- Все нормально?
- Нормально.
- Здоров?
- Да.
- Как питаешься? Не голодаешь?
- Питаюсь отлично.

Мать всхлипывала, причитала, а однажды полушепотом, по секрету, сообщила, что у брата Ваньки наконец появилась девушка – хорошая девушка, скромная. Работает в бухгалтерии при заводе. Дай только бог, чтобы не разбежались и поженились! Ванька у нас бирюк, Дима! Об этом все знают.

Спрашивали, когда он приедет.

- На Новый год?
- Нет, мама. Не получится. Едем в студенческий лагерь.
- Ну уж летом-то, на каникулы, а, сын? – заискивающе спрашивала

она.

– Посмотрим, – сдержанно отвечал он, – если получится.

Обещал, но не получилось – в июле, после летней сессии, поехал на халтурку с Володькой и Саидом строить коровники в Калининской области, под Ржевом. А в августе, «срубив деньгу», вместе с Володькой и Наташей решили махнуть на море. Никитин сопротивлялся и кокетничал:

– А я вам зачем? И без меня не загрустите! Да и что я один? Как тень отца Гамлета!

Наташа обещала прихватить подружку Марину. Незнакомая Марина училась в педучилище и жила где-то в Химках. Наташа показала ее фотографию – конопатая и сильно курносая, она ему не понравилась.

– На безрыбье и рак рыба, – философски заключил Володька. – А не понравится, найдешь себе чувиху на месте. Какие у тебя обязательства?

На том и порешили. Да и вообще, какая разница: Марина, не Марина? Главное – море! А он на него заработал.

Настроение портила перспектива объясняться с родителями, и это, конечно, угнетало. Нет, понимал, что нехорошо. А что делать? Не ехать на море? В конце концов, они там не одни! Решил позвонить Ивану. Он в семье дипломат, как-нибудь нерадивого братца отмажет. Ванька всегда его выручал. Ну и заодно расспросил про невесту.

Невесту звали Тамарой, Томкой, как называл ее брат.

– Красивая – раз, – перечислял Ванька, – фигуристая – два! Хозяйственная – три! Не веришь? Честное слово! Такие блины напекла, даже мама расчувствовалась. А уж чтобы наша мама... Ну ты понимаешь! Жениться? А что? От добра, Дим, добра не ищут! И к тому же, – Ванька смутился, – любовь у нас, брат!

А после короткого Димкиного смешка со вздохом спросил:

– На свадьбу приедешь? Или опять дела?

Никитин горячо заверил брата, что обязательно приедет – какие уж тут сомнения и вообще разговоры?

* * *

Десятого августа сели в поезд, везущий их в рай. Никитин был абсолютно уверен, что в рай. На море он еще не был.

Конопатая и курносая Марина, «не нос, а сапог», хмуро подметил Никитин, все время молчала и нарочито внимательно смотрела в окно. Володька подмигивал другу, но Никитин уверенно мотал головой:

– Не, не думай и не уговаривай. Не мой вариант.

Приехали в маленький поселок и прямо на берегу сняли сарай для лодок – продувной, с земляным полом, на котором были небрежно разбросаны рваные соломенные циновки. С потолка свисала лампочка Ильича. По стенам стояли железные кровати, на которых лежало серое, застиранное белье. Стол и четыре стула. Устраивайтесь, если подходит, а нет – до свидания!

Сарай был разделен на две комнатухи. Посередине, четко пополам, покачивалась от ветра условная стена из фанеры.

– Да уж, апартаменты! – презрительно хмыкнула Марина.

Толстенная, смуглая до черноты тетка, жена рыбака и хозяйка сарая, не выпуская изо рта «Беломор», смотрела на них с недоброй насмешкой. Сразу видно, что ободранцы. Студенты – что с них взять? Пусть будут рады и этому. За весь сарай брали копейки – три рубля в сутки. Попробуй найди дешевле! Все просили не меньше двух рублей с носа за койку, да и то далеко от моря. А здесь на самом берегу! Да вообще можно спать под открытым небом и слушать прибой.

Девчонки, конечно, вздыхали. А парням все нравилось – красота! Конечно, они согласились – а куда было деваться? Денег и вправду было немного – перед отъездом на море здорово приоделись: купили джинсы у спекулянтов, модные трикотажные батники и даже кроссовки «Адидас» – правда, наши, отечественные, но все равно красота. Клево, как говорится.

Усмехнувшись, хозяйка принесла керогаз и огромный, закопченный алюминиевый чайник, который посоветовала кипятить на костре. Выдала еще по одному одеялу – вдруг мерзлявые? Ну и немного посуды. И заключила:

– Живите! Еще спасибо скажете!

Никитин попросил у хозяйки веревку и большую простыню – разделить их с Мариной «комнату».

Хозяйка приподняла смоляные широкие брови:

– Поссорились, что ли? А, вы не пара, вы – так?

Марина недовольно фыркнула и скривила губы:

– Какая там пара? Вот с этим?

И презрительно посмотрела на непрошеного соседа.

«Да и черт с тобой! – весело подумал Никитин. – Больно ты мне нужна! Тоже мне, красавица! И не таких видали».

Кое-как обустроились. Девчонки даже умудрялись варить суп на вонючем, немыслимо долго разгорающемся керогазе. На костерке кипятили чай и пили его бесконечно, с хлебом и плавлеными сырками, – пожалуй,

единственным, что было в изобилии в местных магазинах. Зато хлеб, серый, пышный, ноздреватый, с еле заметной кислинкой, был отменно свежим и восхитительным. На «десерт» обедались печеньем, щедро намазанным сливовым повидлом – местным «специалитетом», продававшимся в двухкилограммовых жестяных банках, которые легко вскрывались ножом.

Словом, не голодали.

Хозяева оказались цыганами. Василий, глава семьи и кормилец, тоже смоляной, черный как сажа, прокопченный, узкий и тощий, словно высохший на солнце и на ветру, оказался мужиком молчаливым – слова не вытянешь. Но к квартирантам по вечерам заходил и молча пил чай, не выпуская изо рта смятую папиросу. Иногда выпивали бутылку портвейна.

Но как-то разговорился и поведал гостям, что с Донкой своей из табора они сбежали – не хотели мотаться по городам и весям. От родни скрывались долго, боялись, что их обнаружат. Цыганская почта – дело серьезное. Прятались пару лет, ну а потом притулились здесь, на теплом море. Кое-как построили дом – ребята называли его «дом рыбака». Ну и зажили с божьей помощью.

– всю жизнь здесь прожили и ни разу – ни разу! – Василий угрожающе глянул на ребят, будто ждал, что они будут спорить. – Ни разу не пожалели, что сбежали тогда!

Зимой, когда наступали холода и выл злой и протяжный ветер, уезжали к дочери в город. Единственной дочерью очень гордились – еще бы! Простая цыганка, а выучилась на врача! Такая вот умница.

Каждое утро, чуть занимался рассвет, хмурый, молчаливый Василий уходил в море. Возвращался к восьми утра. На берегу, вглядываясь в даль, ждала его Донка, жена. Лодка причаливала к берегу, Василий привязывал ее за кол, молча проходил мимо жены и шел спать. Хозяйка тоже молчала, провожая его взглядом. Муж заходил в дом, а она принималась сортировать рыбу – надо было еще успеть на базар. Иногда из соседних домов приходили отдыхающие – обгоревшие, полусонные, в шортах и купальниках, – и брали у Донки рыбу. В те дни она оставалась довольной – поездка на рынок отменялась. А если после продажи оставалась какая-то незначительная рыбешка, Донка ставила перед ребятами старый эмалированный таз – дескать, вот вам подарок. И они, конечно же, радовались: на обед будет свежая рыбка.

Да и вообще было счастье – одно сплошное и невозможное счастье.

Рано утром, едва проснувшись, Никитин как ошпаренный выскакивал из сарая и с громким гиканьем мчался вперед – скорее, скорее! Скорее

нырнуть, нырнуть с головой, глотнуть соленой воды! А потом выскочить на берег, где еще не начало припекать коварное солнце, наспех обтереться полотенцем и приняться за костер. Очень хотелось есть! Схватить, оторвать огромный ломоть хлеба, в котором застряли скрипучие мелкие песчинки, руками разломать спелый, сладчайший, огромный помидор, посыпать его крупной серой солью, куснуть, блаженно прикрыть глаза и снова почувствовать себя самым счастливым на свете.

«Молодые», как с иронией называл Никитин Наташу и Володьку, просыпались поздно, часам к десяти. Из сарайчика выползали нехотя, заспанные и припухшие. Никитин еле сдерживал улыбку – ясное дело, не спали всю ночь. Их возню и прищептывания было слышно отлично – фанерная перегородка «молодых» не смущала. А «эта дура» – так про себя он называл рыжую Марину, – как всегда, появлялась с недовольной миной на хмуром лице.

Все трое переглядывались. Какой же занудой оказалась эта Марина! Не нравилось ей все, буквально все – и их временное жилище, и суровая Донка, и ее вечно хмурый Василий. Море было «противным и теплым, как вода в ванне», помидоры – сладчайшие и вкуснейшие – кислыми, жареная рыба воняла, а песок был колючим и грязным.

Все ее еле терпели, настроение она портило здорово. Но деваться было некуда, только Наташа то и дело извинялась перед Никитиным. Да и Володька оправдывался:

– Ну кто ж знал, брат? Зато почти москвичка, с квартирой. Нет, ты присмотрись! Может, она такая, потому что на что-то рассчитывала?

Никитин тогда разозлился:

– Рассчитывала? На что? Москвичка с квартирой? Да лучше кантоваться на вокзале или вернуться на родину, чем жить с этой занудой и уродиной!

От случайной рифмы оба не выдержали и заржали. Мир был восстановлен.

В первые же дни Никитин здорово обгорел – торчал на море до вечера. Тело, покрытое волдырями, горело и нестерпимо болело – не вздохнуть, не перевернуться. Хозяйка, качая головой, поделилась прокисшей простоквашей – лучшее средство.

– Мажь давай! – сурово приказала она перепуганной Марине. – Ишь расселась, а человек помирает!

Выхода не было – «молодые» удрали в кино. Пришлось Марине оказать ему первую помощь. Никитин поморщился, когда она осторожно присела на край его койки.

– Осторожнее, слышишь?

Никитин напрягся и приготовился к самому страшному. Но руки у Марины оказались почти невесомыми – мазала она его осторожно, аккуратно и даже нежно. Никитин тихо постанывал. Намазав, она, почти неслышно, пристроилась рядом. Никитин вздрогнул, с тихим стоном от нее отодвинулся и, измученный, тут же уснул. Наутро Марина перестала с ним разговаривать – он понял, что надежд ее не оправдал, и ему стало смешно.

Но все хорошее, как известно, быстро заканчивается, и время пролетело почти мгновенно – пора было собираться домой. В последний день солидно закупились на рынке – набрали мохнатых розовобоких персиков, фиолетового, почти прозрачного, винограда, желтых янтарных груш.

Хмурый Василий протянул на прощание четыре вязанки соленой рыбки.

– Под пиво, – коротко бросил он и, не прощаясь, пошел в дом.

В поезд уселись довольные. Повезло: на вокзале прихватили пива. Эх, да под рыбку! Красота!

Марина в трапезе не участвовала – подперев голову, с недовольным видом смотрела в окно. Но всем было наплевать на эту зануду – скорее бы с ней распрощаться!

До занятий оставалось четыре дня, и в это время в Москве появился Иван.

Слава богу, что поймал, перехватил брата в общаге. Могли бы разминуться, не встретиться.

В маленькой и заставленной барахлом комнатке крупный, неуклюжий Иван смотрелся нелепо. Никитин поставил чайник и смущенно уселся напротив:

– Ну, брат! Что слышно? Рассказывай!

Оказалось, что слышно многое. Например, Иван и Тамара подали заявление и назначили свадьбу.

– К Новому году, как я тебе говорил!

– Где?

– Да в кафе на вокзале, а где же еще? – смущенно буркнул Иван. И, подняв глаза и смущаясь, тихо спросил: – Приедешь?

Димка заверил, что да, как иначе? Видел, как рад – нет, как счастлив – Иван.

Вспомнив и хлопнув себя по лбу: «Вот дуралей!» – брат стал выгружать из старого рюкзака гостинцы: три банки с вареньем, шмат сала с рынка и банку сметаны, желтой, густой, словно масло, хоть ножом режь.

Оттуда же, с рынка. Иван торопился. В столицу приехал на один день – работа. Завтра в смену.

– Зачем приехал? – поинтересовался Димка.

– Да кольца купить, обручальные кольца.

– Достал?

Иван грустно развел руками:

– Да ну... Те, что есть – тяжелые, толстые и дорогие. А Томка хотела тоненькое. Правда, мать возмущалась: «Тонкое? Что мы, не можем купить *нормальное*? Что скажут люди? Никитины сэкономили на старшем сыне?» Вот и не знаю, что делать. – Иван был явно расстроен.

– Поехали! – решительно сказал Димка. – Разберемся!

Иван покорно кивнул и всю дорогу с уважением посматривал на младшенького: «Видно, освоился в этой Москве. Не то что я, недотепа».

Никитин и вправду освоился – подкатил к продавщице, симпатичной девахе с густо накрашенными угольными ресницами, что-то ей пошептал, и та, покраснев и оглянувшись, осторожно вытащила два тоненьких, изящных колечка. Ванька, вспыхнув от радости, горячо благодарил младшего брата. И еще – искренне восхитился им.

До поезда оставалась пара часов, и довольный Никитин пригласил старшего брата поужинать.

Сунув деньги в карман напыщенному, словно гусак, швейцару, легко проскочили в ресторан. Уткнувшись в меню, Ванька замер от ужаса:

– Ну и цены у вас!

Младший засмеялся:

– Москва! – И заказал на свой вкус, поняв, что ошарашенный Иван никак не решится.

Заиграла музыка, и обалдевший Иван принялся глядеть по сторонам – какие девицы, мама дорогая! А юбочки? Ну до пупа! Вот бесстыжие, а? А каблуки? И как они на них вообще ходят? А боевой раскрас, как у вождя индейского племени? А сигареты в зубах? Буквально у всех, поголовно!

И было непонятно, восхищается он или осуждает столичных девиц.

– Нет, это не для меня! – качал он головой. – Не для меня твоя столица, я бы не смог!

В глазах его стояли изумление, растерянность и все-таки восхищение. Скорее бы домой, в тишину и покой, где все неторопливо, как он привык. И конечно, спешил Иван к своей зазнобе, к невесте. А она у него, между прочим... Да лучше и не найти! Золотая у него Томка, чего там. Куда им, всем этим?

Димка проводил брата до вокзала. На перроне обнялись.

– Когда приедешь-то? – спросил Иван. – Только на свадьбу? Мать-то скучает. Да и батя тоже.

Никитин горячо заверил, что на свадьбе он точно будет, а раньше не выйдет – учеба.

Махнув рукой уходящему поезду, с облегчением выдохнул: слава богу, помог брату, угостил, проводил. И... «Черт, дурак! Нет, идиот – надо же было послать что-нибудь родителям! Конфеты, например! Или духи матери. А отцу бутылку или что-то еще. Не сообразил».

Ругая себя последними словами, поплелся в общагу. Ну ничего! Можно исправить – послать по почте или с проводником. Успокоив себя, он бодро зашагал к метро.

И именно в тот день встретил Тату.

Он зашел в полупустой вагон – к десяти вечера народ рассосался – и плюхнулся на свободное место. Напротив сидела девушка. Никитин вздрогнул и уставился на нее. Она, заметив его взгляд, равнодушно посмотрела на него, как на мебель или фонарный столб, и во взгляде ее читалось сплошное презрение.

Смутившись, Никитин все равно продолжал пялиться. Девушка обдала его насмешливым взглядом, фыркнула, демонстративно поднялась с места и направилась к двери, на выход.

Никитин, сбросив оцепенение, бросился вслед за ней. Только бы не упустить! Но девушка в голубой кружевной кофте исчезла, растворилась в толпе. Он бросился к эскалатору и тут наконец увидел ее и заторопился, почти побежал, чтобы снова не потерять. Настиг он ее на улице, но подойти не решился, просто отправился следом с пересохшим от волнения ртом, и сердце его колотилось как набат – бух, бух, бух. Крался осторожно, оглядываясь, как заправский шпион. Ну или как полный дурак.

Спустя много лет, когда их семейная жизнь окончательно развалилась и порядком осточертела им обоим, но в первую очередь ему самому, он вспоминал этот день и их первую встречу. Глядя на нынешнюю Тату, отекающую и словно разбухшую, он силился вспомнить ту девочку в голубой кружевной распашонке и в джинсах, в джинсовых сабо с вышитыми цветочками, полногрудую, светлоглазую, с копной волнистых густых волос, с насмешливым взглядом, уверенную в себе, невозможно уверенную москвичку. Но помнилось плохо. Прошло много времени, и все слилось, перемешалось в голове. Слишком много было всего, плохого и даже ужасного, нелепого и страшного? Да. Очень уж дурацкой, нелепой и несчастливой получилась их совместная жизнь. А тогда она и вправду была хороша. Не зря же он завелся.

Куда все потом подевалось, господи? Конечно, никто не молодеет и не становится краше – возраст никому не идет. С годами Никитин тоже поправился и даже обрюзг, тщательно маскировал свой приличный животик под свободными рубашками и свитерами, полысел, растерял пышную шевелюру, пытаясь прикрыть перед зеркалом и эту неприятность. Недовольно морщась по утрам, разглядывая себя в зеркале в ванной. Но Тата! Красавица Тата, вечно желанная Тата! Где ты, ау!

Но это случилось много позже. А тогда у подъезда добротного дома из красного кирпича она обернулась.

– Ну что? И долго все это будет продолжаться?

Никитин стоял в двух метрах от нее и молчал. Молчал как пень, как каменный истукан с острова Пасхи. Молчал как полный идиот и законченный кретин.

Она усмехнулась и продолжала в упор, без стеснения, разглядывать незадачливого ухажера.

– Ты что, маньяк? – Она нахмурила брови.

Он закачал головой.

– Глухонемой? – с деланным удивлением протянула она.

– Нет, – с трудом выдавил Никитин.

– А, все слышишь и говорить умеешь! Ну и вали тогда. В смысле – проваливай! Тебе здесь не светит, усек? – Она окинула его брезгливым взглядом и зашла в подъезд, громко хлопнув тяжелой дверью.

Никитин караулил ее две недели – мотался по двору, зеленому, ухоженному, пышно засаженному кустарниками и цветами. Суровая дворничиха с вечной метлой провожала его настороженным взглядом.

Но вот Тата вышла из подъезда и, увидев его, удивленно вскинула брови.

– А, маньяк! Решил брать измором?

Он развел руками: дескать, а что делать-то? И выдавил из себя жалкую улыбочку, словно одалживался. Впрочем, впоследствии они и правда общались так, будто он вечно что-то жалобно клянчил у нее. А она с вечной усталостью и неохотой делала одолжение.

– Слушай, – недовольно проговорила она. – Я же сказала – хватит. У тебя ничего не получится, слышишь? Вот и заруби у себя на носу: ни-че-го! – по складам повторила она и, вскинув голову, гордо пошла вперед, но вдруг обернулась: – А будешь торчать здесь, – она смирла его снисходительным и в то же время презрительным взглядом, – заявлю в милицию! Скажу, что преследуешь!

Почему он не обратил внимания на эту угрозу? Ведь кое-что бы стало

понятно.

Но он не сдавался и снова «торчал». Ну и выторчал. Ему повезло.

Он проводил свой досуг, как всегда, у ее подъезда. И однажды услышал знакомый голос:

– Эй! Эй, ты! Озабоченный!

Он поднял голову и в окне третьего этажа увидел ее. Она махнула рукой:

– Поднимись!

Никитин, как подраненный, одним махом, в секунду, влетел на третий этаж, чувствуя, как вот сейчас, в эту минуту, у него остановится сердце. Дверь была открыта, и на пороге стояла Тата – непричесанная, в смешной детской пижаме и с перевязанным горлом.

– Болею, – прохрипела она, – родители в отпуске. В аптеку слетаешь? – И протянула ему рецепт.

А он радостно, словно нашел пиратский клад, закивал головой как китайский болванчик.

– А за молоком? – спросила она.

Не стирая улыбки, он снова кивнул и бросился вниз по лестнице.

– И меда возьми! – прохрипела она ему вслед. – Обязательно меда!

С аптекой было просто, с молоком тоже. А вот за медом пришлось побегать. Наконец уцепил пол-литровую банку и, счастливый, помчался обратно. Открыв дверь и взяв покупки, Тата сказала «спасибо» и громко захлопнула дверь перед его носом. И как не прищепила?

Он вздрогнул от неожиданности, но не расстроился – первый шаг был сделан, и сделан успешно! А тут и до второго недалеко! К тому же она болеет, а значит, есть повод! Да и родителей нет – что тоже плюс.

Словно на крыльях он рванул в общагу. Нужно срочно найти Саида и попроситься на вечернюю халтуру на овощную базу. Нужны деньги на фрукты и на всякое такое, что покупают больным. Правда, что именно, это нужно еще уточнить.

Три ночи подряд он пахал на базе – картошка, капуста, морковь. Приходил под утро и заваливался спать – конечно, лекции пропускал. Какие лекции, когда язык не ворочается?

А днем, отоспавшись, ехал на Фрунзенскую, к Тате, предварительно заскочив на Центральный рынок.

Армянские белые персики по кошмарной цене, абхазские лимоны – яркие, оранжевые, тонкокорые, невозможно сочные и ароматные. Огромные крымские яблоки, краснобокие и блестящие, так не похожие на подмосковные. Крымские груши, размером со средний футбольный мяч.

Нежный, розоватый от сливок домашний творог, желтоватое пахучее козье молоко в стеклянных бутылках. Треугольнички деревенского масла со «слезой», завернутые в чистейшую марлю. И домашняя курица – желтая от жира, с пупырчатой кожей и длинной, «жирафьей», шеей, на которой болталась голова с бледным гребешком и полузакрытыми глазами – на лечебный бульон. Все это, как его научили умные люди, необходимо больному.

Он стоял под Татиной дверью и прислушивался к звукам в квартире. Но дверь была тяжелой, солидной – из-за нее не доносилось ни звука.

Он долго топтался у солидной двери, а потом звонил. Она открывала, молча забирала у него сумки. Перед тем как захлопнуть дверь, сухо и сдержанно, словно вспомнив, коротко бросала сухое «спасибо».

А он был счастлив! Дурак. Каким непроглядным он был дураком! Кретин без чести и гордости. Правильно, за что его уважать?

Он звонил ей каждый день и интересовался здоровьем. Уточнял, какие просьбы будут сегодня.

А спустя восемь дней, когда ей стало полегче, она его жестко отшила:

– Все, свободен. Приехали родки. Я под наблюдением. Как же бездарно дни пролетели, и все, свобода закончилась, – горестно вздохнула она. – Ладно, давай! – И бросила трубку.

Как же, «давай»? Нет, теперь уж он точно от нее не отступит. А может, он и вправду маньяк?

Но настал и тот день, когда Тата согласилась прийти на свидание.

– Выходил, – засмеялась она, – ты меня выходил! Вот ведь упрямый баран!

На барана он не обиделся – главное было сделано. В общем, понеслось – она уступила. Никитин совершенно забросил учебу – черт с ней, с учебой! Дела у него были куда важнее – Тата. Он встречал ее у института, они шли в кино или в кафе – слава богу, деньги он, спасибо Саиду, зарабатывал. Осень выдалась теплой, сухой и безветренной. Разноцветные листья держались на ветках долго, почти до самого ноября. «Погода для влюбленных, – думал он, – романтическая, красивая, теплая».

С Таты почти слетели спесь и гонор – теперь она казалась ему спокойной и нежной. Они подолгу торчали в подъездах, усаживались на широкие каменные подоконники и без конца целовались.

– Выходи за меня! – однажды осмелился он.

У нее вытянулось лицо от такой наглости. Справившись со своим возмущением, она ответила:

– Шутишь? Ты на втором курсе, я на первом. Денег у тебя нет и не

предвидится. Куда ты меня приведешь? К себе в общежитие? Нет, ты окончательно спятил! Придет же в голову, а? Нет, даже не думай. К тому же мои предки. Ты думаешь, они обрадуются? Студент, лимита, без кола и двора. Дима, забудь. Забудь и успокойся. Сейчас точно нет. А как будет потом... Вот честно – не знаю. – Она посмотрела ему в глаза и повторила: – Забудь.

Никитин не расстроился, что ж, она права. Он и не надеялся – что она, дура? Но одна ее фраза сделала его бесконечно счастливым: «А как будет потом...» Ну и ладно. Мы подождем. Мы терпеливые. Главное, что окончательно не отмела. Не сказала, что невозможно. Что никогда. А там посмотрим, чья возьмет. Он был уверен, что возьмет его – другой вариант он не рассматривал.

* * *

Спустя годы Никитин думал: «Где были мои глаза? Где? Как я не разглядел в ней обычную девицу, примитивную мещанку, склонную к истерикам и претензиям. Человека холодного, прагматичного, даже безжалостного? Лишенного чувства сострадания и любви? Ее мать, отец, Лида. Как она обошлась с ними? Как я попался – так мелко, так дешево? Чем она взяла меня, чем потрясла? Чем околдовала? «Столичностью»? Мнимой светскостью? Раскованностью и цинизмом? Или смелостью? Казалось, ей все нипочем».

И правда, его, закомплексованного провинциала, поражали ее смелость, раскованность и нахальство, переходящее в наглость. Она умела поставить на место хамоватого официанта, нелюбезную продавщицу и неотесанного таксиста. «Москвичка, – с восторгом думал он, – потому и такая». Обладать такой женщиной? Такие ведь созданы не для таких простаков вроде него. У них другие мужчины! И кавалеры другие. Ну и, конечно же, он был влюблен. А здесь, как известно, разум отключается. Во всяком случае, в его возрасте.

В том, что Тата была истинной дочерью своих родителей, Никитин убедился позднее. Да, именно так – дочь своих родителей, взявшая от них все «лучшее». Но разве она виновата? Вскоре, примерно через год после их поспешной свадьбы, понял он и все остальное – в том числе и то, почему, собственно, она за него вышла.

Назло. Назло матери. Назло той, кого ненавидела. На, получи! Хотела богатого жениха? Москвича из приличной семьи? Из нашего круга? Ха!

Получи нищего провинциала, сына «рабочего и колхозницы», студента обычного, затрапезного вуза – ни кола, ни двора! Вот тебе, на!

У нее, его жены, а тогда еще невесты, был тяжелый и затяжной конфликт с матерью – такой долгий, что, кажется, все забыли про то, что бывает иначе.

Скандалы в семье были делом обыденным, повседневным и даже почти обязательным. Без них не обходились ни одно утро, ни один вечер. Кажется, обе ждали, кто начнет первой. А если вдруг было странно тихо, обе начинали прислушиваться – когда, кто начнет? Непорядок! Как правило, первой начинала Татина мать, его «дорогая» теща Галина Ивановна. Ну а Тата моментально обрадованно и оживленно включалась. А! Наконец-то! Это были стиль, привычка – просто сама жизнь. Если случалось, что дома присутствовал глава семьи и «хозяин», как с сарказмом называла его милейшая Галюнечка, то обороты немного сбавляли. Нет, его никто не боялся – смешно! Но его тревожная и некрасивая суета, попытки помирить «своих девочек», беготня от одной к другой, из комнаты в комнату, с мольбой прекратить «безобразие» раздражали безмерно – он им мешал. И обе, кстати, ловили себя на подленькой мыслишке, что поддразнивать папашу им очень приятно.

Галина Ивановна была женщиной яркой и броской. Довольно высокая, ширококостная, крупная, статная, с красивым, породистым лицом, большими, с поволокой, темными глазами, крупным, ярким ртом, носом с еле заметной, «римской» горбинкой и прекрасными густыми темными волосами – дворянские корни.

Впечатление Галина Ивановна производила, этого не отнять. Но при встрече с ней невольно хотелось посторониться, уйти на обочину. Такая сметет! Несмотря на аристократическое происхождение, была она скандальной, грубой, кичливой бабой. Говорила, что гордая. Какая там гордость? Сплошная гордыня. Матерью была никакой, но мечтала о выгодной партии для дочери: как же, семья дипломатов! Любимые фразы – «человек из нашего круга», «человек не нашего круга», «не нашего поля ягода». Остальные все презирались – обслуга. Но про свои корни, про своих предков отмалчивалась: Тата смеялась, что дед и бабка по матери были обычными торгашами, держали скобяную лавку на Малаховском рынке, и дворянское происхождение – очередная мамашина выдумка.

Однажды Никитин подумал, что никогда, ни разу в жизни, не видел, чтобы его теща улыбалась. Такое бывает? Сурово поджатые губы, сигарета, вечно насупленные брови, тяжелый и недовольный, пристально изучающий взгляд. Казалось, Галина Ивановна всех подозревает, всех и во всем.

По дому она ходила в теплом, тяжелом бархатном халате, зима ли, лето – всегда. И в простых деревенских, серых, крупной вязки шерстяных носках.

– Дворянка! – шипела дочь. – Вот так все и открывается!

Но при этих халате и носках, при этом не самом презентабельном виде колец своих, серег и браслетов она никогда не снимала, боялась, что украдут. В доме и вправду бывало много посторонних – массажистка, косметичка, прислуга, кухарка. Частенько заходил врач – к своему драгоценному здоровью Галюнечка относилась с трепетом. Врача из спецполиклиники вызывали по самому незначительному поводу.

Позже Никитин понял – и тещина неврастения, и вечная подозрительность, и наверняка застарелая депрессия да и плюс поганый характер легко объяснялись. Мужа своего и «хозяина» Галина Ивановна ненавидела. Судьба ее была незавидной – при всем внешнем благополучии и несомненном достатке, о которых и не мечтали рядовые жители советской страны.

В далекой и светлой молодости юную девушку Галю бросил любимый. Да как! Уже была назначена свадьба, заказан праздничный торт, сшиты белое, нежное, как взбитые сливки, платье и легкая, прозрачная, как первый снег, фата. Счастливая Галечка – тогда еще не Галюнечка, а именно Галечка – задыхалась от счастья. Жених ее был прекрасен: и высок, и красив, и синеглаз. А вдобавок белокур и кудряв. А каким он был остроумцем! Как хохотала счастливая Галечка над его шутками!

Накануне назначенной свадьбы счастливая, невозможно счастливая невеста без сна ждала у распахнутого окна самого радостного в жизни утра, нетерпеливо притаптывая озябшими и холодными ступнями, вспыхивая от нетерпения и поглядывая на роскошный наряд.

До рассвета оставалось совсем недолго, впрочем, так же, как и до конца жизни. Потому что с рассветом жизнь закончилась. Свадьба не состоялась – без жениха никак не может состояться свадьба. А он некрасиво и пошло свалил, как в дешевом кино. Просто пропал – как не было. Нет, конечно, сначала подумали о самом плохом. «Что-то случилось! – кричала опухшая от слез Галечка. – С ним что-то случилось! Спасите его! Наверняка ему плохо! Он попал в больницу... или его убили», – добавляла она почти мертвым неслышным голосом.

Бросились по больницам. Пусто. Потом по моргам – та же история. Уф, слава богу! Счастливая Галечка отирала ладонями слезы и не отходила от окна, выглядывая любимого. Значит, занят, дела. Через три дня до нее наконец дошло – сбежал. И такое с кем-то бывает. Но с ней? Галечка

слегла. Одета в свадебное платье – снимать его она отказалась, – она лежала на диване, уставившись глазами в потолок, и на вопросы не отвечала.

Никто, даже мать, не знал, что бедная девочка носит ребенка и отец его – тот самый предатель. Прошел месяц, начался другой, а Галечка не вставала.

А в одно недоброе утро ее бедная мать нашла дочку в залитой кровью ванной. Галечка сделала с собой что-то ужасное, страшное, невозможное. Спицей, или металлической расческой, или чем-то еще. Какая разница?

Галечка умирала.

Спасли. После больницы она поднялась. Ела, пила, ходила, но ничего не чувствовала. Совсем. Разве что не могла отделаться от ощущения, что из нее достали все внутренности, что внутри одна пустота, как у выпотрошенной на бульон курицы. Она казалась себе именно дохлой курицей, с тонкой пупырчатой шеей и болтающейся головой, глупой и бестолковой. Или старой поломанной куклой, дурацкой, ненужной, за ненадобностью без сожаления выброшенной на помойку.

А спустя полтора года она встретила Петю. Петю Комарникова, хорошего, в сущности, парня. Правда, смешного, нелепого и неказистого, но разве дело в этом? Красавец у нее уже был.

Петя Комарников приехал в столицу из поселка Овсянки, что в далеком и холодном Красноярском крае – захочешь не доберешься. Впрочем, Галечка не хотела. Петя казался эдаким сельским простачком, Ваньком, лопушком. Ну чистый сибирский валенок. Смотреть на него не хотелось, и она отводила глаза. К тому же Петечка был гораздо ниже ее, уже тогда лысоват, безбров, слегка пучеглаз, с намечающимся под дешевой рубашкой пузцом, с полными, по-бабьи покатыми плечами. А еще он был коротконогий и короткопалый – на его руки Галина Ивановна не могла смотреть без отвращения всю дальнейшую жизнь. Да уж, красавчиком Петечка не был. Зато был страстно влюблен. Простой и надежный, Петя буквально молился на нее и клятвенно заверял, что будет ей *служить*. «Именно служить, не иначе. Ты не пожалеешь», – страстно шептал он, и Галечка в это поверила! Поверила, да. Но в тот самый момент, когда увлеченный, вдохновленный и потный Петечка страстно шептал ей эти слова, тыкаясь влажным лицом в ее нежную шею, Галечку вырвало. Небольшая желтоватая лужица вонючей рвоты растеклась по подушке. Галечка оттерла рот и насмешливо посмотрела на кавалера. Может, вот сейчас сбежит, исчезнет из ее жизни, испарится как не было – повод-то был! Но убежать Петечка не торопился. И даже наоборот – вытащил

носовой платок, огромный, как косынка, в крупную серую клетку, и начал осторожно оттирать запачканную подушку. Растерянная Галечка обескураженно разглядывала старательного юношу.

Наконец Петечка справился окончательно, выстирав тщательно наволочку в ванной, и присел на кровать.

– Плохо тебе, моя милая? Ты отравилась?

Галечка не ответила – только кивнула. Она поняла: этот не врет. Все, что бы с ней ни случилось, самое неприятное, даже невыносимое, мерзкое и отвратительное, он воспримет как божественный дар.

В тот день она решила выйти за Петечку замуж.

В столицу настырный Петя Комарников прибыл по комсомольской путевке. На родине он был женихом завидным – первый парень на деревне, что было, то было. Но остаться там на всю жизнь? Нет, товарищи и друзья! На это он был не готов. Добраться из Овсянки до Москвы было не просто, а уж поступить в институт!.. Требовались характеристики и прочая ерунда, способствующая поступлению. А вуз, надо сказать, Петечка выбрал отменный. Да и что мелочиться? Проиграть – так миллион, полюбить – так королеву. Нет, не так: не проиграть! Выиграть, только выиграть! Выиграть миллион, никак не меньше! И полюбить королеву, с этим он был совершенно согласен! Программа максимум.

Да, добраться до столицы было непросто, но Петя добрался. Он до всего добирался, этот Петя-петушок. И до Галечки в том числе.

До нее – да. До ее тела. А вот до сердца и до души не получилось. Не по рангу ему, с его-то свиным колхозным рылом. Радуйся тому, что у тебя есть. Что тебе дали, точнее бросили, как милостыню, как подсохшую корку хлеба. Лови!

И Петя поймал.

Всю жизнь она его презирала, всегда. За излишнюю суетливость. За яростное желание вскарабкаться и подняться еще и еще. За цепкость, за хватку. За преклонение перед ней, всепрощение и постоянную готовность прислуживать. Понимала – за этой простецкой внешностью, за этой личиной рубахи-парня, деревенского наивного простака, кроется человек жесткий и алчный, расчетливый и настырный, мнительный, подозрительный и даже жестокий. Не дай бог встать на пути Петра Васильевича Комарникова! Почему Галечка пошла за него? Да все просто как божий день – надоело. Надоело ловить жалостливые и насмешливые взгляды. Надоели постные лица отца и матери и их раздражающие заботы. Все надоело. Вся ее прежняя жизнь напоминала о любви, несостоявшейся свадьбе и несмываемом позоре брошенной накануне свадьбы невесты.

А как-то услышала, как горестно сетует мать:

– Ох, сколько денег пропало с этой чертовой свадьбой! Кому скажи – ужаснется!

Отец ей поддакнул. Галечка замерла, остолбенела. Она-то, наивная дура, считала, что они ее любят! А они жалеют о деньгах! Им деньги важнее, чем разбитое сердце дочери и ее унижение!

Она вообще презирала и не любила, чуралась людей. Не верила им. А теперь возненавидела еще и родителей. Сбежать, сбежать из отчего дома! Все зачеркнуть и начать новую жизнь. И, кстати, любить она больше никого не собирается. С нее достаточно, хватит, сыта по горло. Теперь пусть любят ее – она отлюбила.

Свадьбы, конечно, не было – еще не хватало! А вот на свадебное путешествие Галечка согласилась. Впрочем, какое уж там путешествие – так, ерунда. Ну съездили в Ленинград на пару ночей, вот и все путешествие. С погодой не повезло – впрочем, когда там везет с погодой? Был август, но лили дожди бесконечные, холодные, совсем не летние. Разместились в какой-то затрапезной гостинице на окраине, от райкома или горкома, какая разница? Город Ленинград, с его дворцами и площадями, так и не увидели толком. В окне были одна хмарь и гадость, заброшенный и грязный пустырь. Шли по Невскому, и молодой муж поймал Галечкин недовольный и презрительный взгляд. Тогда расстроенный Петечка клятвенно пообещал, что очень скоро, всего-то через пару лет, они непременно остановятся в «Астории».

– Увидишь, Галюнечка! Не обману!

Она глянула на него, как рублем одарила и коротко бросила:

– Посмотрим.

Правда, поверила – этот точно будет стараться.

Петечка окончил перспективный МИМО – тогда он так назывался. Были там разнарядки для деревенских простаков с хорошей комсомольской характеристикой.

Галюня не ошиблась в Петечке – карабкался он быстро. Правда, и коленки до крови обдирал, и стонал по ночам, и животом от расстройства маялся – нервничал, психовал. Старался оправдать доверие партии и любимой жены. Нет, не так – любимой жены, а уж потом партии. Но очень старался. Какой ценой ему все давалось, она предпочитала не знать – просто неинтересно, хотя и подозревала, что ее Петечка способен на многое. Ей было совершенно все равно, топит ли кого-то ее муж, топчет ли ногами, предает, подставляет или просто сметает на своем пути.

Петечка сдержал свое слово – через каких-нибудь семь лет у

Галюнечки была каракулевая шубка, сшитая в закрытом ателье для жен партийных работников. А через десять и норковая, что было, кстати говоря, совсем не просто. И сережки бриллиантовые, и колечки, и золотые, с алмазами, часики. И личный таксист, возивший ее по магазинам и на рынок. И прислуга. И поездки в санатории для избранных, с просторными, устланными коврами номерами, улыбчивым персоналом и услужливыми и заботливыми врачами. И гостиница «Астория», кстати, была – и тут Петечка не обманул. И командировки заграничные были, и приемы в посольствах. Ни в чем, заметьте, не обманул. Словом, жила Галюня совсем неплохо, чего уж! Куда лучше, чем многие!

А то, что не любила она заботливого Петечку... Да и черт с ним! Она прекрасно помнила – такое не забудешь, – чем закончилась ее любовь. Не зря же поется: «Один раз в год сады цветут. Весны любви один раз ждут. Всего один лишь только раз...»

И у нее уже был этот раз.

К тому же была она абсолютно уверена – юркий и прыткий Петечка ее не предаст. Никогда. А предательства она боялась больше всего.

Детей Галюня не хотела, но понимала, что надо. Какая семья без детей? Да и Петечку, кстати, надо держать – не дай бог... Знает она этих мужчин, знает. Второго разочарования ей точно не пережить.

Скрепя сердце и преодолевая брезгливость, она забеременела и в прекрасно оборудованном роддоме «для контингента» – ее страшно веселило и одновременно раздражало это дурацкое слово – легко и почти безболезненно, быстро и гладко родила дочь. Девочка была маленькая, всего сорок семь сантиметров, и при этом толстушка. «Вылитый папаша. Не повезло бедняжке», – с неприязнью подумала Галюня, разглядывая белесые ресницы и жидкие бровки, выпуклые светлые глаза, курносый нос и короткие пальчики.

Петечка встречал своих с роскошными букетами невиданных белых роз, с детской люлькой, обитой кружевом, со стопкой заграничных ползунков и кофточек, курточек и шапочек, с набором бутылочек и всяческих младенческих приспособлений, неизвестных в стране вечно зеленых помидоров.

«Чудеса, – думала Галюнечка, разглядывая всю эту красоту. – Надо же, как бывает!»

Пучеглазая девочка, ее дочка, названная в честь свекрови Натальей, по-домашнему Таточкой, была крикливой и беспокойной.

Галюнечка падала с ног и раздражалась.

По ночам к дочке вставал папаша, которому утром надо было идти на

работу. Да на какую! Ответственную. Петечка, несмотря на молодость, уже состоял в партии и ждал первую длительную командировку. Слово это было заветное, сладкое, и произносил он его с придыханием. Разумеется, речь шла о командировке за кордон.

Что делать? Звать бабок? Свекровь Наталью Семеновну из далекой сибирской глуши? Простую деревенскую полуграмотную старуху?

Старухе, между прочим, в те годы было слегка за пятьдесят. Но это так, к слову.

Призвать на помощь Галечкину мать? Нет, никогда и ни за что! Чем меньше в ее доме будет родственников, тем лучше. Видеть мать Галюнечка не хотела – помнила тот разговор про деньги и свадьбу. После него охладела к родителям навсегда. «Злопамятная я, – усмехалась она про себя. – Ну что уж поделаться!»

Оставалось взять няню. Найти ее помог Петечкин коллега.

Галюнечка внимательно приглядывалась к кандидатке. Нет, не то чтобы ее волновало, как эта незнакомая тетка станет обходиться с ее ребенком. Интересовало другое – как она будет существовать рядом с этой няней. Ведь находиться в одной квартире, видеть ее перед глазами придется круглосуточно.

– Ее надо минимизировать, – жестко сказала Галюнечка мужу. – Иначе я не смогу. Ты же знаешь, как я не люблю посторонних!

Муж согласился:

– Конечно! Ты, как всегда, детка, права!

При слове «детка» ее передернуло.

Няню взяли, выхода не было, и стало, конечно, полегче. Слава богу, тетка эта была молчаливой и почти незаметной. Или гуляла с девочкой, или тихо сидела в детской. Хозяевам не докучала.

Правда, и жизнь началась несколько другая – светская, яркая, наполненная событиями. И удачно, что помех в виде ребенка уже у них не было. Часто ходили в театры и на концерты – с билетами у Петечки проблем не возникало, причем с любыми. Стоило только снять телефонную трубку.

Простачок Петечка обожал концерты – к октябрьским, к Первому мая, в Восьмому марта. Галюнечка эти сборные концерты в Кремлевском дворце ненавидела. Но делать нечего – статус, придется ходить.

А вот в театре ей нравилось. Там было красиво и не так громко. Но муж в театре засыпал. Стыдно, да и черт с ним! Нет, поначалу страшно смущалась и толкала его в толстый бок, шипела:

– Петя! Проснись!

Тот вздрагивал, испуганно оглядывался по сторонам, мелко кивал и засыпал снова. Ну и она успокоилась – в конце концов, ей на все наплевать, в том числе на косые взгляды соседей.

После рождения дочки им дали новую квартиру, двушку на Соколе, и они съехали, к радости Галюнечки, из семейного общежития, кстати, вполне приличного: двухкомнатная квартира на две семьи, кухня и ванная, жить было можно. Но что говорить, своя квартира, без всяких соседей, с общежитием не сравнится.

Петечка уверил жену, что новую, куда больше, трехкомнатную или даже четырехкомнатную, они тоже получат, и это не за горами. Да и поближе к центру, а как же? Галюнечка мечтала о центре. И опять не обманул – когда Тате было семь, въехали в новый, прекрасный кирпичный дом на уже тогда престижной Фрунзенской: огромный холл, кухня пятнадцать метров, высоченные потолки с лепниной – какая пошлость, кстати! Но вид из окна на Москву-реку, с ее белыми пароходиками по весне, на Нескучный сад. Красота, не поспоришь.

С обстановкой тоже решилось все просто – поехали на склад для *контингента* и купили все разом – и финскую кухню, и румынскую столовую, и югославскую спальню, и чешскую сантехнику небесно-голубого цвета, и шалепинские обои с золотыми вензелями. И, конечно, хрустальные люстры и немецкие ковры.

В огромном, до потолка, холодильнике «Розенлев» были разложены деликатесы. Колбасы пяти сортов, от нежнейшей докторской из спеццеха до полукопченой финской, копченой российской, лучшей, по мнению Галины Ивановны. Там же – сыры трех сортов, от камамбера до твердого швейцарского, творог, молоко, сметана из того же спеццеха. Свежайшая парная телятина, крошечные цыплята, услужливо и аккуратно разделанная свежая рыба. Ярко-красные помидоры и свежие, с палец, огурчики – круглый год, даже среди зимы. Сливы и персики, груши и бананы – все, что захочется самому избалованному и прихотливому гурману.

Галюнечка расхаживала по своей роскошной квартире и снова чувствовала себя несчастной. Господи, ну какая же дура! Сколько баб на ее месте рыдали бы от счастья и целовали ноги кормильцу! Но не она. Нет. Холодным, но чутким женским сердцем она понимала – если ослабить вожжи, показать Петечке женскую слабость, намекнуть, что она любит его и что ее все устраивает, он в ту же минуту к ней охладает. Понимала, что ее коротыш и пламенный влюбленный тяготеет к женщинам холодным и равнодушным – он из этой редкой породы. И возбуждают его только ее отстраненность, безразличие и хладнокровность.

При этом они жили мирно, каждый жил своей жизнью. Совсем не ругались. Галюнечка ездила по магазинам и занималась собой – педикюр, маникюр, распределитель, сотая секция ГУМа. Муштровала прислугу – домработницу и дочкину няньку, эту тупую Лидку, прости господи. Как же она раздражала! Но без нее никуда. А Петечка много работал. «На благо родине, – шутил он. – Мы же служим народу!»

Циничность мужа ее раздражала, но разве она сама не такая? Разве она не жила как удобно? Да, не кланяется и не благодарит, все принимает как должное – высокомерно, с достоинством. А разве она не королева? Уж в мужниных глазах – точно! Вот и не надо себя терять. Кстати, он точно так же высокомерно – она слышала – разговаривает с подчиненными.

Принимали гостей. Терпела, а куда денешься? У них был свой круг, и игнорировать это было невозможно – от этих нужных людей зависела Петечкина карьера, значит, ее благополучие.

Когда дочке исполнилось восемь, Петечку послали за рубеж в долгожданную длительную командировку – первым замом посла в небогатой восточной стране. Галюнечке ехать туда не хотелось – замкнутый мир, климат, жара и влажность, новые лица, от которых не спрячешься, – все на виду. Да и в Москве ей было неплохо. Но как отказаться? Никак. Пришлось собираться. Тату оставили с нянькой – тихая Лида по-прежнему жила у них. И дочка, надо сказать, ее обожала. Можно было сдать дочь на время в интернат, но Петечка возражал.

«Ну и ладно, – решила Галина Ивановна, – пусть живет». Да и Тата устроила страшный скандал: «Останусь дома и только с Лидой!» Что копыа ломать? И Галина Ивановна согласилась: «Черт с вами». В конце концов, хотя на первом этаже безотлучно дежурит консьержка, оставлять пустую квартиру как-то не очень. Заодно пусть охраняют, все польза.

Кстати, вот что интересно. К десяти годам некрасивая и белесая Тата вдруг изменилась. Потемнели и загустели жидковатые волосики, неожиданно потемнели и стали густыми ресницы, крупные, чуть навывкате глаза ярко заголубели, и даже курносый маленький нос вдруг стал вытягиваться и принял вполне благообразную форму. Галина Ивановна с удивлением разглядывала фотографии дочери, присланные Лидой. Нет, всем известно, что дети меняются! Но то, что невзрачная дочь превращалась в красавицу? Это не то чтобы обрадовало Галину Ивановну – это ее удивило: надо же, сработали все-таки гены! Порода, куда от нее денешься!

В командировке все было так, как она и предполагала, – раздражало ее все, от климата, от которого портилась и желтела кожа, до липкой и влажной жары и одинаковости каждого дня. Бесконечные сплетни на бабских посиделках у бассейна, тупые разговоры о детях и ценах, хвастанье удачными и, главное, дешевыми покупками, обмен кулинарным опытом – невыносимо. Галина Ивановна, ненавидевшая общение в принципе, поджимала губы и отодвигала свой шезлонг. Разумеется, жены посольских ее возненавидели – зазнайка, капризная дура, отвратительная хозяйка и так далее.

Галине Ивановне было абсолютно все равно. Ненавидят? Да ради бога. Презирают? Подумаешь! А она их? Мелкие, суетливые и завистливые душонки – что с них взять?

Но и от скуки было не спрятаться. По вечерам чуть не выла. И завывала бы, если бы была уверена, что не услышат. Но стены в посольском доме были тонкими, почти фанерными.

Ни пожаловаться, ни поговорить не с кем.

Муж... Да что муж? Разве он когда-нибудь был ей другом? Близким и родным человеком, способным понять и услышать? Да и как объяснить ему, как? Ведь любая бы на ее месте радовалась жизни.

Теми тоскливыми и невыносимо длинными, душными вечерами и появилась первая рюмочка – лекарство от тоски и одиночества. А что, оправдание. Нет, это была не рюмочка – это был стакан для виски: тяжелый, прохладный от льда, с толстым устойчивым дном, прозрачный как слеза.

Сначала поморщилась – горько. Ее никогда не тянуло к спиртному – так, на праздник стопочка водки и полфужера шампанского, да и то сладкого, как газировка.

Но вдруг приятно закружилась голова и поплыл низкий, серый от влажности потолок. Размякли ноги, расслабились и безвольно упали на колени размякшие как тряпки руки. А самое главное – внутри, где-то глубоко в животе, стало тепло, почти горячо и как-то спокойно.

«Мне легче! – с удивлением и радостью подумала она. – Меня отпустило!»

Довольно долго Петечка, Петр Васильевич, ни о чем не догадывался. Галюнечка была о-го-го каким конспиратором. Незадолго до прихода мужа – короткий взгляд на часы – шли в ход кофейные зерна, зеленый и горький,

невозможно душистый лайм, от которого еще долго и приятно пахли пальцы, кусочек лаврового листа или просто конфета – обычная родная карамелька, знакомая с детства: «Лимончик» или «Снежок». Расчет был и на то, что муж уставал, приходил измочаленный, замученный. Тучному Петечке климат тоже не подходил. Единственное, что он отмечал, – жена, любименькая Галюнечка, повеселела. «Привыкла, – с облегчением подумал он. – Вот и славно». И снова ее пожалел: «Бедная девочка! Ребенок в Москве, бабы все эти. Конечно, не Галочкин круг! Да и вообще – я целый день на работе, а она, бедная? Чем ей заняться? Хоть бы подружилась с одной из этих куриц! Но нет, невозможно».

И по-прежнему, если не с большей силой, обожал свою «девочку» и горячо восхищался ею.

«За что это, господи? – с тоской думала, глядя в потолок, Галина Ивановна, когда ей приходилось уступать алчущему любви Петечке. – Поскорее! Поскорее бы это закончилось». А Петр Васильевич, несмотря на свой смешной и карикатурный вид, любовник был сильный и страстный. «Нет, он и вправду ненормальный! – раздраженно думала она. – Убогий какой-то, ей-богу! Идиот».

А безделье все больше затягивало и засасывало, как болото. Раз-два в неделю поездки по магазинам – продуктовым и промтоварным, убогим и смешным: сплошной китайский ширпотреб, в Москве у нее были тряпки получше! Конечно же, она не готовила. Но Петечка не жаловался – обедал в посольской столовой или перекусывал в городе.

Письма от Лидки приходили диппочтой раз в месяц. Это был подробный отчет, строго по пунктам, в столбик: оценки обожаемой Таточки, что и как она ест, ну и все остальное, про Таточкиных подруг и ее увлечения.

Увлечения были, конечно же, еще вполне детскими и невинными – посиделки с подружками во дворе, если непогода – в подъездах, походы в кафе-мороженое, в кино. Ну и всякая мелочь, которой живут нормальные, обычные советские дети. Училась Тата не очень – были и двойки, и даже колы. Но об этом Лидка не писала: Тата не разрешала, да и зачем волновать родителей?

В конце письма была приписана пара скупых и жалких строк от дочери: «Папочка, мама! – Именно так, в таком порядке. – У меня все нормально. С Лидой не ссоримся, учусь нормально, чувствую себя нормально. Скучаю».

От этих бесконечных «нормально» Галину Ивановну трясло.

А Петр Васильевич писал дочери длинные и подробные письма, в

которых описывал окрестности, местные достопримечательности, природу, тропические душистые цветы: «Ах, Таточка! Тебе бы понюхать! Такой аромат – восхищение!» И даже писал о жуках и местных бабочках, к письму прилагались и фотографии. К его подробному и довольно нудному письму Галина Ивановна, хмурясь, приписывала пару скупых и строгих строк: «У нас все *нормально*! Пиши подробнее, Тата! И слушайся Лиду!» Все с восклицательным знаком. И там фигурировало это *нормально*, так ненавидимое ею.

Петечка сетовал:

– Галя! А если потеплее и подробнее? Тему раскрой! – пробовал он шутить.

– Ты уже раскрыл, – поджимала она губы. – Ни добавить, ни убавить.

И разговор был окончен. При любой возможности, если кто-то летел в Москву, Петр Васильевич передавал дочке посылки – тряпки, обувь, конфеты, жевательную резинку – большую редкость и почти валюту в те годы, а также, потихоньку от строгой супруги, кое-что из косметики: светлый лак для ногтей, душистый вазелин для губ в тубике или тени с блестинками – на школьный вечер.

* * *

Галюнечкины «стаканчики» все-таки обнаружили. Как веревочке ни виться, кончику все же быть. Петр Васильевич пришел в ужас.

– Господи боже, – шептал преданный коммунист и безбожник, – господи, скажи, за что мне такое! И что же мне делать?

Но господь, не привыкший к диалогу с коммунистом Комарниковым, молчал.

Впервые Петечка устроил скандал и шипел страшным шепотом, боялся, что услышат соседи:

– Нас отправят домой! Слышишь? Нас отправят в двадцать четыре часа! Это позор и конец моей карьере! А ты отлично знаешь, как я шел к этому! Через какие буераки, через какие... – Петечка не договорил, горестно махнул пухлой ручкой и в бессилии шумно упал в хлипкое, шаткое казенное кресло, которое под ним угрожающе скрипнуло. И тут же, после минутного перерыва, заорал как подорванный: – Галя! Очнись и приди в себя! Иначе могила, кранты!

Кажется, впервые Галюнечка испугалась. Правда, быстро пришла в себя:

– Ах, так? Испугался? Ну и отлично! Домой? Лично я об этом только мечтаю!

– А я? Как же я? – тихо промямлил он и пустил слезу.

Она демонически расхохоталась.

«Ведьма, – с тоской подумал Петечка, – определенно ведьма, так меня заворожила. Жить без нее не смогу – просто тиски. И не отпускает ведь, а? И что я в ней нашел?» – впервые подумал он, глядя на растрепанную, неприбранную и пьяную жену. Но понял и другое: уже ничего не исправить. Питъ Галюня не бросит, как ни старайся. Хотя бы назло ему. Потому что она его ненавидит. Это он уже понимал.

И тут случилось несчастье – Петечка, Петр Васильевич, нелюбимый, постылый муж, неожиданно рухнул с инфарктом, прямо посреди рабочего дня. Поднявшись из-за стола, он упал вниз лицом и, конечно, разбился. По лицу, заливая рот и глаза, текла кровь. Позвали Галину Ивановну – благо недалеко. Как она страшно кричала! Но «Скорая» примчалась, когда еще не все успели испугаться.

Петра Васильевича увезли в госпиталь. Особых надежд не давали – опасный возраст, полнота, недавно диагностированная гипертония. Да и климат – этот кошмарный климат гипертоникам решительно не подходил.

Галюня испугалась – по-настоящему испугалась, всерьез. Петечка умрет? А что будет с ней? Она ни на что не способна и ничего не умеет. Да страшно представить – она пойдет на работу и целыми днями будет сидеть в душной, пыльной комнате с замученными и тоскливыми бабами, думающими об одном – достать шмат черного мяса и кусок отвратительной, несъедобной колбасы? Нет, никогда! Она просто не сможет – она привыкла к другому! Она знает точно – не сможет, и это не жизнь! А значит, выход один – уйти из этой жизни! Она так и сделает, да. Если не выживет Петечка. Значит, необходимо его выходить – с врачебной помощью, с божьей, с ее – какая разница?

Галюня почти не выходила из госпиталя, поразив этим не только Петечку, но и всех остальных работников миссии. Петечку вытянули, но, по строгому предписанию врачей, находиться в стране не представлялось возможным. Через две недели после его выписки из госпиталя они улетели в Москву.

Дома их встретила растерянная Лида, понимающая, что придется искать новую работу, и расстроенная дочь, давно отвыкшая от родительской заботы и привыкшая к свободе. Погрустневшая Тата прекрасно понимала, что замечательной и вольной жизни пришел конец.

Она не ошиблась – верную, любимую Лиду Галина Ивановна

рассчитала через неделю, предварительно устроив скандал по поводу «страшной запущенности квартиры». Это, конечно, было вранье, но заплаканная и перепуганная насмерть Лидочка целую неделю ползала по углам и стирала пыль с потолков. Не помогло.

Молча, со сведенными бровями и поджатыми губами, хозяйка ходила по своим хоромам, пытаясь отыскать промахи домработницы. Лида с отчаянно бившимся сердцем, замерев, стояла, прижавшись к дверному косяку, и ожидала приговора.

Денег при расчете выдали рупь в рупь. Тихо возмутился даже Петр Васильевич, и вспыхнула повзрослевшая Тата. Но Галина Ивановна пресекла все волнения:

– Ах, мало? А кормежка, а проживание? А почти три года как у Христа за пазухой? Нет, вы просто сошли с ума!

Спорить никто не стал, не решились. Но Петр Васильевич, щедростью не отличавшийся, пугливо оглядываясь, умудрился сунуть заплаканной Лиде пару зеленых хрустких полтинников.

Тата тогда окончательно убедилась: мать – сука и сволочь. Кроме отца, смешного, несуразного, нелепого и слегка презираемого (конечно, за преклонение перед *этой!*), Лидочка, простая как пятак, честная и верная, неподкупная Татина защитница, была единственным человеком, которого та любила.

Уход Лидочки она матери не простила. И вообще поняла окончательно: перед ней враг, хитрый, умный, опасный и сильный. Но ничего! Она, Тата Комарникова, в будущем – Наталья Петровна, тоже не промах – как-нибудь справимся. Посмотрим еще, кто кого. Вот тогда и началась затяжная, непрекращающаяся, не знающая уступок, перемирий и белых флагов война с матерью.

«Почему? – часто спрашивала себя Галина Ивановна. – Почему я так к ней отношусь?» Ответа она не находила. Нет, все понятно – дочь росла дерзкой и наглой, избалованной и капризной. Дочь раздражала Галюню до зубовного скрежета. А уж если она улавливала что-нибудь Петечкино, например интонацию или улыбку! С брезгливостью она говорила дочери, когда та, страшная сластена, ела торт или мороженое: «Разнесет тебя, матушка! Как отца разнесет!»

Да и Татины взаимные с отцом любовь и нежность друг к другу Галину Ивановну раздражали. Претензии копились и выплескивались в скандалы – громкие, склочные, некрасивые. Истеричные.

Дочь, разумеется, чувствовала ее нелюбовь – подростки к такому особенно чувствительны и реагируют остро. И отвечала ей тем же.

Но случилось то, чего не ожидала придирчивая Галина Ивановна: к шестнадцати годам ее дочь Тата окончательно превратилась в красавицу. Обычная, совершенно обычная девочка вдруг расцвела как маков цвет!

Ну просто сказка про прекрасного лебедя!

* * *

Два года Галина Ивановна держалась. А потом ее пьянки возобновились – снова втихаря, украдкой, теперь еще и от дочери. Правда, пила она только тогда, когда Петечки не было дома – слава богу, командировки его были частыми. А что до дочки, так той вообще до нее дела не было – возвращалась домой она поздно, с матерью не общалась, проскакивала в свою комнату. Раз – и нет. Сквозняк.

Нет, однажды все же зашла – так получилось, был какой-то срочный вопрос. Ну и увидела всю довольно страшную и странную картину: в полной темноте, с плотно зашторенными окнами, Галина Ивановна сидела на ковре, и перед ней стояла ополовиненная бутылка шотландского виски. Раскачиваясь из стороны в сторону и тихонько поскуливая, она, увидев дочь, вздрогнула и засмеялась страшным, дьявольским смехом, а потом, подняв на нее мутные, измученные глаза, зло и коротко выкрикнула:

– Чего тебе? Выйди вон, поняла?

Ошарашенная, дочь тихо ответила:

– Да, поняла. – И покорно вышла из комнаты.

Галина Ивановна всхлипнула и усмехнулась: конечно же, эта стерва тут же доложит отцу! Не то чтобы было страшно – Петюнечку она не боялась. Но все равно неохота: скандалы, уговоры и мольбы – противно.

Муж приехал через пару дней, и все началось:

– Галюнечка, детка! Любимая, дорогая! Ну как же так, милая? Снова здорово?

Самое неприятное, что муж стал настаивать на лечении.

Какое лечение? Пережить еще и этот позор? Нет, невозможно и никогда!

– Оставь меня в покое, – с угрозой потребовала она.

Петечка промолчал и развел руками:

– Ну, дело твое. Я предложил.

В это же время их интимная, так сказать, личная жизнь с Петюнечкой была наконец завершена. Предлог, по счастью, нашелся, и Галина Ивановна поставила решительную и жирную точку и выставила Петюнечку из

спальни в кабинет. Навсегда.

Как ни странно, муж с этим тут же смирился и не возразил. С напускным трагизмом – Галина Ивановна всегда остро чуяла ложь – развел пухлыми ручками:

– Так, значит, так. Лишь бы тебе было хорошо, мое солнышко!

И очень скоро, буквально через пару месяцев, завел любовницу – молодую и симпатичную секретаршу Леночку. Очень удобно: всегда рядом.

Леночка оказалась восхитительной – страстной, горячей, нетерпеливой. Как он мог не замечать ее раньше? И Петр Васильевич обалдел – вот, оказывается, как оно бывает! А он прожил жизнь, считая, что так, как это происходит у них с Галюнечкой, – это нормально.

Жену он разлюбил в один день, и это оказалось так просто, что он сам удивился. Его горячая любовь к ней, всепоглощающая, ненормальная, испарилась – как не было. «Кончился ресурс», – облегченно выдохнул он и радостно вступил в новую жизнь – с Леночкой.

Через полгода он выбил своей прекрасной Елене квартиру – пусть маленькую, однокомнатную, в далеком Алтуфьеве, но свою. Да и место для жарких встреч теперь было необходимо. Она, его прекрасная Елена, его *волшебная девочка*, всегда ждала своего Петечку с нетерпением, и это было приятно. В минуту, когда одышливый и, мягко говоря, немолодой любовник возникал в дверном проеме, Леночкины глаза разгорались счастливым огнем.

«Девочка моя! – взволнованно думал он. – Да я за тебя...»

Тут же, незамедлительно, подавался горячий ужин – домашние котлетки, большие, с ладонь, душистые и сочные, как в детстве, у мамы. Жареная картошечка с лучком, на сливочном масле – тоже из детства. Свежезаваренный чай – ароматный, коньячного цвета, со смородиновым листом – боже, какой аромат!

Леночка осторожно выясняла, что любит Петечка. Леночка дарила Петечке рубашки и майки с трусами – вот она, истинная забота. Леночка варила любимое вишневое варенье – и снова сплошное восхищение и восторг: «Милая моя, дорогая!»

В августе ездили за грибами – далеко, куда-то за Вязьму – Леночка была заядлой грибницей, как и Петечка в детстве. Притомившись, разжигали костерок и запекали картошку. Смеясь, словно дети, вытаскивали ее из костра – обуглившуюся, обжигающую, с лопнувшей угольной корочкой. Перекидывали другу другу, с ладони на ладонь, дули и снова смеялись. Леночкины руки и лицо, перемазанные золой, казались Петечке воплощением совершенства.

– Какая же ты у меня красавица! – искренне восклицал он. – Как же мне повезло!

Он смотрел на Леночку, на ее молодое, гладкое, румяное и чистое лицо, на смешные веснушки, на яркие и живые глаза, и его охватывало такое чувство восторга и счастья, что он пугался: что будет дальше? Он понимал: если отнять у него эту девочку, он не просто скиснет, скукожится и пропадет – он умрет.

Но Леночка молчала. Ни одного вопроса – ни-ни! «Какая она тактичная», – восхищался Петр Васильевич. И снова был счастлив. Так счастлив он был сто лет назад, в той, прежней, жизни, когда повстречал свою Галю.

Но где та Галя и где та любовь? Все прошло, истаяло, испарилось.

Сейчас была только Леночка, Леночка, Леночка. Его счастье и его настоящая жизнь. Как ему не хотелось возвращаться домой! Мука, пытка, каторга, инквизиция. Какие, к черту, хоромы, какой обустроенный рай? Там, дома, – могила. Сырая и темная, страшная в своем непрерывном кошмаре. Там Галя, жена, которая теперь просто спивалась, уже не сопротивляясь и не скрываясь от мужа. Какая ей разница, когда давно на все наплевать? Как опостылела ей эта жизнь, кто бы знал: толстая, потная ряха ее ненавистного мужа. Наглое и насмешливое лицо дочери, глядящей на мать с презрением и брезгливостью. Ничего у Таты от нее, ничего! Малолетняя стерва, сталкиваясь с Галиной Ивановной в коридоре, шарахалась от нее как от прокаженной. Да она и была прокаженной, была. Что отрицать?

Муж и дочь с облегчением выдыхали только тогда, когда укладывали Галину Ивановну в больницу. Больница была районная, самая обычная, для обычных людей – разве Петечка может отправить ее в Кремлевку? Конечно же нет! Хлебнуть еще и такого позора? В районной, конечно, были страшная грязь, проваленные койки, застеленные серым, в пятнах, бельем. Постоянные окрики суровых и злых санитарок, равнодушие замученных врачей, невыносимый запаха туалета и отвратительная еда. Правда, Галина Ивановна почти ничего не ела, и на это ей было глубоко наплевать. Отправлялась она в больницу если не со смирением, то без скандалов и истерик, почти равнодушно. Теперь ей многое было уже все равно. В больнице ее слегка «подправляли». Ненадолго, но все же...

А дома опять начинались истерики и скандалы. И никакой жалости от этой малолетней гадины, никакого сочувствия. Даже несчастный Петюнечка жалел жену, но не родная дочь. «Какое жестокое сердце, – вздыхал Петр Васильевич, – какое равнодушие! Все-таки мать». Но тут же

оправдывал дочь: «Галя сама виновата». Петюнечке было легче – теперь он почти не бывал дома, исчезая при любом удобном и неудобном случае. Соблюдаемые им прежде приличия давно канули в Лету – он уже ничего не боялся. В конце концов, жизнь одна! Да и та уже на излете.

В Алтуфьево переехали его вещи – костюмы и недавно приобретенные джинсы, а еще яркие, модные и легкомысленные рубашки – «бобочки», как называла их смешливая Леночка. И вправду, надо было молодиться, соответствовать, стараться. И он старался. Он всегда был старательным.

Полный и неуклюжий с ранней юности Петечка враз похудел аж на десять килограммов! И, уж конечно, сразу помолодел, как бывает всегда.

Итак, все были по местам – мать почти постоянно в больнице, а резвый папан у любовницы. За отца Тата радовалась, но знакомиться с его молодой избранницей не торопилась – зачем? Угрозу она от Леночки не чувствовала, хотя представляла, что может произойти. Вот, например, засунут мать в интернат или в психушку, и отцова любовница переедет в их квартиру.

Но пока было тихо, мать снова подолгу лежала в больницах, а папаша торчал у своей пассии. Ну а Тата наслаждалась жизнью.

Была у нее за эти годы и страстная, роковая любовь, окончившаяся, как обычно бывает, двумя абортами подряд, и короткие, необременительные романчики – на месяц или на два. Были мужчины взрослые и опытные, были и восторженные юнцы – все было, все.

Однажды попался один иностранец, югослав, чернявый и синеглазый – полный восторг. С этим Драганом они хорошо погуляли – ресторан в Архангельском, шикарный «Берлин», напыщенная «Прага», валютный бар в «Метрополе» и, конечно, новомодный «Белград». Югослав был щедр, любил загулы с купеческим размахом и, разумеется, девочек.

Тата влюбилась, но понимала – без вариантов. Во-первых, синеглазый красавец был женат, а во-вторых, ее отец никогда не допустит брака с иностранцем.

А через несколько счастливых и загульных месяцев Драган уехал к родным берегам – командировка в веселой России закончилась. И Тата отправилась на очередной аборт. Тогда у нее уже был свой гинеколог Вахтанг Георгиевич. «Придворный абортмахер», – шутила она.

После отъезда красавца снова стало грустно. Нет, кавалеров было навалом, а вот серьезного не было. А возраст уже был почти критическим – девятнадцать. А к двадцати двум принято было выйти замуж.

Когда ей *попался* Никитин, она и не рассматривала его серьезно – обычный симпатичный парень, с хорошей спортивной фигурой, серьезный

и скромный. Хотя последние качества Тата достоинствами не считала. Ей нравились наглецы. Определенно провинциал был сильно и страстно влюблен, что тоже было приятно. Было понятно, что он стремится сделать карьеру, подняться и даже взлететь. Было ясно, что он упертый, и это шло ему в плюс. К тому же семейка его жила далеко, а это уже второй несомненный плюс. Да и вообще понятно: этот будет любить, будет верным и трепетным и всегда, всегда будет считать, что она его осчастливила.

А ситуация дома, если честно, тревожила. Было ясно, что мать уже не вылечить, и конец ее был вполне предсказуем, и папуля свалит в ту же минуту, сомнений не было. А ну как не свалит, а притащит свою пассивку сюда? Нет, невозможно! А если Тата будет замужем, тогда папаше придется уйти.

«Надо брать этого олуха теплым, – решила Тата. – А там разберемся».

Галина Ивановна в очередной раз пришла из больницы. Физически чувствовала себя неплохо, а морально... Она уже почти не реагировала на происходящее, равнодушие и безразличие накрыли ее целиком: был человек – нет человека. Днями она сидела не двигаясь: летом на балконе, с вечной сигаретой во рту, зимой и осенью – на прокуренной кухне, в вонючих и густых, слоистых облаках дыма и страшной, невыносимой духоте.

Тата врывалась на кухню и, невзирая на погоду, резким движением настежь распахивала окно. Мать усмехалась, провожала ее затуманенным взглядом и не возражала.

На скандалы уже не было сил.

В тот день, когда дочь объявила родителям о скорой свадьбе, они всей семьей, что случалось теперь очень редко, завтракали на кухне.

Услышав неожиданную новость, Галина Ивановна оживилась, слегка выпрямила спину и с испугом посмотрела на мужа.

– Замуж? – переспросил обалдевший Петр Васильевич. – А зачем, детка? Разве тебе, – он растерялся, подыскивая слова, – разве тебе с нами плохо?

Тата рассмеялась.

– Зачем? Хороший вопрос! – Но тут же нахмурилась: – Плохо? Да отвратительно, папа! У тебя своя жизнь, а про нее, – Тата презрительно кивнула на мать, – что говорить?

Галина Ивановна вздрогнула, услышав последнюю фразу: «Вот дрянь!» Но перечить Тате ни она, ни Петр Васильевич не осмелились. Мать из-за страха скандала, к которым она давно потеряла интерес, а отец – из

любви к дочери, да и у самого рыльце было в пушку.

В голове прокрутилось все быстро: Тата будет при муже, конечно же, молодые останутся здесь. Ну а он сможет спокойно уйти, перебраться к Леночке. Дочь взрослый, самостоятельный человек, уже не ребенок, и его совесть чиста.

Галину Ивановну новость расстроила – она понимала, что жизнь ее не облегчится явно. У *этой* появится защитник, возможно, почище папаши. Да и гонору прибавится наверняка. Да и как они уживутся с чужим человеком?

Она попробовала возразить – так, для порядка. Получилось тихо, несмело и вяло, ей никто не ответил.

«Мебель, – мелькнуло в ее затуманенном лекарствами мозгу. – Я просто мебель, старая, ветхая, неудобная, которая всем мешает и от которой хорошо бы избавиться, просто руки пока не дошли».

* * *

Никитин отлично помнил день знакомства с Татиными родителями и накрывший его мандраж. Петр Васильевич, будущий тесть, ответственный работник и человек из другого мира, вызывал у него почти священный трепет – не только в силу статуса, нет. Он был отцом его Таты. А теща... Нет, он не боялся ее – скорее остерегался, так как был в курсе: Татина мать – тяжелобольной человек.

Петр Васильевич строго и пристально разглядывал будущего родственника и тут же учинил ему подробный допрос обо всем по порядку, с частыми остановками: мать, отец, дед с бабкой. Брат.

Спросил про армию. Узнав, что Никитин отслужил, одобрительно сказал:

– Долг родине, так сказать, отдан? Ну, молодец. Уважаю.

Ну и про все остальное, включая планы на жизнь и взгляды на нее же, тоже подробно выпросил.

Никитин робел, от волнения обливался холодным потом, путался в показаниях, сбивался, припоминая подробности, и с мольбой бросал редкие взгляды на любимую: «Спаси!»

Через час Тата резко и невежливо оборвала отца и предложила приступить к занятию более приятному – обсуждению свадьбы.

Да, свадьба должна была быть роскошной. А как же? Или она не дочка Комарникова? Или у них не хватит на это средств? Или она, Тата, не

заслужила?

Готовились тщательно: в валютной «Березке» были приобретены югославский костюм и обувь жениху и роскошное платье для невесты – сливочное, кружевное. Тата была в нем красавица! Никакой фаты – немодно, мещанство. Только цветы в волосах! Ресторан. Конечно, шикарный – «Прага», посольский зал: расписные потолки, ковры, тугие каменные скатерти, немыслимой красоты хрустальные люстры. Невеста выбирала меню сама – придирчиво, строго, сурово нахмурив брови: крабы, черная икра, заливная осетрина.

Никитину было неловко от этих роскошеств, безумного пафоса и запредельных, немыслимых цен. Подташнивало от услужливо склоненного метрдотеля с глазами пустыми и наглыми, как у бультера, от прилизанных официантов, напоминающих майских жуков, от купеческой роскоши, неслыханной, непозволительной, показушной. Думал он о том, как изумятся, растеряются и оробеют его родители – честные и скромные труженики, бедные провинциалы.

Пытался охолонить молодую, но тщетно – Тата сверкала очами, возмущалась, обижалась, подолгу дулась и прекращала с ним разговаривать. В конце концов он смирился и больше в спор не вступал: все девочки мечтают о красивой, необычной свадьбе. К тому же она привыкла к богатству, так зачем же ее лишать светлой мечты?

Перед свадьбой Тата устроила настоящий скандал, настаивая, нет, даже требуя, чтобы матери в ресторане не было. Кажется, даже Петр Васильевич обалдел от заявления дочери и все бормотал:

– Как же так, Таточка? Как же так? Нет, невозможно! А что скажут люди?

Дочь зло усмехнулась:

– Люди? А что они скажут, когда твоя Галюнечка в доску нажрется и, например, устроит скандал?

Родители Никитина приехали первым ранним поездом, в самый день свадьбы. Он встречал их на вокзале. Брат не приехал – Тамара лежала в больнице. Мать с отцом были напуганы предстоящим знакомством с новой, важной родней, будущей невесткой и больной, несчастной, пьющей сватей. Ну и, конечно, смущало то, что в дорогом столичном ресторане бывать им не приходилось.

Запуганных и растерянных родителей Никитин привез с вокзала на Фрунзенскую. Галина Ивановна, накануне накачанная снотворными, слава богу, спала и должна была проспать долго, почти до обеда. «Ну и хорошо, – подумал он. – Дай бог, чтобы не проснулась – к часу нам в загс, все

удачно». Но расчеты не оправдались: Галина Ивановна проснулась и вышла из спальни нечесаная, опухшая, заспанная. Зашла на кухню и уставилась на незнакомых гостей.

Петр Васильевич хлопотал, накрывая чай. Тата поспешно увела мать в ее комнату. Повисла неловкая пауза. Родители Никитина испуганно переглядывались. Мать оглядывала квартиру и еле сдерживала свое удивление. Хмурый отец молчал и смотрел на стол.

Разговор не клеился, хотя сват очень старался.

Но тут вышла Тата – в летящем воздушном платье, с цветами в волосах, светящаяся, счастливая, прекрасная, ошеломительная. От ее красоты у Никитина перехватило дыхание.

Он вздрогнул и посмотрел на родителей – мама чуть слышно охнула, а отец просветлел взглядом. И Никитин выдохнул. Свадьбу гуляли, как и было задумано: шумно, сыто и пьяно – богато. Зал сверкал и переливался хрусталем, и блики от люстры отражались в тяжелых серебряных приборах. Столы, покрытые до синевы накрахмаленными скатертями, были плотно уставлены деликатесами, от которых разбегались глаза, – пышно украшенные и богато декорированные блюда были похожи на муляжи. Гости, важные, напыщенные, тоже сверкающие и разодетые, говорили серьезные тосты и стучали ножами по бокалам, призывая всех к тишине.

Тата сверкала глазами, сияла лицом и, кажется, была счастлива.

«Это главное, – думал Никитин. – А все остальное мы переживем! Осталось недолго».

Родители сидели как мыши: тихие, оробевшие. Было заметно, что они не вписываются в это общество. На фоне жен важных гостей, с бриллиантами и голыми плечами, с прическами и в роскошных туалетах, его мать, в скромном, самодельно пошитом шелковом платье и старых туфлях, в дешевых сережках с красными камушками, с дурацкими «шестимесячными» бараньими кудрями, с перепуганным лицом, выглядела даже не бедной родственницей, а прислужгой, посудомойкой, случайно присевшей на краешек стула.

За родителей, конечно, было обидно, а еще больше стыдно. И не только за них, но и за себя – за то, что стесняется их.

Но Татка, его любимая Татка, его молодая красавица жена была оглушительно счастлива. Сложилось все так, как она и мечтала – помпезно, с размахом. По ее мнению, безумно красиво.

Галина Ивановна явилась к десерту – именно в тот момент, когда торжественно был вынесен высоченный шикарный торт.

Никитин, поглядывающий на родителей, перехватил испуганный

взгляд матери – та смотрела на дверь и толкала отца. В проеме распахнутой золоченой, с вензелями и блестящей латунной ручкой и скобами двери стояла его теща Галина Ивановна Комарникова, Галюнечка, Татина мать.

На ней было небрежно, кое-как, криво накинуто пальто, сквозь распахнутые полы которого бесстыдно светился знакомый старый халат. На синеватые, худые, босые ноги были надеты парадные лаковые туфли на каблуках. Галюнечка покачивалась, ее явно штормило. Но самым страшным было лицо: иссиня-белое, неживое, безумно и страшно размалеванное. Страшил и искривленный страшной гримасой криво покрашенный ярко-красной помадой рот, неряшливый высокий начес на голове и руки – старческие, подагрические, скрюченные, блестящие бриллиантовыми браслетами и кольцами – кажется, всем, что было у нее в арсенале.

То, что ее не ограбили по дороге, было счастливой случайностью. Конечно, она была страшно пьяна, под завязку.

Никитин с ужасом смотрел на эту картину и не знал, что делать, боясь даже представить себе, чем все это может закончиться.

Скумекал отец, сидевший с краю стола, у самого входа, чтобы подальше от всех. Сорвавшись с места, отец, а за ним следом и мать, тут же сообразившая, что надо делать, подхватили под руки сватью и вывели в коридор. Вслед за ними выскочил Никитин.

По высокой лестнице, держа ее, спотыкающуюся и почти падающую под руки, с трудом довели до выхода.

Никитин поймал такси, заплатив немислимую сумму, и родители, сев по обе стороны от Галины Ивановны на заднее сиденье, уехали с ней домой.

– Подальше от греха, – приговаривала мать, – не дай бог, испортит детям праздник!

Когда наконец такси плавно отъехало от ресторана, Никитин возблагодарил бога: страшно было представить, что могло произойти. Бедная, бедная Татка! Дамоклов меч над всеми нами.

Жене он все рассказал через пару недель – не хотел портить настроение.

В тот же день родители поспешно уехали, да и он, если честно, их не отговаривал – было стыдно, неловко, тревожно: что еще выкинет милая теща? Да и вообще все надоели – очень хотелось остаться наедине с молодой женой.

На перроне, перед отходом поезда, мать утирала слезы и приговаривала:

– Как же ты, сыночка? Как же все будет?

Никитин злился, отец останавливал мать. Кое-как распрощались, а вот неловкость осталась надолго.

Началась семейная жизнь. После истории в ресторане тещу опять положили в больницу, тесть дома почти не бывал. А молодых все устраивало – свобода!

Прилежной хозяйкой его молодая жена стать не торопилась – да и ладно, его и так все устраивало. Готовые котлеты из кулинарии? Пожалуйста! Винегрет оттуда же – ради бога! Неглаженная рубашка? Не барин, погладит и сам, он привык. Все ему было вкусно тогда, все мило, все хорошо.

Разумеется, Никитин понимал, что у Петра Васильевича кто-то есть, но разговоров не заводил – не его это дело. Да и видел – Тате это тоже не очень приятно.

Кстати, тесть позже, после того как Никитин окончил институт, устроил его на работу. О такой работе даже мечтать было смешно и нелепо, и в голову бы не пришло мечтать о таком: начальником отдела в Совтрансавто.

– Ты же у нас втузовец? – коротко осведомился он и констатировал: – Подойдет.

Никитину дали приличный оклад, но самое главное – впереди маячили заграникомандировки, а это было куда ценнее, чем деньги! Это были возможности! Никитин понимал, что тесть думает о дочке, а не о нем. Дочка должна иметь приличного мужа, а приличный муж не может работать в каком-то КБ или торчать в гараже, пусть даже начальником.

В свою первую командировку, в братскую Польшу, он поехал через полгода. И это было только начало.

В то время, когда теща лежала «на лечении», тесть дома не появлялся – только если навестить молодых, чем-то побаловать. Он всегда появлялся с подарками – тяжеленными коробками с продуктовыми заказами.

Словом, детей не бросал. Ну и спасибо. От дочери, правда, глаза прятал и коротко спрашивал:

– Ну как там Галя?

Никаких «Галюнечек» уже давно не было. Никитин догадывался – в больницу к жене он не ездит. Да и Тата на все его призывы навестить, привезти матери нормальной еды отвечала жестко:

– Там все есть, ничего не надо. А будет надо – известят.

– Наверное, – соглашался Никитин.

Нет, он все понимал – конечно, Тате досталось. Но все-таки мать...

больная несчастная мать. И разве так правильно? Спустя три месяца Галину Ивановну забрали домой и окончательно поняли, что теперь им не справиться. Срочно нашли и вызвали Лиду, бывшую Татину няню. Лида по-прежнему была одинока и все так же проживала в общежитии где-то в Сокольниках. Работала она на заводе, где «мыла стекло», как она сама говорила. Что это означало, Никитин не выяснял – зачем?

Самое странное, что эта несчастная затюканная и униженная той же Галиной Ивановной Лида с радостью согласилась «смотреть и ходить» за хозяйкой. И «ходила», и «смотрела», как самая верная и преданная дочь. Стало легче, конечно же легче! Но по большому счету ситуация не изменилась – в квартире на Фрунзенской была все та же ужасная, страшная жизнь. Несчастная кричала по ночам, пыталась открыть входную дверь и сбежать, норовила выпрыгнуть из окна, била верную Лидку, швыряла ей в лицо мокрые тряпки, выливала на нее горячий суп. Хулиганство, помешательство? А бог ее знает.

Это, конечно же, не украшало семейную жизнь молодых – у Таты начались скандалы и истерики. Сдавали нервы и у самого Никитина. А что делать? Сдать ее в сумасшедший дом? Наверное, выход... И все-таки Никитин сомневался. Все было безрадостно. Он выдыхал только в командировках, из дома старался сбежать. Тата это чувствовала и понимала, но продолжала скандалить. Работала она вполноги – папаша устроил товароведом в ювелирный магазин. Но вскоре оттуда пришлось уйти – Тата забеременела. Беременность была сложной и нервной – домашняя обстановка этому поспособствовала. Она ложилась в больницу на сохранение, Никитин сходил с ума, понимая, что любит ее по-прежнему, даже сильнее: она ждала от него ребенка!

Рожала она тяжело, с осложнениями. Никитин торчал во дворе роддома и выписывал до изнеможения круги под окнами родильного отделения. В каждом крике младенца он слышал голос своего, родного ребенка. Сын родился мелким и слабым – последствия тяжелой беременности и крайне тяжелых родов. Врачи тактично предупредили, что впереди все будет непросто.

«Да ерунда! – думал счастливый Никитин. – Выходим, вырастим! Подумаешь – слабый! Еще такого богатыря выращу – удивитесь! Вложу в парня все, что смогу».

О том, что им предстоит, Никитин и Тата, по счастью, не догадывались, иначе можно было сразу в петлю.

Как же Никитин любил сына! Он задыхался от молочного, «щенячьего» запаха, исходящего от его волос и кожи. Умилялся крохотным

полупрозрачным ушкам, длинным ресничкам, упрямо сжатому роту. Вставал по ночам, прислушиваясь к его дыханию, не брезговал стирать загаженные пеленки, подмывать, протирать, утирать младенческую рвотку.

У Таты были *нервы*. Вечные нервы, каждый день. «Нервный срыв», – говорила она. При этом жена тряслась над младенцем – любовь к сыну была у нее запредельной, ненормальной, звериной. Если ребенок капризничал или заболел – обычное дело, животик, – Тата сходила с ума и требовала врача.

Никитин терпел, но иногда не выдерживал и срывался. А потом себя укорял: у Таты такая судьба! Не дай бог, как ей досталось! Нет, все понятно – действительно нервы. А тут еще ребенок: шумный, плаксивый.

После работы, видя измученное, почерневшее от усталости лицо жены, он, схватив бутерброд, бросался с коляской на улицу, приговаривая: «А ты поспи, поспи, милая!» При этом сам валился с ног – как встать на работу после безумной ночи?

Да и теща прибавляла – Лидочка еле держалась, сбиваясь с ног. Все они еле держались тогда, что говорить. Все еле ходили, с трудом говорили – как кладбищенские тени, как зомби. По ночам, утомив сына и только провалившись в неглубокий поверхностный сон, он, слыша крики и стоны тещи, от отчаяния скрежетал зубами: «Ну когда же, когда? Греховные мысли? Допустим, согласен. Но как нам жить, как? Невыносимо».

На Ванькину свадьбу он поехал, конечно, поехал! Правда, один, без Таты, та ехать отказалась: «Что мне там делать?»

Томка, невестка, Никитину очень понравилась. А вот свадьба... Столы накрыли в заводской столовой. Готовили сами, мать и подружки-соседки. Танцевали под аккордеон. Свадьба была скромной, если не скудной. В общем, обычная провинциальная свадьба, с его не сравнить. Но Ванька был счастлив, а это главное.

* * *

Никитин посмотрел на часы и открыл дверь купе. Полпервого ночи, пора укладываться, пора. Поезд в родной город прибывал рано утром. Хорошо бы поспать, но вряд ли получится. Он плохо спал в поездах, с возрастом все хуже. «Наверное, так у всех, – подумал он, покрываясь и укладываясь на узкой и жесткой койке. – Ничего, как-нибудь, переживу. Да, завтра суетный день – кладбище, гости, встреча с родней. Ваньку непременно поведет на разговоры – поддав, он любит «повспоминать».

Никитин «повспоминать» не любил. Что ворошить? Все прошло – как не было. Давно новая жизнь – другая, совершенно другая. И это бесполезное нытье, дурацкое сетование и вопросы: «А помнишь?» – совсем ни к чему.

Помню, не помню – зачем? Это его раздражало.

Постель была свежей, прохладной, приятной. Но мерный стук вагонных колес, успокаивающий когда-то, теперь раздражал. И запах вагонный, «поездной», раздражал – какая-то навязчивая химия, стиральный порошок, дешевый синтетический запах от прикроватного коврика.

Все раздражало и было навязчивым. «Нет, не усну, – вздохнул Никитин. – Обидно».

А воспоминания, от которых он так стремился уйти, снова накрывали, мучили и терзали.

* * *

Странное дело – тесть, никогда и ничем не болевший, здоровый и крепкий деревенский мужик, эдакий румяный колобок, толстощекий, лукавый и вполне довольный жизнью, умер первым.

Это было под майские праздники, в самом начале ранней и теплой весны, когда Москва благоухала свежей зеленью и политым ночью асфальтом.

Никитину отчего-то не спалось. Он пошел на кухню, открыл холодильник, достал кусок колбасы, без удовольствия съел его, долго смотрел в окно и, замерзнув, вернулся в спальню.

На цыпочках – не дай бог разбудить жену! – он пробрался к кровати, осторожно залез под одеяло и, покосившись на будильник, с блаженством закрыл глаза – шесть утра, еще можно поспать!

Но через полчаса раздался звонок – да, да, в полседьмого! Никитин чертыхнулся и подскочил – не дай бог потревожат Тату и Славику! Она, конечно, тут же проснулась, и они с тревогой смотрели друг на друга, не решаясь снять трубку.

Наконец Тата решилась.

– Наверное, что-то с матерью, – успела шепнуть она. – В ее голосе промелькнула неприкрытая надежда. Теща в очередной раз лежала в больнице. Никитин поморщился. «Слишком откровенно», – подумал он.

В трубке отчаянно кричали. У жены вытягивалось лицо.

«Не теща, – равнодушно подумал Никитин и широко зевнул. – Точно

не теща. Кто бы там, в больнице, так отчаянно и громко кричал? Да и не позвонили бы в полседьмого – зачем? Успели бы в десять».

В трубке по-прежнему кричали, и жена по-прежнему молчала.

Никитин кивнул:

– Что там, а?

Тата медленно и растерянно опустила трубку на рычаг и одними губами, почти неслышно, ответила:

– Папа...

Никитин глупо присвистнул.

И снова надрывался телефон. Никитин понял, что это снова она, любовница Петра Васильевича, как называла ту женщину Тата.

Тата покачала головой.

– Не возьму. Пусть сама разбирается!

Никитин растерялся:

– Как же ты можешь так? У тебя же умер отец! Может, до тебя не дошло?

Она зло усмехнулась:

– Дошло, не волнуйся! И слава богу, что он! Первый, ты понимаешь?

Окончательно обалдевший Никитин не мог понять: «Чокнулась, что ли? От горя крыша поехала? Это бывает, я слышал».

Но оказалось, жена была вполне в себе. Она спокойно, с вызовом продолжила:

– Да, слава богу. Нет, ты представь, если бы *эта*, – она показала пальцем на дверь в спальню матери, – если бы она ушла первая и отец бы успел расписаться? Ты понимаешь, что бы было тогда?

Никитин молчал.

– Вот именно! – оживилась жена, приняв его молчание за солидарность. – Его пассия бы все разменяла! Все, понимаешь? Все бы принялась делить – квартиру, дачу, машину! Сберкнижки бы распотрошила! Ты понял?

– Ну так же нельзя, – пробормотал Никитин. – Так же нельзя, Тата! Что ты такое несешь?

Он решительно взял трубку неумолкавшего телефона и, записав адрес, конечно, поехал на эти чертовы кулички, в Алтуфьево.

Леночка, зареванная и опухшая, открыла ему дверь. «Сколько ей? – мимоходом подумал он. – Сейчас не поймешь. Да и какая разница?»

В комнате, на диване, застеленном каким-то смешным и нелепым цветастым бельем, на сбитой и скомканной, свернувшейся простыне,

откинув голову и открыв рот, лежал его тесть. Абсолютно, бесстыже голый – смотреть на это было неловко.

Никитин поморщился и накрыл его одеялом, валявшимся на полу. Взглянул на Леночку.

– Милицию вызвали?

– А надо? – сквозь рыдания отозвалась она.

– А «Скорую»? – не отвечая на ее вопрос, продолжил Никитин.

Она зарыдала еще сильнее.

– Где у вас телефон? – обреченно спросил он, понимая, что заниматься всем этим придется ему.

* * *

Тата кричала:

– Чтобы этой... на похоронах не было, слышишь?

Никитин пытался ее уговорить. Тщетно. Вступила Лидочка – тоже мне авторитет. Впрочем, для его жены авторитетов не было. Не помогло ничего – нет и все, точка.

Никитин позвонил Леночке и попытался объяснить ситуацию. Призывал к разуму и милосердию:

– Еще, в конце концов, жива жена, как вы не понимаете? Дочь – она имеет право! Да, я с ней не согласен, но это ее выбор, ее, поймите вы наконец!

Леночка тоже оказалась настойчивой:

– Не попрощаться с Петенькой? Вы что, сошли с ума? Петенька был моей жизнью, вы понимаете?

«Будь что будет! – Никитин понял, что все бесполезно. – В конце концов, я сделал все, что мог. Пусть разбираются сами».

Леночка в морг на прощание не пришла, но на кладбище заявила. Там, в густой толпе, в толчее, Тата ее бы и не заметила. Но перед самым концом, когда приготовились опускать тяжелый дубовый гроб, Леночка выскочила из своего укрытия, подбежала, кинулась на крышку и завывала громко, по-бабьи, по-деревенски:

– Петечка, Петечка! Как же я без тебя?

Народ ошарашенно переглядывался, не понимая, в чем дело.

Тата качнулась и оперлась на мужа, зашипев:

– Останови ее! Уведи!

– Потерпи, – ответил он тоже шепотом.

Леночку все же как-то оттащили, кто, Никитин не помнил. На поминках, конечно же, ее не было, и больше ни разу она не появилась в их жизни.

А теща все жила – не пускали ее в мир иной. За грехи? Да, наверное. Хотя кто безгрешен...

Через полгода после похорон тестя Никитин поехал к родителям – кажется, это был день рождения отца. Скандалы в их с Татой семье тогда не просто участились – стали нормой, обыденностью, жестокой реальностью. Почему так получилось? Сто – нет, тысячу – раз он задавал себе этот вопрос. Да, усталость. Да, теща. Беспокойный ребенок. Да и Лидочка, постаревшая и растерянная, неловкая и неуклюжая, несуразная и нерасторопная, их давно раздражала.

В их отношениях что-то сломалось. Позже, лет через пять, он понял, что сломалось навсегда. И это открытие, надо сказать, его потрясло – в тот день, после очередного скандала, грязного, громкого, с взаимными оскорблениями и упреками, он окончательно понял, что разлюбил жену.

«Чужая, – думал он, глядя на ее расплывшееся, ставшее некрасивым лицо, вечно недовольное, с отеками глазами, искривленным в гневе и проклятиях ртом, с ее почти ненавидящим взглядом. – Чужая, – повторял он про себя. – Совершенно чужая».

Но это было позже, потом. А пока был обычный, рядовой, каждодневный скандал, к которому давно оба привыкли – как привыкают к приему пищи или походу в туалет. Что было в тот день? Никитин не помнил. Да и зачем, какая разница? Скандал есть скандал. Но прекрасно помнил, что ехал на вокзал с трясущимися руками. Немного успокоился в поезде: нельзя было показывать своим, что все так ужасно.

Окончательно он пришел в себя дома, когда выпили с Ванькой по стопке, а позже сходили на рынок докупить кое-что к столу: мать, как всегда, что-то забыла.

Там, на рынке, он встретил Тасю.

Удивился – изменилась. Нет, не постарела, но изменилась – похудела, осунулась. Под глазами темнота, синяки – может, просто не выпалась? «Но все еще вполне ничего! – отметил он про себя. – Вполне себе краля!»

Тася, увидев его, растерялась и заметалась, как пойманная птица, мечтавшая упорхнуть.

Брат Ванька тяжело вздохнул и коротко бросил:

– Жду тебя там. – И пошел на улицу.

Поболтали о том о сем, о ерунде, как обычно. О чем говорят старые и добрые знакомые? Вот и они точно так же. Отчитался – женат, есть сын.

Работаю, да. Все нормально, короче.

Она улыбнулась, предвосхищая его вопрос:

– А у меня... – она чуть запнулась, – а у меня, Дима, все так же! Живу одна, замуж не вышла. И ребеночка не родила. – Тася с печальной улыбкой посмотрела на него и добавила: – А ты изменился, Дима! Да и я, наверное, тоже.

Он стал горячо убеждать ее в обратном. Получилось, кажется, убедительно – глаза ее вспыхнули. Попрощались. Он смотрел ей вслед, и почему-то заныло сердце. Вспомнилась молодость, когда все еще было впереди.

А вечером он напился. Да, здорово набрался тогда. Перед глазами, с перекошенным от злобы лицом, стояла жена. Чужая. Чужая. Чужая. От отчаяния ему хотелось кричать.

Ванька вывел его во двор – протрезветь. Потом напоил крепким чаем и уложил на балкон на раскладушку. Было прохладно, брат укрыл его одеялом. Никитин тут же уснул, но спустя пару часов проснулся. Голова была почти свежей и чистой.

Он бодренько встал, умылся холодной водой и осторожно, не дай бог разбудить своих, открыл дверь и вышел на лестничную площадку.

Тася открыла не сразу. А когда открыла, он понял – спала. Конечно, спала – ночь на дворе. Она беспомощно хлопала ресницами, подтягивала к горлу ворот ночнушки и молча, во все глаза, смотрела на него.

Он сделал шаг вперед, и они оказались лицом к лицу – так близко, так невозможно близко, что он услышал ее запах. Он узнал его. В голове словно вспыхнуло: запах земляники и сирени! Он обнял ее и сильно и нежно прижал к себе.

– Зачем? – пролепетала она.

– Молчи, – ответил он и прижал еще крепче.

Теперь он был взрослым и научился говорить женщине «молчи».

И она, его прежняя женщина, послушалась. Впрочем, она всегда его слушалась. Она, его Тася.

Ушел он рано утром – за окном уже было светло. Трещала голова, и он одевался медленно, неторопливо. Чувствовал, что она проснулась, а может, и вовсе не спала в эту ночь. Но посмотреть на нее решил не сразу, страшно ругая себя за трусость. Он слышал ее тревожное дыхание, тихое шуршание простыней и все-таки заставил себя обернуться.

Она испуганно и безнадежно смотрела на него – жалкая, хрупкая, перепуганная. Невозможно нежная и красивая. Смотрела и молчала. В глазах ее не было слез – одно отчаяние, одна боль. И больше ничего,

ничего...

– Ухожу вот, – хрипло, не своим голосом, коротко бросил он. – Ну, ты сама понимаешь...

Нацепив ботинки, он делано улыбнулся:

– Ну, я пошел?

Это прозвучало как вопрос, но обоим было понятно, что это не вопрос, а утверждение, констатация факта.

– Иди, – почти неслышно выдохнула она. – Иди. Я все понимаю...

Он облегченно выдохнул и открыл дверь.

На минуту замешкался. Глупо, противно. И еще – подло.

Нет, он прав, конечно же прав. К чему все эти слезы и сопли? Уходя, уходи. Ну он и уходит. И ей все понятно, и она не ребенок, и он никогда ничего не скрывал. Да, он женат, и у него малолетний сын. Работа, другой город и другая, совсем параллельная, жизнь. И разве он ей что-то обещал? Нет и нет, никогда. Ну и, в конце концов, захотела бы – прогнала. Ее никто не неволил.

Никитин бросил прощальный взгляд на ее комнату, давно чужую и почти позабытую, насквозь, как и ее обительница, пропитанную печалью. Снова поймал, уловил запах старого дома – прелого от сырости белья, старой разбухшей древесины, дешевых духов. Нет, никогда. Никогда он не сможет остаться здесь навсегда у Таси, нежной, пылкой, верной. Никогда не сможет вернуться в этот полупустой и тоскливый город, не сможет изменить свою жизнь, повернуть ее вспять. Никогда. Никогда не сможет и никогда не захочет.

– Родители! – зачем-то от порога попытался оправдаться он. – Вот, понимаешь, приехал и смылся! Такие будут обиды! Ну, ты все понимаешь, – снова повторил он.

– Иди, – все так же бесцветно проговорила Тася. – Я все понимаю. Иди, иди! Хватит, Дима! Ну просто невыносимо это! Невыносимо, – с болью повторила она.

Он поморщился и, не глядя на нее, сказал:

– Будь счастлива, Тася. Поверь, это от чистого сердца и открытой души!

Она рассмеялась – зло, некрасиво, хрипло.

– Чистого? Ну, конечно. Я снова все понимаю, в которой раз, Дима. И верю, конечно же, верю, что все – от чистого сердца и открытой души! – Помолчав с минуту, она выдавила с большим усилием: – Иди уже, а? Сколько ж можно...

До дома Никитин дошел быстро – утренний холодок бодрил и освежал

голову.

Конечно, все спали. Он осторожно пробрался в их бывшую с братом комнату и рухнул в кровать.

Да, получилось как-то паршиво, если по правде. Но у него оправдание – он был пьяный. А она? Между прочим, могла обидеться и не открыть! И он бы спокойно вернулся домой. Но ведь открыла! И в чем он виноват? Обычное дело – старая любовница, нетрезвая голова, проблемы в семье. Да тысячи мужиков побывали на его месте! И, кстати, не мучились. Смахнули ситуацию, как комара с плеча, и все забыли! Но почему так противно и тошно? Скорее всего, Тася здесь ни при чем – просто он предвкушает свое возвращение. Возвращение, так сказать, в родную семью. Вот именно – «так сказать». Так сказать, что в родную. Так сказать, что в семью. Там плохо, а здесь невозможно. Куда податься? А никуда. Живи и постарайся устроить и украсить свою жизнь так, чтобы было полегче, повеселее. Другого выхода нет.

В тот день он проспал до обеда, к которому его разбудила замученная хлопотами и гостями мать.

Пришли брат с женой, все уселись у стола. Никитин видел, что у Ивана все хорошо – бросались в глаза их с Томой нежность и понимание. Забота и любовь светились на их лицах. «Ну хоть здесь слава богу, – подумал Никитин. – Ванька, кажется, счастлив. Работой доволен, жену обожает. Родителей опекает. Что сказать – молодец!» Не мучили Ваньку амбиции, не крутили честолубие и тщеславие. Живет человек на своем месте и счастлив. Нет, не прикидывается, Никитин бы понял, почувствовал. И впервые почувствовал крошечную, с булавочную головку, черную зависть. А ведь Никитин всегда искренне думал, что это Ванька будет ему завидовать. И было чему. Он так думал всегда, но теперь, кажется, впервые засомневался.

Правда, с детьми брат с женой не спешили. А может, не получалось? Кто знает. Не было у них времени об этом поговорить. А надо бы. Но снова, как всегда, не успели.

Провожали его на вокзал тоже, как всегда, всем семейством. Ванька тащил коробку с банками: варенья, соленья. Все то, что собрала хлопотливая мать. Никитин снова злился, отказывался, мать обижалась, отец сурово и недовольно поджимал губы, брат Ванька исподтишка строил рожи: возьми, что тебе, трудно? Чего ты артачишься?

Когда наконец, недовольно фыркая и кряхтя, поезд двинулся с места, Никитин облегченно выдохнул – ну все. Правда, чуть сжалось сердце: на перроне стояли *свои*. Его семья – мать, отец, брат с невесткой. Родные

люди. Но почему ему так не терпится уехать? Почему? Ведь там, дома, если по правде, ничего хорошего его не ждет. Да, чудеса. Ведь только здесь, в Н., в отчем доме, ему всегда рады и готовы принять любого и в любую минуту, невзирая на его настроение и состояние: уставшего, потерянного, разочарованного. Несчастливого.

И все-таки он рвется туда, домой, в столицу! Значит, теперь там его дом.

* * *

Его дом... Да нет, давно уже не было его дома. Давно не было покоя, тишины, разговоров по душам. Да и были ли они раньше? Из этого самого дома хотелось бежать. Бежать без оглядки, куда глаза глядят. Только куда? И от кого? От сына сбежать он не мог.

Когда похоронили тещу, все облегченно вздохнули. Неловко за это не было – слишком намучились, слишком. Да и ей облегчение – слава богу, отмучилась. Все отмучились. Не приведи господи ее жизни никому, даже врагам.

Похоронили торопливо, словно заматавая следы: никого из родни обзванивать не стали, да и какая родня? Давно ни с кем не общались.

Возле гроба стояли Никитин с женой и верная Лидочка.

После похорон скромно посидели на кухне под Лидочкин винегрет и холодную водку.

Лидочка, как ни странно, была, кажется, единственной, кто искренне горевал.

Тата резко прервала ее, когда та зашлась в слезах:

– Скучаешь? Ага. Мало она тебя мучила! Да и всех нас, между прочим.

– Так человек ведь, – всхлипнула Лидочка. – Все равно же человек.

– Давно уже нет, – отрезала Тата. – Да я и не помню ее человеком.

Конечно, стало легче, что говорить, и Тата все приговаривала, что теперь наконец *они начнут жить*.

Как будто, можно подумать, раньше они не жили! И в кино ходили, и в рестораны, и ездили отдыхать. Ему казалось, что теперь, после ухода тещи, жена вдруг возомнила и поверила сама, что это она, хорошая дочь, продлила ее дни, преданно за ней ухаживая.

«Наверное, так ей было легче», – пытался Никитин оправдать жену.

– Лиду я рассчитаю, – перед сном, густо намазывая руки кремом, так,

между прочим, сказала жена.

– Как считаешь? – не понял Никитин, отложил газету и, привстав на локте, уставился на жену.

– Очень просто. – Тата пожала полным плечом. – Рассчитаю, и все. Конечно же не обижу, не беспокойся.

– погоди, погоди! – горячо заговорил он. – Нет, я не понял, как это считаешь? Как же так можно, Тата? Лида же вырастила тебя! Столько лет ходила за мамой! Славик, наконец! А ты – считаешь?

– Да надоело! – зло выкрикнула жена. – Всё надоело! И все! Видеть уже никого не могу! И Лидку эту! Старая стала, неловкая – крошки по столу, липкие пятна! Вечно загаженный пол. А запах? Нет, ты принюхайся! Старостью несет, затхлостью! Каплями этими! Кашей прогорклой! Как в приюте, в богадельне, ей-богу! Все у нее горит и сбегает, готовить совсем разучилась, ни черта не видит! То картошка в супе с шелухой, то еще что. Сил моих нет, понимаешь? Живу как в общежитии.

– Ну в общежитии ты не жила, – медленно проговорил Никитин. – А уж в приюте тем более, не говоря уже про богадельню. Это подло, Тата! И невозможно – выгнать человека, по сути, на улицу, когда человеку за семьдесят. И когда он, этот неловкий человек, всю свою жизнь бросил под ноги вашей семейке! Куда она уйдет, ты мне не скажешь? Комнату в общежитии она давно потеряла, остается деревня? Отчий дом, где сто лет живет семья брата?

– А это уже ее проблемы! – отрезала жена. – Ты что, не понимаешь, что я устала? От всех, и от нее в том числе! И еще подумай – не за горами тот день, когда я буду вынуждена за ней ухаживать! Она же почти слепая! Ты этого хочешь? А не хватит с меня?

Никитин смотрел на нее во все глаза, и в голове билась мысль: «А я же ее не люблю! Я ее совсем не люблю. Ничего не осталось. Ни грамма, ни капли. Как же нам жить, господи? Как же нам жить? Чужая, совсем чужая женщина. На которую мне неприятно смотреть».

– Только посмей, – тихо ответил он. – Только посмей ее выгнать! – И вышел из комнаты, так припечатав дверь, что посыпалась штукатурка.

Тата, кажется, утихла и, как ему показалось, все поняла. Во всяком случае, больше разговор этот не заводила, с Лидой была нежна и предупредительна.

Через два месяца он улетел в командировку в Каир на три недели. А когда вернулся, Лидочки уже не было. На вопрос: «Где Лида?», прозвучавший как рык, жена спокойно и беспечно ответила:

– А уехала! Брат за ней приехал и забрал ее. А что, нормально. Почему

тебя это так удивляет? Увез на родину, в семью. Ей там будет лучше. Хватит уже по чужим людям, пора на покой.

Никитин ей не поверил. Что этому брату до Лиды? Было бы надо – когда-нибудь, раз в сто лет, объявился бы. Кажется, Лидочка обижалась на него – отсылала деньги, а он даже не отвечал. Нет, вряд ли он объявился сам. Наверняка Тата нашла его и позвала. Если так – не самое страшное. А если принют, богадельня? Но приказал себе не думать об этом. И так глаза на жену не смотрели, и так было тошно – хоть вой.

А Тата повеселела – щебетала днями по телефону, шлялась по магазинам, пыталась вести хозяйство, и он однажды услышал, как она делилась с какой-то новой приятельницей, приобретенной, кажется, в модной, дорогой парикмахерской:

– Лилечка, ты и не представляешь, какое это счастье жить своей семьей! Я просто летаю на крыльях! Без всех этих безумных и нудных старух, без всех этих... Только мы, только муж и ребенок. Ты не поверишь – я только сейчас зажила! Только сейчас задышала!

Дальше он слушать не стал, ушел к себе и плотно закрыл за собой дверь. Какой фальшивый тон, какой идиотский разговор! Как его бесит ее голос, ее смех. Тяжелый цветочный запах ее духов, запах густого жирного крема, яркие и кричащие наряды, пристальное разглядывание себя в увеличительное зеркало и скорбь на лице: «Ой, волосок!» Ее жесты, смех, крик – все! Все было натужным, неестественным, безумно фальшивым и глупым. Невыносимо чужим.

Как они жили все эти годы? Да как-то жили. Так живут многие. У всех была своя жизнь. У него частые командировки и случайные связи, у нее – светская, по ее мнению, жизнь. Появились и новые подруги: Света из бассейна, Лора из Дома кино, Роксана, любительница классической музыки, которая без конца приглашала его жену на концерты. «Зал Чайковского? – слышал он голос Таты. – А что сегодня дают?»

Ему становилось смешно. Какая она нелепая, несуразная, какая смешная!

Жили как-то. А куда деваться?

Сын тоже Никитина не радовал. Он никогда не был спокойным ребенком. Всегда чудил, всегда устраивал черт-те что. В двенадцать совсем все стало плохо: каждые полгода его выгоняли из школ, но он не реагировал – казалось, ему все равно.

Славик прогуливал школу, игнорировал частных учителей, которых нанимали, чтобы они делали с ним уроки. Со школьной программой он не

справлялся, а Тата кричала, что ее хватит инфаркт. Славик хамил, оскорблял мать и демонстративно игнорировал отца.

В конце концов он стал неуправляем, и Никитин отчетливо понимал, что впереди будет хуже, страшнее. И что ничего уже не исправить. Поздно? Наверное. Что-то они упустили в своих вечных склоках и вечных скандалах. И еще эта Татина безумная, сумасшедшая и безудержная любовь к сыну. Она не любила родителей, даже отца. Не любила мужа. Ей это было не дано, что поделать. А вот сына не просто любила – обожала. Но обожала неразумно, нелепо, бестолково, портя его еще больше. Да просто ломая его судьбу! Все ему прощала, любые выходки, всегда находила ему оправдание. Конечно, он это знал и матерью успешно манипулировал. А Никитин, с его вечными разъездами, тоже не очень-то занимался сыном, если по-честному. Всегда было не до того. Он вспомнил, что думал, когда тот родился, – он даст ему все, он поделится всем! А потом как-то затерлось. И каждый жил своей жизнью.

Отчаяние. Отчаяние стало его обыденным состоянием.

Тата, Славик – все было ужасно. И дальше должно было быть еще хуже.

Конечно, он гулял – а как еще выжить? Бабы крутились, менялись, появлялись и исчезали. Он не упускал возможности за кем-нибудь приударить в частых командировках, от которых от теперь не отказывался, хватал, вырывал из рук коллег, – только бы сбежать из дому! Он и не помнил их толком: сотрудницы, буфетчицы из гостиниц, официантки из ресторана – все так, на пару ночей. Черета, карусель.

Он стал выпивать – слегка, понемногу, когда становилось особенно тошно и невозможно, просто бессмысленно жить.

Домой ездил редко, раз в год, не чаще. Пару раз пропустил и этот «раз в год». Мать и отец старели, болели, чахли, как деревья в засуху. Смотрели за ними брат и невестка. Там, дома, однажды узнал, что Тася умерла «от сердца». «Такая молодая, а такая судьба!» – обмолвилась мать и тут же испугалась: зачем сказала? Вот старая дура!

У Ивана и Томки было все складно, они наконец дождались младенца – родилась девочка, дочка, Надечка. Чудная – смешливая, тихая, разумная. Не ребенок, а золото! И очень хорошенькая. Томка оказалась не только хорошей невесткой – заботливой и терпеливой, – но еще и прекрасной матерью. Вымолила себе доченьку, вымолила! В детстве девочку занимали всем, чем могли – танцевальный кружок, где Надечка делала большие успехи, гимнастика, хор, пианино. И во всем она успевала. Умницей была племяшка, отрада для сердца и глаз! Как он гордился ею! И как завидовал

брату.

* * *

Случайные бабы пропали, когда в его жизни возникла Оксана и он не на шутку увлекся. Роман закрутился стремительно – Никитин так по ней тосковал, что, бывало, срывался среди рабочего дня. Только бы увидеть, только бы украдкой обнять!

Она была разведена, и жилось ей непросто – с больной матерью и сыном они ютились в маленькой однокомнатной квартирке в дешевом спальном районе. Он помогал – деньгами, продуктами, шмотками, которые привозил из командировок. Оксана, конечно, про его жизнь все знала. Молча выслушивала, хмурила брови:

– А что же ты терпишь, Дима? Почему не жалеешь себя? Сколько осталось ее, этой жизни?

Все так. Он понимал, что Оксана права. Зачем? Зачем продлевать эту муку, эту агонию? Надо уйти. Уйти и попробовать заново. В конце концов, таких, как он, тысячи, миллионы. Все разводятся, заводят новые семьи, начинают с нуля. А он боится? Да нет, наверное, нет. Там, дома, все опостылело. И еще понимал: Оксане нужно замуж. С такими, как она, не гуляют – на таких женятся. Но все тянул, тянул, обещал, но не уходил, говорил, что надо собраться с духом – все-таки за плечами целая жизнь. Как так – в один день и все разорвать?

А потом все это стало окончательно невозможным. Славик подсел на наркотики. Обнаружилось это не сразу, увы, но тогда еще была надежда, и он ринулся в бой.

Бесконечные врачи, от наркологов и психиатров до народных целителей и экстрасенсов. Бесконечные клиники – старые, академические, с проверенными методиками, и новомодные, с современными технологиями, растущие как грибы, потому что такие проблемы оказались у многих. Там за огромные деньги обещали полное и окончательное, бесповоротное выздоровление. Пару раз помогало, но на очень короткое время. Тогда, в самом начале, они еще не теряли надежду. Но через несколько лет поняли: ничего не получится, если Славик сам не захочет. А он не хотел. Он вообще ничего не хотел. Никитин ловил его взгляд – пустой, безразличный, мертвецкий. И ему становилось так страшно, как не было никогда. Да и Тата... Несколько раз тайком, когда Никитин был в командировке, она забирала сына из больниц. Говорила, что жалко ребенка.

Ну а спустя пару лет Никитин смирился, поняв, что битву за сына он проиграл. С позором, надо сказать, проиграл. Но противостоять ополоумевшей от горя жене, ее методам и действиям он уже не мог – просто не было сил. За несколько лет их единственный и горячо любимый сын превратился в больного, раздавленного и безвольного человека. Собственно, самого Славика уже и не было, а был несчастный наркоша.

Славик умер от передоза – обычная смерть для таких, как он. Ему только исполнилось девятнадцать.

Почти на два года Тата застыла, закаменела и замолчала. На вопросы отвечала односложно: «Да, нет, не знаю».

В сущности ее, Таты, тоже уже не было. Она превратилась в старую, поломанную куклу, которая хлопала полубезумными глазами, и из ее полуоткрытого рта вырывались короткие нечленораздельные звуки. Смотреть на нее было невыносимо.

И снова начались врачи и бесконечные светила. Ей прописывали таблетки, которые еще больше ее вводили в транс и беспамятство. Теперь она все время спала. Врачи говорили: время. Время и терпение. Никитин был готов терпеть, ждать и надеяться. Чувство вины перехлестывало и затмевало все остальное. Теперь он жалел ее, и сердце рвалось от сострадания. Несчастный человек его жена, одинокий и несчастный. Теперь она для него больной, затравленный, многострадальный ребенок. И он за нее отвечает. Сдать ее в учреждение? Частное, разумеется, платное, со всеми условиями и медицинским контролем? Теперь таких было навалом. Только плати! Устроить ее туда и начать новую жизнь? Убрать ее из квартиры, из ее, кстати, квартиры, убрать, как старую мебель? Привести туда Оксану? Нет, невозможно. Нанять сиделку и уйти к Оксане? Куда? В ее халупу с матерью и сыном? Смешно. А через два года, словно вострепнувшись, Тата запила, и Никитин окончательно понял, что все безнадежно – в этом пьянстве ее единственное спасение и возможность хоть как-то жить. «Наследственность, – думал он. – Страшная материнская наследственность».

Оксана поддерживала его, как могла. Благодаря ей он и выжил тогда. Он честно ей сказал, что теперь уже никогда не оставит жену. «Раненых не бросают», – горько и нелепо пошутил он от отчаяния.

Оксана ничего не ответила. А что тут ответить?

Он часто думал о том, как странно и горько написан, словно под копирку, сценарий их судеб: его и Таты, Галины Ивановны и Петра Васильевича. Страшный сценарий, повторившийся слово в слово. Как, почему? Хотя их сценарий был куда страшнее – они потеряли

единственного сына.

Иногда он думал, что Тате легче – по крайней мере, она топила свое горе в вине. А он не мог, пробовал – не получалось. Было еще тяжелее, еще мучительнее, еще горше.

Но у него была работа, которая отвлекала, командировки, дававшие глоток свежего воздуха. И в конце концов, у него была Оксана. Вот здесь не совпало – тесть, румяный Колобок, нашел в себе силы уйти из дома. А он не смог. Он жалел ее, свою несчастную и больную жену, ненавидел и жалел одновременно. Не мог оставить даже на одну ночь – а вдруг, не дай бог, она что-нибудь выкинет?

Тогда в их доме появилась Зина, соседка, славная тетка. На нее он оставлял Тату спокойно. Одинокая Зина с удовольствием переселялась в его отсутствие к ним. Ну и он, конечно, Зину не обижал – всегда привозил подарки, совал пакеты с едой.

Нет, он жил. Конечно, жил – поездки, кабаки, тряпки, рестораны. Иногда, что греха таить, под пьяное дело случался и секс – было пару раз, было. В конце концов, его ждала Оксана – любимая, верная, терпеливая и все понимающая. Но не осталось самого главного. У него почти кончились силы и пропали желания. Жил он теперь по привычке, по инерции. И если честно, по принуждению. Жизнь была, а вот смысла в ней не было. И планов тоже не было. Что говорить про мечты и надежды?

Мечты остались в далеком прошлом. Ну да бог с ними, с мечтами! Мечты, как правило, материальны – человеку всегда хочется иметь что-то получше и поудобнее, например машину или квартиру. Мечты – это незнакомые страны. У него все уже было. Квартира? Лучше не пожелаешь. Больше? Зачем ему? Его устраивает, им хватает. Машина? Да бросьте! Автомобиль у него был отличный. Да сколько их было, этих машин!

Он не мечтал о несбыточном – ни яхта, ни дворец в Ницце ему были не нужны.

Разные страны? Нет, разумеется, он не все видел и не везде побывал. Но видел многое, и впечатлений хватало.

У него не было хобби и почти не осталось интересов. Но самое главное – у него пропали желания.

Он давно не ждал плохого – свою горькую чашу, казалось, он выпил до дна. Не ждал он и счастья – откуда? Смешно. «Счастье закончилось сто лет назад, еще в прошлом веке», – грустно шутил он. Да и было ли оно? Да нет, было. Конечно же было. Его большая любовь к жене, их нечастые, но все же счастливые дни. Рождение сына. Карьера, поездки. А после – Оксана. С

ней ему повезло. Но вот что странно: без Таты жить он не мог, а без Оксаны – спокойно.

Выходит, что не любовь? Да черт его знает! Да и вообще как-то неловко в его почтенном возрасте рассуждать о любви. А уж тем более на это рассчитывать!

* * *

Поезд постукивал на стыках, покачиваясь из стороны в сторону, словно пытался его убаюкать, и наконец под утро Никитин уснул, измученный и измочаленный, проклиная себя за слабость и нюни, за сопли и воспоминания, от которых ему удавалось всегда уберечься. Но не сегодня, увы! «Все оттого, – подумал он, – что через два часа поезд прибудет в Н. В город, где началась моя жизнь. Как оказалось, довольно нелепая. И уж точно – пустая и одинокая». Он громко крикнул, злясь на себя: «Да ладно, хорош! Разнюнился, как баба, как прыщавый юнец. Да полно в жизни хорошего! Например, летом можно поехать на море».

Он чуть отвлекся и призадумался: «Ну что еще? Да, на море... Ну или слетать в Париж. Да, с Оксаной в Париж! Давно собирались».

Или еще куда-нибудь? Но больше ничего в голову не приходило. «Да надо просто жить, – разозлился он на себя. – Просто жить, и все! В конце концов, здоровье у него вполне приличное, сил еще тоже достаточно. Денег хватает, живи – не хочу! Вот именно, – горько усмехнулся он, – ключевые слова здесь не хочу».

Он глянул на часы, торопливо умылся, отказался от завтрака, положенного в вагоне-люкс, и только глотнул остывшего чая. Поднывал правый бок: накануне он крепко выпил с коллегами, и наверняка обострился холецистит.

Выпив чаю, он стал смотреть в окно. За окном мелькал знакомый пейзаж и знакомые полустанки: Выблогово, Тарасень, Манюшки. Поселок городского типа, окраина города Н., Верхнее Троголово. В Верхнем Троголове – «Верхушке», как называли его местные, – находился тот самый завод, на котором когда-то работал отец, а потом и брат Ванька.

Значит, через пятнадцать минут он будет на месте. Поезд громко фыркнул и резко затормозил. Послышался монотонный голос диспетчера, объявляющий о прибытии московского поезда за номером сто пять. Никитин легко подхватил свой саквояж, коротко глянул на себя в зеркало и пошел на выход.

На перроне стоял Иван. Увидев Никитина, он расцвел, заулыбался, показав отсутствие боковых зубов.

Никитин расстроено подумал: «Неужели Ванька не может заняться зубами? Хотя сейчас это огромные деньги, может, многим не по карману. Значит, нужно осторожно и грамотно подкинуть деньжат. Только Томке, не ему. Ванька гордый и страшно щепетильный – денег не примет, проверено».

Никитин прыгнул на платформу, и они обнялись. Иван внимательно, по-отечески, разглядывал младшего брата. Никитин смутился и заворчал:

– Ну что уставился? Что, постарел?

Брат стал горячо уверять его в обратном. Уселись в машину Ивана – старенькую, конца прошлого века серую «реношку». Скрипучую, ободранную, но все еще довольно шуструю. Ванька был из рукастых и сам довел ее до ума – «дошаманил», как он говорил. В машине состоялся короткий дежурный разговор: «Что да как, как Тата, как работа?»

Никитин отвечал скупой:

– С работой нормально. А Тата... Что спрашивать, Вань? Нечего мне тебе ответить, нечего. Лучше расскажи, как у вас, как Томка, как Надечка?

И Ванька расплылся в счастливой улыбке:

– Отлично. Отлично у нас! Все прям на пять!

Подъехали к дому, вылезли из дребезжащей машины, и Никитин, расправив плечи, глубоко вздохнул:

– Вот, Вань! Хотя и производство тут, у вас, а все равно дышится по-другому, не то что в нашей Москве!

– В вашей, – коротко поддел брат. – В вашей, Димка!

И они рассмеялись.

В подъезде в нос ударил знакомый запах: щей, выпечки – ну это Томка старается, – влажной собачьей шерсти и еще чего-то непонятного, но знакомого.

Томка стояла в дверях – румяная, радостная, в переднике, с забранными под косынку волосами. На лестничную клетку вырвались запахи свежих, только из печки, пирогов, жареного лука, запеченного мяса, маринадов и домашних солений.

– Димка! Сколько лет, сколько зим! – воскликнула Томка и крепко его обняла. – Ты ведь два года не был, засранец!

Никитин виновато развел руками и громко сглотнул слюну.

– Проголодался! – охнула Томка. – Ну умывайся и скорее за стол! На завтрак будут тебе вареники с вишней!

Все было как всегда: маленькая, до боли знакомая кухня, липа под

окном, нагло и бесстыдно, как старая и беспардонная соседка, заглядывающая внутрь. Тот же светильник – старый, еще родительский. Пластмассовый белый колпачок, стилизованный под косынку.

Никитин ел Томкины вареники и захлебывался от восторга.

Томка была хозяйюшка, мастерица.

– А где любимая племяшка? – поинтересовался Никитин. – Загуляла?

– Да брось, – расстроено ответила Томка. – Все на работе! Работает девка как проклятая – уходит из сада только тогда, когда разберут последних детей. Чокнутая, ей-богу! Уж как мы с ней ни боремся, как ни уговариваем! Трудоголик!

– Понятное дело, в папашу! – рассмеялся Никитин. – Точная копия! Ваньку тоже с завода не вытянешь!

Томка странно посмотрела на него и тихо проговорила:

– Наверное...

После обильного завтрака засобирались на кладбище. Доехали быстро, какие там расстояния: десять минут, и ты в другом конце города.

У ворот кладбища купили цветы у вечно сидящих там бабулек – конечно, палисадниковые: крупные садовые ромашки и высокий букет светло-сиреневых, в голубизну, колокольчиков. Шли молча. Идти было недалеко, но было заметно, что кладбище здорово разрослось. Могила была ухоженной, чистой.

– На родительскую были, – объяснила Томка.

Скромный памятник из серого ракушечника с керамическим овалом – мать и отец, еще молодые, со светлыми и радостными лицами. Сколько Никитин ни бился, ни спорил с родней, ничего не получилось. И Ванька, и Томка возражали по поводу установки нового памятника. Ну и Никитин эти разговоры оставил. В конце концов, это их право – это они, а не он заботятся о могиле родителей. А он, блудный сын, приезжает раз в год, да и то не всегда получается.

Постояли, помолчали. Томка помыла памятник, выдернула наглые и вездесущие сорняки. Положили цветы и пошли к выходу.

Не дойдя до ворот, брат смущенно кашлянул:

– Дим, ты уж нас извини. Но нам надо к Тасе. Она тут, рядом, совсем близко, три минуты, не против?

Томка молчала, отведя взгляд. Ну и Никитин молчал – растерялся.

– Не хочешь с нами, – быстро добавил брат, – подожди за воротами. Мы быстро, минут десять-пятнадцать.

– Да ладно, пошли, – все еще растерянно проговорил Никитин.

Тасина могила расположилась удачно, если здесь, на кладбище,

вообще применимо слово «удачно». Могила располагалась под густой, словно скорбно склонившейся, ивой. Плакучая ива, как зонт, как навес, оберегала скромную доску из серого гранита. Арефьева Таисия, дата рождения, дата смерти. Все как обычно.

Тасина могила тоже была прибранной и ухоженной. У подножия памятника лежал букет засохших гвоздик. В землю был воткнут другой – из полинявших пластмассовых желтых цветов.

Томка нагнулась, подняла букеты и, словно оправдываясь, сказала:

– Искусственные с зимы еще. А живые – с ее дня рождения.

– Со дня рождения? – удивился Никитин. – А вы что, знали, когда ее день рождения?

Томка и брат испуганно, как показалось Никитину, переглянулись.

Томка кивнула:

– Ага, знали. А что тут такого?

Никитин удивленно пожал плечами.

– Да нет, ничего. Хотя... все-таки странно.

Но тему не развивал. «Почему Тома заботится о Тасиной могиле? Подругами они не были – так, знакомые».

Но что ему до этого, если честно? У него свои могилы. И самая страшная – могила сына.

С кладбища возвращались молча – говорить не хотелось.

Вернулись домой, и Никитин пошел отдохнуть. Их бывшая с братом общая комната теперь была комнатой Надечки, любимой племянницы. Чисто прибранная, скромная и уютная – на стене картины с вышивкой. Надечкина работа. Наивные и светлые местные пейзажики маслом – она еще и рисовала. Диван застлан пестрым, из ярких кусочков ткани, одеялом. Он вспомнил, что эта техника называется странным словом «пэчворк». Особенно любят ее иностранцы. Надо спросить, кто шил – Томка или племянка? Если не забудет, конечно. В последнее время голова подводила.

На письменном столе стояли фотографии в рамках – маленькая Надечка на елке в детском саду, конечно, в костюме Снежинки. Мать и отец Никитина, обожавшие внуку. Надечка с матерью и отцом – в московском зоопарке, у вольера со львом. У девочки вид испуганный и растерянный. Ну и Надечка взрослая, на работе в детском саду – серьезная, строгая и невозможно хорошенькая. Никитин вздохнул: «Слава богу, у брата сложилось».

Он прилег на диван и тут же уснул – сказала бессонная ночь. Что поделаешь – возраст! Спалось ему сладко, и сон его был спокоен и глубок, как когда-то в далеком детстве, сто лет назад. А было ли это вообще?

Проснулся он только под вечер и обрадованно почувствовал себя бодрым и крепким. Вот что значит сон в родном доме. Он резво встал, быстро оделся, пригладил волосы и открыл дверь.

Семейство брата сидело у телевизора с выключенным звуком – оберегали покой дорогого гостя. Лица у всех были серьезные и напряженные. Никитин расхохотался – слишком забавной была эта картина. Просто кино!

– Ну вы даете, ребята!

Надечка обняла дядьку, и он почувствовал такое тепло, что чуть не расплакался. «Не дай бог! – испугался он. – Совсем разнюнился. Но какая чудесная девочка! И какая родная».

Потом сели ужинать, и Никитин все сетовал, что, как всегда, после Томкиных деликатесов уедет с тремя лишними килограммами. А отказаться не мог – да как откажешься? Все свое, домашнее, сделанное с душой, и это чувствуется. Он вспомнил, как мать, прекрасная кулинарка, говорила, что кухню не обманешь и с плохим настроением или с неохотой к готовке лучше не приступать.

Томка, любимая невестка, готовить любила. И каждый раз, когда Никитин принимался ее нахваливать – искренне, от души, – говорила:

– Маме нашей спасибо! Это ее заслуга, она научила.

Никитину становилось грустно. Томка и Тата. Две планеты, два полюса. Нет, его жена не ненавидела его родителей, ни слова не говорила – ни плохого, ни хорошего. Ну есть они и есть – что ей до них? Где она и где они? За всю совместную семейную жизнь виделась с ними раз десять, не больше. Ну и достаточно – кто они ей? Чужие. А когда он хотел отправить к старикам на каникулы Славика, Тата фыркала:

– Еще чего! И что он там будет делать? Ты не подумал? Гонять с босяками в футбол?

Он обижался: почему с босяками, откуда такое презрение? Я тоже, между прочим, из них, босяков! Ты не забыла?

Но ехать к бабушке с дедушкой Славик отказывался. И мать его в этом поддерживала. В конце концов Никитин смирился – наверное, они правы. Что ему, московскому избалованному парню, делать в глухой провинции?

Томка, именно Томка до последнего дня смотрела за его стариками. Не брезговала ничем – и подмывала, и подтирала, и готовила еду. Как он ей благодарен, господи! И ведь ни разу ни брат, ни невестка не попрекнули его тем, что все свалилось на них! Он помогал только деньгами. Нет, и это немало! Но столько лет тянуть тяжелобольных стариков...

Он видел, в который раз все видел и чувствовал, и ему становилось

невыносимо горько, так горько, что он еле сдерживал разбухший в горле комок. Нет, конечно же, он радовался за родных, был счастлив, наблюдая за их жизнью. Они заслужили!

Им часто бывало трудно, но ни разу они не посетовали, не пожаловались и не объявили себя несчастными. А какие бывали времена!.. Не дай бог! Когда закрыли завод и брат потерял работу, стало совсем тяжело – годы были такие, всем было трудно. Тогда подхватила Томка. Чем она только не занималась! Летом выращивала рассаду и продавала на рынке, осенью – яблоки, сливу – стояла на дороге с ведрами и, совершенно не стесняясь, продавала проезжим автомобилистам.

Говорила:

– А мне не стыдно! За себя не стыдно. А вот за страну...

Мыла полы в двух школах, вязала какие-то шапочки. Хваталась за все, ничего не боялась. И как-то выжили – как все выживали в те времена. А когда, слава богу, открылся завод и брат туда вернулся, Томка тяжело заболела. Врачи говорили – сорвалась, человеческие силы не безграничны. Ванька тогда не отходил от ее кровати, готовил еду, купал. Нет, конечно же, с Надечкой! Надечка всегда помогала. Рано научилась готовить – «спасибо бабулечке!» – убирала, стирала и гладила. Весь дом был на ней. А Ванька был рядом с Томкой. Слава богу, ее тогда выходили. Никитин, конечно, высылал деньги и отправлял продуктовые посылки и лекарства. А однажды приехал и ужаснулся – в доме пахло болезнью и нищетой. Впрочем, все тогда были нищими, хотя его самого это почти не коснулось.

Он смотрел на брата и его семью – сплоченных, бесконечно родных и любящих друг друга, готовых всегда друг друга поддержать, проживших всю жизнь без обмана, предательства, лжи. Как складно сложилась Ванькина жизнь! Как складно и честно! А у него, у Никитина? Как он распорядился своей единственной жизнью? И как нелепо и страшно она сложилась. И уже ничего не исправить, ничего не изменить. Ничего и никогда. Вот что самое страшное.

Никогда у него не будет нормальной семьи. Никогда не будет ребенка – никакого, пусть даже плохого и неудачного, но все равно бесконечно любимого.

Тата... если она уйдет... Да, он вполне может жениться. Мужчины поздно выходят в тираж. Только хочет ли он? Все заново, с нуля. Нет сил привыкать, нет сил приспособливаться.

Пусть все останется так, как есть. Даже если ему суждено пережить жену. Впрочем, смерти, конечно, он ей не желает.

Он с удовольствием ел Томкины пирожки – с капустой, зеленым луком

и рисом. Какая она мастерица!

– Ох, Томка! – сетовал он. – Погубишь меня! Разве можно так жрать?

Томка смеялась:

– Да брось ты! Сколько той жизни? Ешь и не думай! В твоих ресторанах как будто здоровая пища!

Все правильно. Питался он в ресторанах, кафе или приносил что-то готовое из кулинарии – полуфабрикаты, только поставить в микроволновку и разогреть. Вкусно, невкусно – привык.

После ужина, ловко и быстро убрав все со стола и перемыв всю посуду, племянница извинилась и пошла к себе – на завтра работа, ранний подъем. Обнялась и тепло попрощалась.

Томка чмокнула его в щеку и тоже пошла отдыхать. А они с Иваном перебрались на кухню – детское время, еще посидим. Конечно, разлили понемногу – на завтра Никитин уезжал, да и брату на работу.

Молчали. Наконец Ванька сказал:

– Ну и когда теперь увидимся, Димка? Опять через год?

– Через год, конечно! – бодро ответил Никитин. – А куда ж я денусь? Конечно, приеду!

Брат хмуро кивнул и долил остатки французского хорошего и дорогого коньяка, привезенного младшим в подарок. Снова молча махнули.

– Ну, по коням? – спросил Никитин. – Завтра рано вставать! Да и ты почти спишь, Ванька!

Никитин посмотрел на часы и уже встал со стула.

– Подожди, – решительно остановил его брат. – Сядь, Дима. Сядь.

Никитин опустился на табурет.

– Ну? – нетерпеливо спросил он и широко зевнул. – Ну что? Не тормози, говори! Спать охота.

– Сейчас, подожди. – Иван словно собирался с силами.

«Да что еще там? – недоумевал Никитин. – Что он придумал? Выпил лишнего, вот и чудит».

– Дима, – начал осторожно Иван. – Я должен тебе кое-что сказать. Объяснить. Наверное, должен был сделать это давно. Просто обязан был сделать! Но не получалось. Не мог. Честное слово. А вот сейчас, думаю, время пришло. В конце концов, будь что будет! Захочешь – простишь. А не захочешь...

– Ну! Чего тянешь? – разозлился Никитин. – Давай уж! А то кота за мудя!

Не глядя ему в глаза, еле слышно брат наконец выдавил:

– Надя... – и замолчал.

Никитин вздрогнул:

– Господи, что с ней? Неужели больна?

Ванька мотнул головой.

– Нет, все слава богу, дочка здорова. В общем, – снова замямлил он, – Надя... Наша Надечка... Она – твоя дочь, Дима.

Никитин расхохотался.

– Допился, брат! Конечно, моя! И я всегда так считал! Родная, конечно! И очень ее люблю! Такая чудесная девка! Такая девочка у тебя получилась! Ну есть в кого, что уж тут! Есть, не сомневайся! – Никитин печально и горько вздохнул.

– Есть в кого, – согласился Иван, – вот здесь ты прав. И чу́дная, да. В мать. В Тасю, – спустя минуту добавил он и посмотрел на Никитина.

– Что? – переспросил Никитин. – Что ты сказал? При чем тут Тася, Ваня? Ты перебрал?

– Это Тасина дочь, – твердо ответил Иван. – Тасина и... твоя. Ну, дошло, наконец? Ты меня понял?

Никитин молчал. Молчал, как пень, как бревно, как кусок ржавой шпалы.

Выдавил, наконец, с трудом и усилием:

– Ваня! Ты что говоришь? Как моя, как Тасина? Ваня, опомнись!

– Твоя и ее. Прости, что так долго молчали. Ну не могли мы, ты тоже пойми! Когда ушел Славик, – Иван опустил глаза, – мы с Томкой хотели. Честно хотели! Но не смогли. Прости, если можешь! Хотя я не уверен, что это можно простить.

– Как это? Как это возможно? – почти неслышно прошептал Никитин.

– Все просто, – ответил Иван. – Помнишь, ты приезжал на отцов день рождения? Ну, ты нажрался и ночью отправился к ней. А появился под утро. Ну, вспомнил?

Никитин кивнул.

– Ну а дальше все просто. Она залетела. Говорить тебе запретила – считала, что ты счастливо женат. Родила. А когда Наде был годик, ты знаешь, она умерла. Сердце у нее было больное. И мать умерла молодой, вспомнил? Она же тебе наверняка говорила!

Никитин кивнул.

– И забрали мы Надечку. Конечно, забрали! Томка родить не смогла – не получилось у нас. Как ни лечились, не получалось. Тася умерла сразу после родов – сердце. И мать ее умерла молодой и тоже от сердца. Наверняка она тебе говорила!

Никитин кивнул.

– А тут девочка! – продолжил Иван. – Родная даже по крови! И полная сирота. Конечно, мы ее взяли. А то, что молчали... Ты должен понять – у тебя семья, Тата, ребенок. Как все это скажется на тебе? Вот мы и боялись. Ну и за себя боялись. За Надю. Прости, если можешь. Прости.

Никитин не находил слов.

– Простить? – наконец хрипло ответил он. – Ваня, за что? За что я должен прощать? За лучшее, что вы сделали? За то, что... – Он встал, подошел к окну и... заплакал.

Иван положил руку ему на плечо.

Повернуться к нему Никитин не решился – стыдился своих слез. Нет, не своих слез он стыдился – он стыдился себя. Молчал и Иван – тоже не знал, что сказать.

– Может, еще по одной? – предложил он. – Там как раз на две рюмки осталось!

Никитин кивнул и вернулся за стол. Но по-прежнему глаз на брата не поднимал. А опрокинув рюмку, тихо сказал:

– Это ты прости меня, Ваня! И Томка... Простите. А Тася... Она уже не простит.

– Простила, – отозвался Иван. – Слишком любила, чтобы не простить.

Сидели долго, почти до рассвета. Молчали. Ванька заварил чай, разлил по большим кружкам.

Брат поднялся первым, похлопал Никитина по плечу и буркнул:

– Иди, Дима, спать. Через три часа нам на вокзал.

Уезжали в семь утра. Заспанная Томка торопливо укладывала в пакеты еду – пакет с пирожками, кулечки и баночки.

Иван молча пил чай. Надечка еще спала. Никитину страшно хотелось на нее посмотреть. Нет, не посмотреть, а *смотреть*. Смотреть неотрывно, часами – разглядывать внимательно, выискивая Тасины черты, ну и свои.

Но не решился. Всему свое время. Если он, конечно, заслужит.

У двери они с Томкой обнялись, и он тихо, в самое ухо, шепнул ей:

– Спасибо, Том! За все спасибо! Ты поняла?

Томка растерянно глянула на мужа и осторожно кивнула.

До вокзала ехали молча. Молча шли до перрона. Молча обнялись, когда объявили посадку.

– Ну? – осторожно спросил Иван. – Когда тебя ждать?

– Скоро, – ответил Никитин, – думаю, скоро. Через пару недель, – ответил он и испугался. – Если ты, конечно, не против.

– О чем ты, брат? О чем говоришь?

Боясь разрыдаться, Никитин торопливо взбежал по ступенькам в

вагон. Обернулся и сказал:

– Спасибо тебе. Спасибо, Ванька! Спасибо, брат! – И быстро пошел в купе.

Наконец поезд тронулся. Никитин глянул в окно. Брат все так же стоял на перроне, вглядываясь в окна. Увидев его, обрадовался и махнул рукой. Никитин махнул в ответ. Поезд качнулся и осторожно начал разбег. Никитин устало плюхнулся на сиденье и в изнеможении закрыл глаза. Какое счастье, он один, без попутчика. За окном мелькали поля и рощи, леса и пролески, полустанки и деревни, поселки и города. Мелькали быстро, проскакивали, проносились, не оставляя следа. Как сама жизнь.

Нет, не так – жизнь всегда оставляла свой след. Как и любой человек – плохой или хороший.

Поезд методично отстукивал колесами, спотыкался на стыках, и в его размеренном, ритмичном и упорядоченном движении слышалось одно короткое, но веское слово «ЖИТЬ». «Жить, жить. Жить». Колеса отстукивали слово «жить».

Или Никитину это казалось?